

72
0.4.7

Михаил

Алексеев

ВИШНЕВЫЙ ОМУТ

•
КАРЮХА
•

БИБЛИОТЕКА «ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СОВЕТСКОГО РОМАНА»

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

ВИШНЕВЫЙ ОМУТ

•

КАРЮХА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА ● 1969

P2
A47

Послесловие А. ДЫМШИЦА

Художник В. СЕЛИВАНОВ

7-3-2
11-1969

ВИШНЕВЫЙ ОМУТ

РОМАН

О чем не подумал — про то не расскажешь;
О чем не поплакал — про то не споешь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Омут кругл, глубок и мрачен. Никогда не меняет он своего угрюмого цвета. Светлые, золотистые воды Игрицы, впадая в него, мгновенно темнеют, становятся густо-красными, а вырвавшись на волю, тотчас же обретают прежнюю прозрачность.

У омута нет дна. Так полагали все. Случалось, что находился человек, который этому не верил — как нет дна? — и делал попытку измерить глубину его. А потом роковым образом исчезал — так-то мстил омут маловеру.

До сих пор никому еще не удалось проникнуть в темную бездонную душу омута и познать его. Легенды о нем, одна страшнее другой, передавались из уст в уста, из поколения в поколение. С годами они причудливым образом видоизменялись, сохраняя постоянной лишь мрачную свою окраску. Кто-то кого-то убил и, пряча след, бросил жертву в омут. Какой-то безумец вздумал искупаться, «мырнул в омут, да так и не вымырнул». Какая-то красавица опустила в него помыть свои белы ноженьки и была затянута, завлечена в его глыбь. Кто-то нехорошо выругался, упомянув всеу дьявола, и сам неведомо как очутился в омуте — с той поры все затонские матерщинники, проходя мимо омута, напускали на свой лик ангельское благолепие и взамен бранных слов истово твердили: «Господи, спаси и помилуй мя грешного!» Нашел свой смертный час в омуте и некий священник, погрязший в мирских делах: употре-

бив «зеленого змия» сверх всякой меры, темной ночью возвращался он от молодухи и кубарем скатился с высокого берега; поутру прихожане из большого и старинного селения Савкина Затона всем миром-соброром вышли с сетями, баграми, шарили, шарили, да так и ушли ни с чем; одному только мальчонке удалось зацепить удильным крючком поповскую камиллавку, и это было все, что осталось от батюшки.

Таинственная, колдовская сила омута почему-то особенно манила к себе молодых барынь. По свидетельству затонских стариков, утонуло их там несть числа. Влюбится, глупая, в заезжего гуляку-гусара, тот проведет с нею ночь — и поминай как звали. Рвет на себе косы барынька, ломает рученьки, а потом вдруг вспомнит про омут, камень на шею — и бултых! Черные круги медленно разойдутся во все стороны, посереблятся под луной, успокоятся, и, затихнув, угрюмый и загадочный омут ждет очередной жертвы. Он окружен талами, высоченной крапивой, горькими, в великанский рост лопухами и папоротником; все это туго опуталось хмелем, колючими плетями ежевики, удав-травой и сделало берега омута малодоступными. Лишь узкие тропинки рыбаков робко пробираются сквозь эти заросли, но и рыбаки бывают тут редко: недобрая слава омута пугает и их. А рыбы в омуте великое множество: караси размером и цветом напоминают давно не чищенные медные самовары, сазаны, лещи, окуни, щуки, лини, сомы.

Омут называется Вишневым, а почему, никто не знает. Самые давние жители Савкина Затона, такие, как бабка Сорочиха, не помнили, чтобы по берегам его росли вишни. Может быть, нарекли его так за темно-красный цвет, может быть, за то, что уж очень много, ежели верить легендам, людской кровушки цвета спелой вишни пролилось в вечно студеные воды омута и окрасило его.

Прохожих, всех без исключения, при виде омута охватывала оторопь. Девчата миновали его не иначе как рысью и с отчаянным визгом. А богомольные старухи обходили далеко стороной.

Один только человек не страшился Вишневого омута и часто подолгу засиживался на самом крутом и пугающем берегу его. Это был Гурьян Дормидонтович Савкин. Его смелости, однако, никто не удивлялся, по-

тому как давно всем было доподлинно известно, что Гурьян с нечистой силой омота заодно, что он с нею на короткую ногу. Самого Гурьяна односельчане боялись пуще дьявольской силы омота. Сказывают, он и жену подобрал под стать себе: жена его Февронья Жмычиха — колдунья. Карпушка Колунов, например, своими глазами видел, как Жмычиха в глухую полночь заплыла на самую середину Вишневого омота и три раза кряду проблеяла по-козлячи.

По имени Савкиных было названо и село.

Позднее, правда, у Гурьяна появился опасный соперник. Появился совсем незаметно, тихо и в короткое время оказался предметом всеобщего и удивленного внимания. Он не сворачивал чужих скул в кулачных побоищах, не убивал потехи ради одним ударом полугодовалого быка, как это делал Гурьян, не засиживался до'глухой поры у страшных берегов омота, не мял в темных углах зазевавшихся молодаек, не пускал по миру неугодных ему затонцев. Светло-русый и вообще весь какой-то светлый, с веселыми и добрыми, тоже светлыми, глазами, высокий, чуть-чуть сутулившийся, человек этот взшел однажды на высокую плотину, повернулся спиной с закинутыми за нее тяжелыми руками к Вишневому омоту, долго глядел на противоположный берег Игрицы, а на другой день его уже видели там, на левом берегу. Напевая что-то себе под нос, он один, без чьей-либо помощи, рубил и выкорчевывал дубы, осины, вязы и паклёник. Лошади у него не было, и рубленные деревья он оттаскивал сам.

Попрятавшиеся в кустах бабы все это время наблюдали за ним. Их особенно удивило то, как незнакомый им человек, похоже «странний», копал землю. Он не нажимал на заступ ногой. Лопата как бы сама, от легкого усилия рук погружалась в почву.

— Силища-то, бабоньки! А ить молоденький! — шептала горячо какая-нибудь и, вдруг примолкнув, думая, видно, про что-то свое, бабье, глубоко, сожалеюще вздыхала, не спуская тоскующего, зовущего взгляда с запотевшей шеи и упруго шевелящихся под холщовой рубахой лопаток работника.

Через несколько дней против омота, за речкой Игрицей, люди увидели небольшое солнечное пятно — маленький кусок земли, освобожденный от лесного плена,

а на куске этом — молчаливого парня, вытиравшего белым рукавом рубахи пот с веселого, открытого, улыбающегося лица. Девушка, проходившая напротив, видать на мельницу, что стояла на правом берегу Игрицы, недалеко от Вишневого омута, невольно задержалась, а глянув украдкой на молодого светлого человека и как бы загоревшись от него, вспыхнула жарким пламенем и убежала, а потом долго не могла унять, угомонить разбуянившегося в груди сердечка. Рядом с этим парнем Гурьян Савкин, пришедший понаблюдать за странными делами незнакомого ему человека, казался еще темнее, чем был на самом деле. Грубо вырубленные черты его выступали особенно четко, и думалось, что сам сатана вышел из леса и зрит на дела человеческие с угрюмым неудовольствием. Бабы, ожидавшие со страхом, что Гурьян сейчас же ударит незнакомого человека пудовым своим кулачищем, немало подивились, когда Савкин постоял, постоял молча да так же молча и удалился прочь, не причинив парню никакого зла.

2

Окружив плотным кольцом «гулю» — великую бутылку с водкой, грузчики, оживленные, с маслено блестящими, загорелыми лицами, нетерпеливо поглядывали на старшего артели, который, как бы испытывая стойкость своих товарищей, не спеша, тщательно протирает грязной тряпкой жестяную кружку. Потом, очевидно с той же целью, приподнял кружку на уровень глаз и, прищурясь, долго изучал ее, полуоткрыв рот. И только потом позвал:

— Мишка, подходи, что ли...

Старший артели, да и все грузчики хорошо знали, что парень, к которому были обращены эти слова, не подойдет и не примет участия в веселом распитии «гули», но «для порядку» приглашали и его.

— Потчевать можно, а неволить нельзя, — философски заключил после небольшой паузы старший, довольный, похоже, тем, что полагающийся в подобных случаях порядку соблюден им полностью, что внимание к непышному товарищу проявлено, совесть компании теперь чиста и, следовательно, можно спокойно начинать. К тому же по времени это совпало с той критической

минутой, когда терпение ожидающих истощилось и когда один из них, щупленький, с быстрыми темными глазами паренек, неизвестно почему оказавшийся в артели грузчиков, жалостливо протянул:

— Давай, Федор, не томи душу.

— А ты, Карпушка, заработал? — угрюмо спросил старший.

— Креста на тебе нет, Федор! Как бы не я...

Грузчики засмеялись. Старший артели перекрестил зияющей черной дыроу в густой волосне усов рот и начал медленно под тоскующими взглядами остальных выливать в него из кружки водку. Острый кадык его при этом ритмично дергался. Вторую кружку он наполнил для Карпушки, который торопливо схватил ее обеими руками, по-птичьи запрокинул курчавую голову и в один миг вылил в себя — только что-то уркнуло в его горле. Перекрестился уже после того, как вытер тыльной стороной ладони губы. Потом, коротая время, необходимое для того, чтобы старший обнес всех и приступил к разливанию по второй, Карпушка стал лениво глядеть на Волгу, наблюдать за грузчиками другой артели, перебрасывавшими с баржи полосатые астраханские арбузы. Это, однако, мало заинтересовало Карпушку, и он вновь стал тормозить Федора, чтобы тот не задерживался.

— Время не ждет, Федор. Поторапливайся.

— Ишь ты, какой ретивый! Вот бы еще в работе был такой же проворный... Ладно, ладно! На уж вот, хлобыстни еще лампадку да отчаливай к Мишке, а нам не мешай. Мы соснем часок.

Карпушка притворно вздохнул и стремительно опрокинул предложенную ему вторую. Затем крикнул, изучающе глянул на остаток в бутылки, вздохнул еще — на этот раз уж без всякого притворства — и нехотя побрел к Михаилу Харламову. Тот лежал на песчаном откосе навзничь, положив большую свою светло-русую голову на закинутые руки, и синими, как это небо над Волгой, глазами смотрел вверх. Тихо, по-украински мягко пел:

Дивлюсь я на небо
Та й думку гадаю:
Чому я не сокіл,
Чому не літаю...

Карпушка своим приходом спугнул песню. Михаил, заслышав шаги, приподнялся, сел, обхватив согнутые в коленях ноги.

— Ты все песни играешь, хохол?

— Играю, Карпушка. — Михаил улыбнулся чему-то, глаза его заблестели, увлажнились. — Есть у меня, дружке, одна думка, велика думка... Ты был на Украине?

— А то рази! Я, Михайла, везде перебивал за свою короткую жизнь. И у хохлов, и у мордвы, и у татарьев, и у армянцев, и даже у турков был!

— Был, значит, на Украине. Добре. Видал, сколько там садов? Вернусь в Панциревку, куплю у Гардина за Вишневым омутом немного земли и посажу добрый сад, такой, какой был у нас на Полтавщине. Чтоб было в том саду все: яблони, вишни, терн, сливы, смородина, крыжовник, малина. Буду возить яблоки да ягоды в Саратов, продавать жирным купчихам, а на вырученные карбованцы покупать хлеб. Добре? Женюсь я... знаешь, Карпушка, на ком? Такая дивчатко!..

— Как не знать? На Ульке Подифоровой, чай, надумал? Так, что ли? Только не отдаст за тебя свою дочь Подифор. Как пить, не отдаст! Бедные мы с тобой, Михайла. Одно слово — грузчики. Я уже заработал грыжу, скоро и ты ее, голубушку, заполучишь. Вот и привезем это богатство: ты — в свою Панциревку, я — своей Маланье в Савкин Затон. К тому же мы оба с тобой странние. — Карпушка говорил и не глядел на товарища, а когда глянул, так сразу же осекся: Михаил лежал, плотно зажмурившись, и побелевшие губы его под светлым пушком усов вздрагивали. Испугавшись, Карпушка поспешил исправить положение: — А кто его знает, может, и отдаст. Он не такой зверюга, как, скажем, Гурьян Савкин. Помягче маленько. Да и ты теперь при деньгах... Небольших, но все же при деньгах. Хозяином будешь. И я помогу тебе. Сам пойду за свата. От меня ни один пес не отобьется. Так окручу этого Подифора, что без всякой кладки отдаст за тебя Ульяну, да еще жеребенка-двухлетка и телку-полуторницу выделит в придачу. Зачнете жить-поживать, как в сказке.

При последних его словах Михаил открыл глаза и невольно улыбнулся. Потом опять насупился.

— Не уговаривай меня, Карпушка. Сам знаю, что не отдаст добром. Но ведь я ж хохол! — вдруг закричал

Михаил. — Понимаешь, хохол! Хохол упрямый! Я им покажу всем. Вот увидишь. И Уля будет моя. Никому не отдам!

— И не отдавай. Они ведь, бабы, какие? Их красотой да силой надо брать. Вот тогда они сами вцепятся, как репы в собачий хвост, — не отдерешь. Был у меня, Михайла, такой случай... Погодь, сейчас вернусь и расскажу тебе все по порядку. — Карпушка проворно вскочил на свои короткие ноги и мигом очутился возле артельного, который собирался разлить грузчиком остаток, — вероятно, в продолжение всего разговора с Михаилом Харламовым Карпушка зорко наблюдал и за артелью, где оживление достигло того уровня, когда никто никого не слушает и говорят все сразу, бурно, горячо.

Получив свою толику и не опасаясь далее за все прочее, так как «гуля» была уже пуста, Карпушка вернулся к Михаилу.

— Бабы, они — зверь капризный, — усаживаясь поудобнее возле приятеля, начал он, захмелевший и размягченный. — Был со мной такой случай... Ты, Михайла, наверно, помнишь барина Ягоднова? В двух верстах от Панциревки усадьба-то его?.. Ну да, конечно же, помнишь! Сейчас бог знает как он там. Может, с тоски руки на себя наложил, а может, укатил куда с глаз долой... Ну и жену его, красавицу, помнишь небось? Утопилась в Вишневом омуте, сердешная, — а отчего утопилась, знаешь?

— Слыхал. В гусара, говорят, влюбилась, кохалась с ним, а он утек от нее.

— В гусара, — обиженно передразнил Карпушка. — Много ты знаешь! Вот слушай, а не болтай пустое. Через нее, барыню, и очутился я на Волге, грузчиком вот пришлось вместе с тобой стать. Любил меня Ягоднов-то Владислав Владимирович. Я у него поначалу в рабочих, а потом в приказчиках служил. А за что любил? Вот сейчас расскажу... Было нас у Ягоднова два работника: я да Афонька Олехин, он теперь в Савкином Затоне околачивается, Гурьянову сынку, Андрюхе, прислуживает. Выгнал его Владислав Владимирович. А за что выгнал? За лень, за дурость Афонькину. Однажды вот какое дело было. Пристал Афоня к барину: «Почему Карпушке платите больше, чем мне?» Мы с ним, мол, в одинаковом чине-звании состоим. А Ягоднов ему гово-

рит: «Вот сейчас я тебе все объясню, дурья твоя голова. Видишь, вон по выгону стадо овец идет? Бегите с Карпушкой и узнайте, что за овцы». Ну, мы и пустились во весь дух. Узнали. Возвращаемся. Дал он нам отдышаться и спрашивает Афоню: «Ну, Афанасий, докладывай, что ты там увидел?» Афоня выпалил: «Овцы шереметьевские, вашескородие!» — «И все? Больше ты ничего не узнал?» — «Все, вашескородие!» — отвечает Афоня. Тогда Владислав Владимирович ко мне: «А ну, Карпушка, докладывай теперь ты». — «Овцы шереметьевские, говорю, гонят их из Панциревки в Шереметьевку на убой. Мясо на базаре подорожало. Овец в гурте двести штук — пятьдесят ярков, все перетоки, и сто пятьдесят баранов. Две овцы по дороге сдохли, три захромали, у одной в хвосте завелись черви, потому как собака ее покусала...» — «Хватит, Карпушка, — перебил меня барин и к Афоне: — Теперь ты понимаешь, олух царя небесного, почему я Карпушке плачу больше, чем тебе, хоть вы с ним и исполняете у меня одинаковую должность? Пошел вон, говорит, видеть тебя не могу больше!» А меня любил, не хвалясь, скажу, любил. Вскорости после того случая с Афоней перевел меня в приказчики, и я у него всем хозяйством распоряжался. Владислав Владимирович мне все доверил, а сам то в Москву укатит, то в Петербург на целную зиму. Барыню не брал с собой. Ну, вот... и попутал нас с ней нечистый, околдовал. Приглянулся я Людмиле Никаноровне...

Михаил крикнул в этом месте Карпушкиного рассказа, а Карпушка, как бы не заметив этого ехидного знака, продолжал, все более воодушевляясь:

— Выучила меня мазурку плясать. Французенка, тонкая и скрипучая, как сухая жердина, играет нам на фисгармонии, а мы с ней, с барыней, пляшем... Дальше — больше... Людмила Никаноровна стала уже помаленьку меня к себе в покои заманивать, в будувар по-ихнему, по-господски. Ну и... Бывало, лежим с ней в пуховиках, диколоном sprыснутые, а в груди так и екает, так и екает: не ровен час, вернется барин. Хочу удалиться, удрать по-нашему, а она не пускает, целует, да и только. «Я, говорит, без тебя, Карпушка, жить не могу. Ежели, говорит, ты уйдешь, спокинешь меня, то я утоплюсь». Вот чего надумала!.. Выдал нас слуга, немец, колбаса вредная, ни дна бы ему, ни покрышки! «Погляды-

вайте, говорит, герр ваше превосходительство, за приказчиком-то. Не гуг он, с барыней балует». А нам с Людмилой Никаноровной и невдомек, что беда уж близко, что барин все уже знает. Лежу это раз у себя в горнице, и, помню, хороший сон мне снился. Во сне все звал ее к себе, знаешь. А барин рядом был, ну, он и услышь. Тихонечко подкрался ко мне, да ка-ак стеганет плетью! Я подскочил. А он меня хлещет, а он хлещет! Куда ни кинусь — везде достает. Секет и приговаривает: «Береги, разбойник, свою красоту для других, а не лезь к чужой бабе!» Ну, выделал он меня, разукрасил в разные цвета по всем правилам. А потом — барыня ко мне, а я от нее. С той поры вот и хожу с рассеченным ухом...

— А говорят, тебе Подифоров кобель уши-то порвал?

— Дураки говорят, а ты их слушаешь. Брешут, сволочи!

— Ну, а что с барынею?

— Известно что. Говорю, утопилась. Высохла вся, тонее француженки стала, когда я насовсем исчезнул из ихней усадьбы. Почахла так с неделю, а потом прибежала к Вишневому омуту, камень на шею и...

Карпушка умолк и долго смотрел на сидевшего все в той же позе Михаила. Понял, что рассказанная им история несколько не отвлекла товарища. В синих глазах его, чуть потемневших от расширившихся зрачков, тлели, разгораясь, напряженные огоньки. Михаил Харламов, а также все, кто был знаком с Карпушкой, знали, что в большинстве случаев вымыслом в его диковинных историях было далеко не все. Чаше Карпушка только приукрашивал, сдабривал собственной неистощимой фантазией то, с чем приходилось сталкиваться ему в его скитальческой, горькой, до смешного приключенческой жизни. Кто знает, может быть, это приукрашивание было единственным щитом, которым Карпушка прикрывался от бесчисленных ударов неласковой к нему судьбы? Так это или иначе, но, чтобы пустить про себя какую-нибудь веселую историю, он нередко не оставался даже перед материальными лишениями. Ему нравилось, когда люди добрые, страсть как охочие до всяких историй, говорили про него:

— А вы слышали, что опять с Карпушкой-то сотворилось?

Как-то в один из весенних дней, когда вокруг Савкина Затона бушевало половодье, Карпушке захотелось удивить соседа, хитрого мужика Подифора Кондратьевича Короткова. Карпушка купил у затонского рыбака Гришки Аиста десять живых, только что вытащенных из вентерей щук, пустил их себе под печку, куда заходила по весне вода, а сам побежал к Подифору.

— Шабер! — торопясь, заговорил он. — Бери скорее сак, пойдем у меня в избе щук ловить. Спокою мне от них нету: бултыхаются, проклятые, под печкой. А сама боится: водяной, говорит, там. Бежим, кум!

Кум, конечно, сразу же смекнул, в чем дело, но виду не подал. Напротив, изобразил на своем лице крайнее удивление:

— Да ну! Не может быть!

— Вот тебе крест!

— Пойдем, Карпушка, пойдем!

Выловив щук, Подифор Кондратьевич сейчас же собрался домой.

— А мне толику! — крикнул удивленный Карпушка, видя, что сосед уносит всех щук.

— А тебе за что? — любопытствовал Подифор Кондратьевич. — Снасть-то моя. Купи, коли хочешь угостить свою Маланью рыбкой... Ну, бывай, шабер, а то мне неколи, на гумно пора ехать. Ежели еще заплывут щуки, зови. Приду выручу!

— Выручил волк кобылу... — гневно заговорил Карпушка, но Подифор Кондратьевич уже успел хлопнуть дверь.

Так и пошла-поехала по селу новая история из странной жизни Карпушки, появившегося в Савкином Затоне годов шесть назад неизвестно откуда. Генеалогическое древо Карпушки не могла установить даже бабка Сорочиха, хоть ей и нельзя было отказать в усердии. Сорочиха обошла всю округу, побывала во всех окрестных селах и деревнях, навевалась даже в барскую усадьбу, чтобы у самого Ягоднова выведать кое-какие подробности о его бывшем работнике, но и Ягоднов не мог сказать что-либо вразумительное. От самого же Карпушки и вовсе нельзя было узнать ничего путного. Он начинал изъясняться до того туманно, вспугивал в памяти своей столько событий, не относящихся к делу, что и стоически терпеливая Сорочиха в конце концов не вы-

держивала и, не дослушав до конца, сердито поджав губы, удалялась. А Карпушка, ухмыляясь, приговаривал вслед ей:

— Ну и черт с тобой, старая ведьма. Уходи!

Впоследствии Сорочихе удалось все же как-то выяснить, что еще младенцем Карпушка был подкинут бедной матерью, по нечаянности родившей его в девках. Вырос он у чужих людей, затем скитался бог знает где. В Савкином Затоне объявился восемнадцати лет от роду, женился на одинокой Меланье, которая была старше его на целых семь лет и с которой что-то не ладилось у Карпушки. Видать, не от хорошей семейной жизни подался он на Волгу.

Теперь же, узнав о том, что его друг решил возвратиться к матери в Панциревку, Карпушка сообщил Михайлу, что вернется вместе с ним и попытается помириться с Меланьей.

— Довольно я погнул хребтину на этих саратовских купцов, — сказал он. — Поехали-ка, Михайла, в самом деле, домой. Бог не выдаст — Маланья не съест!

3

Савкин Затон — селение давнишнее и судьбы необыкновенной. Окруженное сплошь княжескими и графскими владениями Шереметева, Нарышкина, Чаадаева, Кирюшонкова, Чекмазова, Гардина, Ягоднова, само оно, в числе очень немногих, не входило ни в одно из этих помещичьих владений, никогда не было крепостным, а принадлежало знаменитому в Подмосковье монастырю. Сюда, в один из глухих, «болотных и лесных» уголков Саратовщины, высылались на работу узники монастырской обители — в основном беглые мужички северных окраин России, преимущественно владимирские, — оттуда, видать, докатилось до Савкина Затона круглое и певучее «о» в говоре затонцев; это оканье и поныне отличает их от говора соседних сел и деревень. Здесь эти люди осушали болота, сеяли коноплю, лен, а позднее — рожь и пшеницу, занимались пчеловодством. К осени снаряжали большой обоз и под сильным конвоем вооруженных ружьями мужиков отправляли в монастырь за тысячу верст. Не все, понятно, попадало в монашеские кладовые и амбары; немалую толику

добытого добра ухватистые затонцы оставляли себе и с годами поокрепли настолько, что начисто откупились от святой обители, построили свои прочные дубовые дома и стали платить подати уже не монастырю, а царевым чиновникам. Чиновники эти поначалу сильно лютовали, драли с мужиков три шкуры, но со временем смягчились, присмирели, сделались покладистей, поласковой, а какой продолжал лютовать, обязательно попадал прямо в Вишневый омут и попадал туда, как свидетельствуют старинные бумаги, «по пьяну делу», чему никто из местных урядников не удивлялся: сборщики податей напивались у Савкиных медовой браги досиная и уползали от них по-рачьи, а таких омут только и ждал. Так что после несчастливо влюбленных барынь второе место по числу утопших в омуте занимали царские чиновники. Все жители села хорошо знали, что расправой над чиновниками руководил Савкин, но молчали: старик Савкин был пострашнее царевых слуг.

Не в устрашение ли сборщикам податей селение и было названо Савкиным Затонем? Затон — тоже нечто мрачное, темное, загадочное, вроде омута. Как-то само собой получилось, что во главе нового поселения, его некоронованным владыкой и ревностным хранителем обычаев стал старик Савкин, прадед нынешнего Гурьяна Савкина, одним из первых посланный сюда из обители и проживший на свете девяносто девять лет.

В молодости он был смугл, черноволос и, вероятно, даже красив, но к старости оброс дремучей бурой бородой, так что, кроме глаз, рта и ушей, ничего не было видно, лишь кончик толстого, источенного оспой носа торчал из диких зарослей. Зимой и летом Савкин хаживал босой, отчего ноги его покрылись струпьями; короткопалые, толстые и широкие, они были похожи на слоновьи и на протяжении почти целого столетия уверенно попирали затонскую землю. Все сыновья, внуки и правнуки внешностью своей были в Савкина-старшего. Густая бурая волосня, в которой прятались маленькие, угрюмые, неопределенного цвета глазки, и все прочие черты Савкиного обличья были как бы постоянной формой, освященной родовыми традициями и потому строго почитаемой. У Савкина-старшего рождались только сыновья. Ходили, впрочем, слухи, что были и дочери, но Савкин дочерей не любил и топил их в Вишневом ому-

те, как слепых котят, едва они появлялись на свет божий. Дочери — плохие хранители фамилии, да и хлопотно с ними, с дочерьми, лучше уж их туда, в омут.

И вот этот-то Савкин был владыкой села. Символический скипетр свой он, умирая, передал сыну; сын — своему сыну, и так власть дошла до Гурьяна, который по свирепости не только не уступал прадеду, но во многом превосходил его. Без согласия Гурьяна никто не имел права поселиться в Савкином Затоне, а ежели кто и рискнул бы сделать это, то скорехонько очутился бы в Вишневом омуте или поломал бы себе шею.

Все ожидали, что такая именно участь постигнет и светлого парня, объявившегося нежданно-негаданно в заповедных Савкиных местах и с неслыханной дерзостью начавшего выкорчевывать деревья, которые хоть и принадлежали помещику Гардину, но все равно находились под неотвратным бдением Гурьяна Савкина.

— Быть ему в омуте, — шептались затонцы.

Но проходили дни, солнечное пятно по левому берегу Игрицы продолжало увеличиваться, а парня никто не трогал.

— Не иначе как святой, коль сам Гурьян не поднял на него своей окаянной руки! — решила тогда Сорочиха.

С ней согласились, и любопытство, вызванное неизвестно кем, удесяттерилось. Многие втайне подумывали, а уж не пришел ли вместе с этим светло-русым богатырем конец гурьяновской власти, не послан ли он самим царем, чтобы укротить зверя, державшего селение в вечном страхе?

Начали припоминать, не видал ли кто раньше этого человека, и тут-то кто-то объявил, что в соседней деревне Панциревке, вымененной когда-то Гардиным на двух гончих псов, проживает некая Настасья Хохлушка. Ее привез сюда из Полтавской губернии с двумя детьми — двенадцатилетним Михаилом и восьмилетней Полюшкой — Аверьян Харламов, бывший работник Гардина, прослуживший в царской армии двадцать пять лет. Вскоре по прибытии на родину Аверьян умер, и Настасья Хохлушка осталась одна с сыном и дочерью. Потом сын, уже семнадцатилетний Михаил Аверьянович, куда-то пропал, а ныне, говорят, вновь объявился — его недавно видели возле Подифора Короткова двора, — и вот, может быть, это и есть он самый, тот парень, вы-

званный так много разноречивых толков? В качестве разведчицы в Панциревку выслали бабку Сорочиху. Она-то и докопалась до истины.

В самом деле, появившийся против Вишневого омута, за Игрицей, молодой человек есть не кто другой, как Настасья Хохлушки сын Мишка.

— Купил, милые, у Гардина полдесятины леса и теперь сад хочет рассаживать, — повествовала Сорочиха.

— Са-а-ад?! — ахнули бабы. — Зачем же это... сад?

— А чтоб, баит, люди перестали Вишневого омута бояться. Так и сказал. Он коли сад, от него, вишь, вся нечисть прочь убегает.

— Оно, мотри, и правда. Видалу, как Гурьян-то почернел? Муторно, видать, стало окаянному.

4

Девушка, проходившая через плотину против Вишневого омута и невольно задержавшаяся при виде светлорусого парня, была Улька, Подифора Короткова дочь. Случилось с ней такое первый раз в жизни, и Улька не могла понять, что же это, как же это, что же теперь будет с нею. Ульке было и радостно, и страшно, и немножко стыдно, будто она сделала что-то тайное, запрещенное для семнадцатилетней девчонки. Прибежав к себе домой, часто дыша, она приблизилась к отцу, глянула снизу вверх ему в лицо большими своими, косо поставленными, татарскими, с живыми крапинками, испуганно-виноватыми глазами и, ни слова не говоря, чмокнула его в щеку. Раскрасневшееся скуластое лицо ее и даже прядь волос, выбившаяся из-под платка, спрашивали, торопили с ответом: «Тятенька, правда, ведь нехорошо? Скажи, правда, тять?..»

Подифор Кондратьевич, привыкший к разным неожиданным выходкам дочери, ничего не понял.

— Ну, ты чего уставилась на меня? Приготовь пообедать, — глухо проокал он.

Улька подумала: «Вот ты какой недогадливый, тятя! Ну и пусть. И ничего худого я не сделала. И вовсе он мне не понравился. Я бежала, и сердце зашлось маленько. Что ж тут такого? Все пройдет... А что все? Ничего ведь и не было. Он даже не глянул на меня. Да я и не знаю его, нисколечко, ну ни капельки не знаю. Он,

верно, странный. А можа, и женатый. В Панциревке вон сколько красивых девчат!»

Последняя мысль больно обожгла Ульякино сердце. Нахмурившись, она грохнула заслонкой печи и села напротив, на лавке, положив маленькие руки по-старушечьи на колени. «Сам, что ли, не сумеет приготовить себе поесть! — думала она уже про отца. — Чугуны в печке, вынул бы да ел... А можа, и неженатый. Откуда я взяла, что женатый? Один вон работает... Да ну его совсем, что он мне?»

Решив так, Улька спокойно накрыла на стол, позвала отца, и в тот момент, когда он входил в избу, у нее созрело новое решение — сейчас же сбегает еще раз на плотину. Зачем? Вот это еще надо придумать. «Ну, мало ли зачем? Просто так, пойду, и все... прогуляться».

Улькин ум был неопытен, неизворотлив, он не смог приготовить для нее подходящего предлога, чтоб она могла уйти из дому, и Улька, в решительности своей поставив брови как-то торчком, сказала первое, что пришло в голову:

— Тять, ты обедай, а я пойду... коров встречать.

— Коров? Ты, дочь, мотри, с ума сошла! Ведь только полдень.

— А я нынче пораньше. К подруге зайду.

— Ну, ступай.

Подифор Кондратьевич посмотрел на дочь с недоумением и вдруг увидел, что она уже совсем-совсем взрослая.

«Девка!» — подумал он с неприязненным удивлением и поморщился. Им тотчас же овладело ревнивое, враждебное чувство к тому, пока что неизвестному человеку, который придет однажды в его дом, в тот самый дом, где он, Подифор, царь и бог; придет, возьмет Ульку и уведет с собой. И Подифор Кондратьевич останется один в своем большом новом доме, со всем своим крепко замешанным хозяйством. И это будет, это неотвратимо, как старость, как смерть.

Подифор Кондратьевич и раньше знал, что так будет, а нынче, глянув на дочь, почти с физической ясностью ощутил, что это случится обязательно и очень даже скоро и что в таком деле он не властен. И если он что-то еще и сможет предпринять, так только то, что постарается отдать Ульку в хороший дом.

«Соплячка, ребенок еще!» — противореча себе, подумал он, когда Улькин платок мелькнул за окошком.

5

Улька шла быстро-быстро по направлению к Вишневному омуту и думала о том, как же нехорошо она поступает, что идет только затем, чтобы еще раз увидеть незнакомого ей, в сущности-то, парня. «Как же тебе не стыдно, Улька! — отчитывала она себя. — Бесстыжие твои глазоньки! И кидаешься ты на первого попавшегося?» Потом ей стало жалко себя: «Да ни на кого она и не кидается. Что вы пристали к девчонке! Вот только глянет разок и пройдет мимо — и все тут, велика беда!» — защищалась она от кого-то и от себя самой.

Вдруг Улька замедлила шаг, ноги у нее словно бы подломились, кровь бросилась в лицо, в голову, даже корни волос защемило.

Прямо ей навстречу по плотине шел этот высокий, этот светло-русый и еще издали улыбался ей, Ульке, как давно знакомой и желанной. Улька, защищаясь — теперь не только от себя самой и от кого-то неизвестного, но уж и вот от этого парня, — вмиг решила, что пройдет мимо с безразличным видом и покажет этим, что ей до него нет никакого дела, что ей решительно наплевать и на его красоту, и на его улыбку и что он сам по себе, а она сама по себе, и пусть он не думает, что она какая-нибудь такая...

Не успела Улька додумать до конца, как парень поравнялся с ней и преградил дорогу.

— Здравствуй, дивчатко! А я тебя знаю. Ты Уля Короткова. Я правду говорю? — просто спросил он совсем добрым и совсем не нахальным, с мягким украинским выговором голосом, и Улька, отбросив прочь все свои прежние, казавшиеся ей весьма разумными соображения, ответила, вся пылая:

— Правда. Уля. А тебя как звать?

— Михайло Харламов. Не слыхала? Из Панциревки я. Тебя я видал много раз зимою, когда к матери приезжал...

Вот и все, что могли сказать другу другу при первой встрече парень и девушка, да еще такие красивые, да еще думавшие за минуту до этого только друг о друге,

да еще неопытные и смешные в своей беспомощности. Наступила неизбежная в таких случаях неловкая, мучительно-стыдная пауза, и был лишь один-единственный выход, которым не хотелось бы воспользоваться никому из них, — это сказать друг другу «до свиданья» и разойтись в разные стороны, а потом долго ждать, когда выпадет еще такой момент, чтобы встретиться.

И они сказали «до свиданья» и разошлись, страшно, до слез досадуя на себя и друг на друга, что такие они глупые. Особенно досадовал Михаил, справедливо полагая, что ему-то, мужчине, следовало бы быть посмелее, порешительнее, а он вот растерялся.

Минуло потом немало дней, прежде чем они опять повстречались, затем повстречались в третий, в четвертый... в сотый раз, прежде чем однажды решено было, что на завтра в ночь Михаил придет к Улькиному отцу, придет сам, потому что сватов Подифор Кондратьевич выгонит, и тогда ничего, кроме Улькиного и его, Михаила, конфуза, не выйдет из всего этого дела.

6

На другой день вечером, когда над селом стыла дремотная знобкая дымка, прижимая к земле поднятую стадами овец и коров пыль, когда под низким месяцем светился круглый, темно-бордовый и холодный глаз Вишневого омута, когда оказавшийся на улице человек чувствует себя властелином чуть ли не всей вселенной, Михаил Харламов приблизился к Подифорову двору.

Огромный рыжий пес свирепо зарычал, громынул цепью, но тут же притих, приветливо замолол хвостом, узнал Михаила, — тот каждую ночь провожал до калитки Ульку, и Тигран привык к нему.

Улька, прильнув к окну, увидела у ворот высоченную фигуру, и сердце ее сжалось. Михаил в белой вышитой украинской сорочке, залитый лунным светом, смотрел на Ульку, делая ей разные знаки. Затем вплотную подошел к окну, и Улька увидела его блестящие глаза.

— Выйдь, Уля! — вполголоса просил он. — Выйдь, слышь, Уль? Выйдь!

Розовое пятно пропало, и Михаил услышал торопливые шаги босых ног.

— Миша, ты где?

— Вот я.

Совсем крохотная рядом с ним и теплая, мягкая, источавшая тревожный запах девичьей постели, она замерла у него на груди, прислушиваясь к частому и гулкому стуку его сердца. А он, сжав большими, шершавыми, в мозолях, горячими ладонями ее маленькую голову, целовал в холодные, вздрагивающие сухие губы.

— Будя... Ну, будя же... Отец увидит, — просила Улька, легонько отталкивая его от себя. Наконец высвободилась и отпрянула к завалинке, испуганно-счастливыми глазами глядя на Михаила.

Тот стоял на прежнем месте, тяжело дыша:

— Ну, Уля, я пойду...

Видно было даже при свете луны, как она побледнела.

— Иди, Миша. Ой, страшно как! — Плечи Ульки зябко передернулись.

Михаил опять приблизился к ней и притянул к себе, обнял, грея. Она не сопротивлялась, покорно и доверчиво глядя на него сузившимися глазами, в которых мерцало, переливалось что-то живое, трепетное.

— Иди, иди, Миша. Он дома.

Подифор Кондратьевич тем временем беспокойно ходил по избе, что-то решая. С той минуты, как он сделал для себя неожиданное открытие, что дочь его стала совсем взрослой, тревожное чувство ожидания неизбежного не покидало его. Всякого парня, проходившего мимо их дома, он провожал тяжелым, холодным взглядом своих темных, как у дочери, татарских глаз и мысленно давал каждому самую нелестную характеристику. И выходило, что все-все затонские и панциревские ребята, кроме разве Андрея Савкина, для которого Подифор Кондратьевич делал исключение, потому что в тайнике души мечтал выдать за него Ульку, — все, значит, затонские и панциревские ребята — сопляки, вертопрахи, бездельники, хулиганы, матерщинники и сукины дети, за которых он ни за что на свете не отдаст своей дочери. В отношении же Ульки Подифор Кондратьевич испытывал примерно то же чувство, что и в отношении вероятных ее женихов, — чувство глубокой ревности, к которому еще прибавилась острая и горькая обида, знакомая всем отцам на свете и выражавшаяся приблизи-

тельно одними и теми же словами: «Вот растишь ее, нянчишь, кормишь, сам недоедаешь, ночей недосыпаешь, а станет большой, выйдет замуж и забудет про отца родного».

Подифор Кондратьевич вырастил свою дочь один, без жены, — Улькина мать умерла, когда девочке было три года, — поэтому предстоящая неизбежная разлука с Улькой была тяжела ему вдвойне, и теперь он очень жалел, что Аграфена Власовна родила ему дочь, а не сына, который остался бы в родительском доме покоить старость отца и умножать его богатство, как полагается настоящим наследникам. А Улька — что ж, ее разве удержишь! И вот теперь та страшная минута, которую он ждал с такой тревогой, пришла, приблизилась к их порогу...

Однако когда дверь распахнулась и в ней появилась громадная фигура молодого хохла — так Подифор Кондратьевич звал Михаила Харламова, — он уже решил, что ему делать. Торопливо зажег лампу.

— А, Михайла Аверьянов... Милости прошу... Брысь, ты! — швырнул он со стула кошку. — Прошу присаживаться. Отчего так припозднился? Чем могу... Зачем пожаловал?

Михаил сел на пододвинутую ему табуретку. Слова, которыми он вооружился заранее, куда-то пропали. Михаил мялся. Подифор Кондратьевич, незаметно взглянув на него, терпеливо ждал.

— Ты, кажись, хотел что-то сказать мне? — решил наконец помочь парню — не столько для того, чтобы вывести его из затруднительного положения, сколько для того, чтобы поскорее покончить с тяжким и неприятным для него делом.

— Хотел...

— Что ж? Говори.

Михаил встал, шагнул к Подифору Кондратьевичу.

— Отдайте за меня Улю!

Подифор Кондратьевич помолчал, вздохнул:

— Сразу видать: зелен, неопытность. Разве такие дела одним махом делаются? Ну, положим, отдам я за тебя Ульяну. А завтра ты ее с детишками по мирупустишь: ни кола ни двора, никакой скотины ведь у тебя нету...

Подифор Кондратьевич умоляюще, ожидая, что будет говорить этот вдруг притихший и присмиривший парень.

Михаил тоже замолчал.

— Вот то-то и оно, Михайла Аверьянов, — тяжело вздохнув, снова начал Подифор Кондратьевич. — Не отдам за тебя Ульяну. Разве я враг своему дитю? Хочешь, иди к нам в зятя! — вдруг предложил он, весь просияв. — Я уж при годах. К старости дело идет. Будешь хозяйство вести.

— Нет, Подифор Кондратьевич, в зятя не пойду. — Михаил взглянул на хозяина в упор, и Подифор Кондратьевич увидел, что в глазах этого смиренного парня зажглись упрямые, напряженные огоньки. — У меня есть своя хата в Панциревке. Малая, да своя. И хозяйство у меня будет свое. Вот они, видишь? — И Михаил тихо положил на стол железные свои ручищи. — Все сделаю. Посажу сад — вот нам и хлеб и деньги. Только отдай за меня Улю, Подифор Кондратьевич.

— Ну, дело твое. Не хочешь — не надо. А насчет сада ты, Аверьяныч, зря торопишься. Поломает тебе ребра Гурьян Савкин. Поосторожней, парень. С ним шутки плохи. К тому же Ульяна ихнему Андриюхе приглянулась. Не ровен час, сбросят в омут — и концов не найдешь...

— Я не боюсь Савкиных. И Вишневого омута не боюсь. Что вы страшаете им! Никого и ничего я не боюсь! Вы только отдайте мне Улю, век вас буду помнить, Подифор Кондратьевич!

Подифор Кондратьевич подумал, раз и два глянул Михаилу в глаза, в которых, казалось, вот-вот закипят слезы.

— Ульяна, чего ты там стоишь? А ну, марш в избу! — крикнул он в раскрытое окно.

Вошла Улька и, не глядя ни на Михаила, ни на отца, быстро шмыгнула в горницу.

— А ну, поди сюда, дочка, — вернул ее отец. Улька подошла к нему, устремив на него свои черные глаза, — она слышала весь их разговор, укрывшись у завалинки, — они, эти ее глаза, умоляли: «Тятенька, я хочу... тятенька, не губи, пожалей меня... Тятенька, он хороший, сильный, я люблю его!»

Подифор Кондратьевич как-то виновато и жалко замигал глазами.

— Да я ничего... Да разве я враг своему дитю! — повторил он и поморщился. Дрогнули рыжая борода,

губы. И, как бы мстя за минутную свою слабость, за то, что чуть было не смягчился, закричал хрипло, бешено вращая белками: — Ишь чего надумали! Не бывать этому! Слышь, Ульяна, не бывать никогда!..

Улька со странно изменившимся, решительным лицом рванулась к двери. Отец, однако, успел подхватить ее за рукав.

— Ты куда, с-с-сучья дочь! Убью... дрянь такую!

— Пусти, пусти! Все равно мне не жить! Пусти! В омуте... утоплюсь!..

— Цыц, мерзавка! — Подифор Кондратьевич с перекошенным от дикой ярости лицом толкнул Ульку в горницу. Повернулся, багровый, к Михаилу. Тот, бледный, злой и насмешливый, стоял у выходной двери, и выражение лица его лучше всяких слов говорило: «Кричи, старик, запирай свою дочь, держи ее под семью замками, казни нас с ней обоих, а победитель-то я, а не ты, потому что она меня любит!»

— До свиданьчика, Подифор Кондратьевич.

Михаил поклонился и тихо вышел во двор. Долго искал щеколду у ворот, не нашел, легонько нажал на них плечом. Треснули где-то внизу и с шумом рухнули на землю. Отошел уже с полверсты, потом вернулся. Подифор Кондратьевич копался возле ворот один. Михаил нагнулся, и, ни слова не говоря друг другу, они подняли ворота, поставили их на место, тихо разошлись.

Пели вторые петухи. С неба в притихшее озеро Кочки капали теплые звезды. В осоке сонно крякали утки. В хлевах, чувствуя приближение утра, мычали коровы. В мутном, побледневшем воздухе неслышно носились летучие мыши. Наквакавшись вдоволь, крепким сном спали лягушки.

Михаилу было жарко. Расстегнул ворот рубахи. Струя холодного воздуха ворвалась за пазуху, освежила грудь. Михаил присел у озера и надолго застыл в одной позе. Кто-то пел в селе:

Звезды мои, звездочки,
Полно вам блистать,
Полно вам прошедшее
Мне напоминать.

Звезды послушались и одна за другой начали гаснуть. На востоке, кровеня макушки деревьев и колокольню, поднималось солнце. Пастух хлопнул кнутом. Из своей избы — он вновь, как блудный сын, был принят Меланьей — вышел во двор сонный Карпушка. Дом Меланьи стоял у самых Кочек, и Михаилу видно было, как, задрав синюю холщовую рубаху до самой головы, Карпушка нещадно скреб спину, сладко позевывая. Из соседнего, Подифорова, двора доносились звуки: «Жжжу-жжжу». Это Ульяа доила корову, торопясь выгнать ее к стаду. Оттуда до Михаила и, очевидно, до Карпушки доходил раздражающий запах парного молока. Слышно было, как корова, шумно и тяжело дыша, жевала серку.

Начесавшись всласть, Карпушка снова юркнул в избу. А через минуту появился опять — «согнать скотину». Скотины у них с Меланьей — одна овца, приобретенная хозяйкой в отсутствие мужа.

— Шабер, а шабер! — крикнул Карпушка через плетень вышедшему к себе во двор Подифору Кондратьевичу. — Овец не пора ли выгонять?

— А ты свою ярчонку к моим пусти да иди спать! — сонно и не без ехидства отозвался Подифор Кондратьевич.

Михаил быстро приподнялся и пошел к Карпушке — более близкого человека в Савкином Затоне у него не было.

В эту ночь мать его, Настасья Хохлушка, так и не смогла заснуть. Она несколько раз подходила к окну и всматривалась в темноту.

— Ой, лишенько! Время-то зараз какое, господи! Убьют его там — звери ведь живут в Савкином Затоне, а не люди. Нашел, где сватать!

7

В следующий вечер к Подифору Кондратьевичу собрался Карпушка. Принял он это более чем рискованное решение вопреки желанию Михаила Харламова. Карпушка загодя составил в уме своем грозный монолог, с коим намеревался обратиться к упрямому и несознательному Улькиному отцу, и теперь очень боялся, как бы не забыть приготовленной речи.

Торопливо вышел на улицу.

Полный месяц, вчера еще весело и дерзко скользивший по чистому и звездному небу, заплутался где-то в темных лохматых тучах и теперь никак не мог выкарабкаться из них. Моросил дождь. На кончике Карпушкиного носа и на его ушах покачивались, как сережки, мутноватые щекочущие капельки.

Карпушка думал о том, какую большую радость доставит он своему приятелю, когда наутро, а может быть, еще этой ночью сообщит ему, что Подифор Кондратьевич сдался наконец и теперь согласен выдать Ульку.

Карпушка улыбнулся по-детски счастливо, потрусил быстрее, но в десяти метрах от Подифоровой калитки резко замедлил шаг, а потом и вовсе остановился в нерешительности: во дворе грозно зарычал Тигран, давно почему-то невзлюбивший Карпушку.

Встретившись с этим непредвиденным препятствием, Карпушка задумался. Ему бы постучать в окно и покликать хозяина, но он почему-то побоялся. Порылся у себя в карманах в надежде отыскать хоть какой-нибудь завалящий сухарик, но, кроме ржавой чекушки, которую подобрал в поле третьего дня, в них ничего не оказалось. Попытался задобрить кобеля словами...

— Тигран... Тю ты!.. Не признаешь, глупый... Тиграша...

Пес выжидающе примолк. Но стоило Карпушке сделать один шаг к калитке, Тигран зарычал еще яростнее.

— Что ты на меня брешешь, зверюга глупая? — стал увещевать собаку Карпушка. — Поганая ты тварь! Не вор я, не разбойник и не конокрад какой-нибудь вроде Тишки Конкина, а самый что ни на есть мирный житель Савкина Затона. Вот кто я есть! Понял, неразумная ты скотина?.. Ну, бреша, лай, черт с тобой! Держите взаперти Ульяну... Будет старой девой, никто ее не возьмет — кому она тогда нужна? Переспелая девка не шибко сладка. Только в монашенки годится да в наложницы к старому барину Гардину, у которого и хотенье-то приходит раз в году, да и то в великий пост, когда грех таким делом заниматься... Вот до какого сраму доведете вы свою Ульку! Проклянет она тебя, Подифор Кондратьич, на всю жизнь проклянет, поманишь ты мое слово!.. Видал, какая ты цаца, Михаил ему,

вишь, не показался! А найдешь ли ты, кособородый и рыжий чертила, татарская твоя душа, зятя лучше Мишки Хохла? Всю землю обойди — не отыщешь такого красавца да умницу!..

Тигран кидался из стороны в сторону, захлебывался в ярости, рвал страшными клыками доски в воротах. И чем больше он свирепел, тем гневнее была Карпушкина речь:

— И не ори на меня, Кондратьич, я тебе не работник! На меня Ягоднов так не орал. Погодь, слезами горючими изойдешь, когда Ульяна повесится на твоём же перерубе аль в Вишневом омуте утопнет, как молодая Ягодника. И будешь ты, старый хрыч, слоняться по белу свету безумный, как Паня Колышев. И все-то будут над тобой потешаться, а ребятишки, само собой, показывать тебе язык... Добро твое Серьга Ничей разворует, и подохнете вы вместе со своим Тиграном. Выбросят вас в канаву, в которой валяются только пьяные мужики да дохлые кошки!..

А тут еще всплыла давняя обида на Подифора Кондратьевича, занозой торчавшая в не очень-то злопамятном сердце Карпушки.

В совсем недавнюю пору, когда Карпушка делал отчаянные усилия, чтобы выбиться в люди, стать настоящим хозяином, Подифор Кондратьевич продал ему по дешевке — «в знак дружбы» — полуторогодовалую телку, заверив, что к вербному воскресенью она отелится.

Карпушка сам недоедал, а все кормил свою Зорьку. Поил ее только теплым пойлом, скармливал последние тыквы. Телка на глазах жирела, не показывая, однако, признаков починания. Карпушка каждое утро заглядывал ей на власьце, но оно оставалось неизменным. Иногда Карпушке мнилось, что власьце припухает, но, выйдя к Зорьке вечером, он горестно замечал, что все остается по-прежнему. Вербное воскресенье прошло, а Зорька все не починала. Напрасно Меланья трепала ее за пустые соски.

Однажды — это было уже после пасхи — Зорька обрадовала было супругов. Карпушка с утра заметил ее грустный вид, а также то, что Зорька как-то подозрительно-странно виляет хвостом. «Значит, телиться надумала. У молодых-то коровенок так бывает. Нет-нет да

сразу!» — решил хозяин и стремительно помчался в избу. Истово перекрестился, молвил тихо и торжественно:

— Ну, Маланья, видно, дождались...

— Ой, пеужто правда? Слава тебе господи...

— Ноне, должно, — озабоченно сказал Карпушка и заторопился. Заметалась по избе и Меланья, даже за-была посадить в печку хлеба, которые уже выпирали в разные стороны из квашни.

Пастуху они наказывали:

— Последи, Вавилыч, последи, родимай.

Вавилыч обещал последить.

Весь день Карпушка и Меланья провели в тревожно-радостном волнении.

Меланья даже всплакнула:

— Задавят теленочка-то быки. Зря мы Зорьку в стадо пустили. — И, вдруг прекратив плакать, грозно обрушилась на мужа: — А все ты виноват! Никудышный из тебя хозяин!

Она заставила Карпушку принести сухой соломы и постелить у порога для теленка.

— Вот бы бог послал телочку. — И Меланья крестилась на икону.

— Непременно будет телочка. Кому ж и быть, как не телочке. Я в боку щупал...

— Не дай бог! — внезапно вспомнила Меланья. — Коли телка, то корова не будет прибавлять молока после каждого отела. Нет, лучше бы господь бог смилостивился на бычка!

— Ну вот, видишь, ты какая!.. Кто его знает, можа, и бычок... наверняка бычок... Я щупал... брыкается так... — выкручивался Карпушка.

Меланья спешно принялась готовить горшки, промывать их и прожаривать.

Карпушка в деревянном полу наvertsел дыр, куда бы могла стекать моча...

Каково же было их удивление, когда вечером как сумасшедшая, с отброшенным в сторону хвостом, в сопровождении громадного «мирского» быка, прямо во двор примчалась их Зорька. Карпушка так и остолбенел, тупо глядя перед собой остановившимися глазами. А Меланья, завидя во дворе страшного быка и свою телку, ахнула, уронила горшок.

— Только еще гуляется! — наконец сообразил Карпушка. — Вот нечистая сила! Ах, рыжий разбойник! Надул, обманул, бандюга! — проклинал он соседа.

И вот сейчас, вспомнив про все это, Карпушка до того разошелся, что уже не мог остановить своей горячей обличительной речи. Тигран, видимо устав состязаться с ним, притих, но тут хлопнула сенная дверь и послышался глуховатый, давящий на «о» голос Подифора Кондратьевича:

— Кто там?.. Кого нелегкая?.. Тигран, назад!

Карпушке же показалось, что во дворе крикнули: «Тигран, вузы его!» — и он, мгновенно утратив воинственность, с необычайной прытью бросился наутек.

Лишь добежав до Панциревки, в которой проживал со своей матерью и сестренкой Михаил Харламов, Карпушка остановился, чтобы перевести дух, а заодно и поразмыслить над тем, что же с ним содеялось такое и как он сообщит обо всем этом Михаилу, который предупреждал, что ничего путного из Карпушкиной затеи выйти не может.

«Однако ж я ему все, как есть, выложил, старому жадюге!» — не без бахвальства подумал незадачливый сват, всерьез полагая, что разговаривал сейчас с самим Подифором Кондратьевичем, а не с его псом, который в действительности был единственным и к тому же не слишком внимательным слушателем страстной Карпушкиной речи.

8

Тяжелая работа на месте будущего сада продолжалась. Лес медленно отступал перед человеком, оставляя после себя рыжие шары вывороченных из-под земли пней. Возле них зияли глубокие воронки, в воронках брезжила успевшая отстояться ослепительной чистоты вода. С подсыхавших обрубленных корневищ и кудельной мягкости и тонкости мочковины осыпалась черною крупую земля. Она четко выделялась на белом песчанике, пятнала его, делала нарядным.

Близилась осень, и человек торопился: саженцы лучше приживаются, когда их погружают, уже уснувших, в студеную осеннюю землю. Очнувшись по весне, они недолго будут хворать, а сразу же потянутся к солнцу, к жизни. Теперь Михаил Харламов трудился и ночью.

От зари и до зари за Игрицей не потухал костер. В качающихся его отсветах то и дело вырастала согбенная фигура работника. Вокруг нее золотой россыпью дымила туча комаров и мошек — даже костер не мог отпугнуть этой тучи от потного горячего тела. И только когда Михаил резко выпрямлялся, когда из его груди коротким стоном в такт ударам топора исторгалось «и-и-и, гек!», туча колебалась, то поднимаясь вверх, то отмахивая в стороны. Через равные промежутки времени доносился сочный, вязкий хряск обрубаемых корневич и сучьев, изредка — тонкий, вибрирующий звон топора, встретившегося с железной крепости стволом старого дуба. Разбуженные птицы метались в красном зареве костра и над рекою, роняя то негодующие, то тревожно-жалобные клики. Коростель скрипел и трещал неумолчно. Ему вторил удод: «Худо тут, худо тут, худо тут». Далеко, в глубине леса, дважды провыла волчица. Ее долгое, стнящее, знобящее душу «у-у-у-у-э-э-э-э-а-а-а-а» всполошило собак в Панциревке и Савкином Затоне, и собаки подняли неистовый трусливый лай. Люди, сидевшие на правом берегу Игрицы и, лениво переговариваясь, наблюдавшие за ночной работой человека, вдруг примолкли, кто-то перекрестился, прошептал молитву; потом группами стали расходиться по домам.

На берегу Игрицы остались лишь две маленькие фигурки, плотно прижавшиеся друг к другу.

— Страшно, Уль?

— Страшно, Полюшка. Вот как страшно!

— А ты не бойсь. Братику мой сильный.

— Я не за него — за себя боюсь.

— Ты что?

— Тятка... За Савкина Андрея меня...

За рекой надолго замолчал топор. Потом оттуда послышалось:

— Полинка, это ты? Иди спать!

Улька зажала холодной ладошкой Полюшкин рот.

— Не отвечай! Молчи, родненькая! Молчи! Пойдем отсюда. Я тебя провожу.

Схватившись за руки, они побежали прочь от реки.

За Игрицей вновь раздался удар топора. Щепки красными птицами вспорхнули вверх, трепетно покружились в воздухе и, дрожа, медленно опустились на землю; взлетели коротко отрубленные сучья и с сухим

пением упали в реку; потревоженные ими, из прибрежных зарослей поднялись дикие утки и, со свистом рассекая воздух, улетели куда-то в густеющую чернь ночи; с берега тяжело шлепнулись в воду лягушки; синей молнией с пронзительным криком вдоль реки, едва не касаясь водяной глади, сверкнула птица-рыболов; уныло и одиноко прогудел водяной бык. Над Игрицей невидимый кто-то опустил паутинной тонкости и прозрачности вуаль. Река задымилась прохладой. В Вишневом омуте, проснувшийся раньше всех, озорно вскинулся сазан, погнав во все стороны торопливые круги. Игрица заголубела, заулыбалась приближающейся утренней заре. Вишневый омут по-прежнему стыл в угрюмой, немой неподвижности и был чернее уходящей ночи. Никто, казалось, не смел беспокоить тяжелой его дремы. А за рекой стучал и стучал топор. Лес отвечал ему покорным шелестом желтеющих листьев, нарастающим шумом падающих деревьев.

За Игрицей появился Карпушка.

— Михайла, ты скоро зашабашишь?

— Скоро. А ты плыви сюда!

— Это как же я поплыву? Я не дерьмо какое, чтобы поверху бултыхаться. Давай лодку!

— Новость, что ли, несешь?

— «Вестей-новостей со всех волостей», как говорит Илька Рыжов. Ты спереж перевези, а тогда уж и допытывайся. У меня глотка не луженая, чтоб так кричать. Голос свой берегу. Меня недавно в церковный хор приняли. Вчера на спевке был — тенор у меня объявился. Регент похвалил. Велел только поболее сырых яиц глотать. А отколь они у меня, яйца-то? Своих курей давно хорь подушил, а Маланья не несется... Ну, давай, давай, гони лодку! Что уши развесил? Копаешься, как жук в навозе, а счастье не воробей, вылетит из рук — хрен пымаешь. Давай лодку, говорю! Слышь?

По нарочито игривому, что-то скрывающему и не умеющему скрыть голосу Карпушки Михаил понял, что случилось неладное, и заспешил к лодке, которую он недавно выдолбил из сухого осинового комелька. Раздвинулись, жестко зашелестели камыши, и маленький челнок сразу же оказался на середине Игрицы.

Карпушка нетерпеливо ходил по берегу, теребил свои аспидно-черные кудри.

— Проворней, проворней, Михайла! Экий увалены! Михайл причалил лодку, легко, одним рывком выдернул ее из воды почти всю на берег, поздоровался:

— Здравствуй, Карпушка!

— Здорово живешь!.. Да не жми ты так лапищей-то! Не можешь, что ли, потихоньку да полегоньку! — Карпушка потряс занемевшими пальцами, по-детски подул на них. — Слушай, что я тебе скажу. Ульяну твою просватал Подифор. За Савкина Андрея. Нонешней ночью, пока ты тут ковырялся, запой был. Не поскупил-ся Гурьян кладкой — корову, которая у него вторым телком пошла, три овцы, шубу новую, лисью, шесть ведер вина, да сто рублей деньгами отвалил за невесту. Дорого мой соседушка, рыжий кобелина, продал свою дочь! Пили-гуляли до зари, до третьих аж кочетов, я все время у окна, под завалинкой проторчал. Тиграну столько кусков перекидал — на неделю б нам с Маланьей хватило...

— Ну, а Уля... Она что?.. Как она... — В горле у Михаила закипело.

— Ну, как? Известное дело как. Прибегла откель-то, глянула в окошко: а они тут как тут, сидят. Сваты. Затряслась вся, подкосились у нее ноги, чуть было не грохнулась — подхватил я ее. Кинулась ко мне на шею. «Карпушка, кричит, родименький, спаси хоть ты меня!» Взял я ее да и отвел к себе, а Маланье сказал, чтоб заперлась и никого не пускала. А сам скорее сюда, к тебе. Вот ведь какие дела, Михайла! Мой тебе совет: забирай Ульку и мотай за Волгу!..

— Не могу я так, Карпушка. Мать и сестру не могу оставить. А потом мой сад... Что будет с ним?.. Да и грех без родительского благословения...

— Ну и дурак! «Грех»! А ему, родителю этому, не грех девчонку без любви, без желания в чужие люди отдавать, к таким зверям? Эх, ты! Да я бы на твоём месте... — Карпушка вздрогнул и замолчал: в Вишневом омуте, под навесом старого тальника, среди замшелых коряг темной глыбищей всплыл сом и раза три кряду ударил по воде хвостом. — Чертяка! Напугал... Аж вспотел! — вытирая рукавом лицо, виновато пробормотал Карпушка. — Ну, так как же ты?

— Никуда я не поеду. Уле передай: пускай не дает своего согласия.

— А оно и не требуется, ее согласие. Как отец порешил, так тому и быть. Ныне запой, а на покров — свадьба. И нет Ульки. Будет рожать сынов-богатырей для Савкиных...

— Ну, ты вот шо...

— Молчу, молчу!.. Ишь набычинился! Поступай как знаешь, ежели не хочешь принимать моих добрых советов...

Из-за леса медленно подымалось солнце. Первый луч его рассек макушку высоченного дуба и, точно брошенная плашмя сабля, лег на воду, криво вонзившись в плотину. К светлой этой дорожке тотчас же устремились миллионы шустрых мальков, зарябили водную гладь, словно бы ее кто-то невидимый расчесывал гребешком, засверкали жемчужною, микроскопической своей чешуйкой, заиграли, запрыгали. Вот уж быстрыми, прямыми саженками пунктирно поскакал по воде паучок-водомер. Кувыркнулся и пошел вертикально вниз темно-коричневый жук-плавунец. Неподвижно повис в воздухе коромыслик глазастой стрекозы. Из-за леса по синеющей, чистой небесной шире, лениво поводя горбатым клювом и просторно раскинув радужные крылья, плыл коршун.

— Пойдем до тебя, Карпушка, а? — сказал Михаил, проведив пернатого разбойника долгим печальным взглядом своих синих, небесных глаз.

— Не. Так не годится. Увидют—и все пропало. Ты лучше плыви обратно на тот берег, а я к тебе ее лесом, со стороны смородинника, приведу. Как свистну два раза, ты и выходи навстречь. Понял? Ну, стало быть, и ладно. Плыви, плыви! Да и не горюй больно-то, не вешай буйну голову, авось все обойдется. У бога-то есть глаза ай нету? Ну, давай, давай!

— Спасибо тебе! — Михаил порывисто шагнул к Карпушке.

— Только без объятий. Мне мои косточки еще сгодятся. Лезь, говорю, в лодку!

9

Улька составила свой план. На его обдумывание ушли почти вся ночь и утро, пока Карпушка ходил на Игрицу, к Вишневому омуту, Меланья отгоняла в стадо овцу, а Подифор Кондратьевич в страшном смятении

бегал по селу, отыскивая, где могла ночевать его непутевая дочь. Улька теперь уж и сама считала себя непутевой, потому что ее план был и дерзостен, и неслышанно преступен.

Сейчас она быстро-быстро шла лесной тропкою и думала, как подбежит к Михаилу, возьмет его за руку и уведет далеко-далеко в глушь, туда, где по ночам воеет волчица да дурным голосом кычет филин. И там, в этой немой парной чашобе, весь-то божий день, до самой темной ноченьки, она будет ласкать своего милого, а потом пускай отдадут за того супостата, Андрея Савкина, — после венца в первую же брачную ночь она скажет ему, что уже не девушка, что не для него хранила она сладостный миг любви. Андрей, конечно, тотчас же выгонит ее, а ей, Ульке, только того и нужно будет: она станет женою Михаила Харламова.

Вот какой нелегкий путь избрала Улька к своему счастью. Но она избрала его твердо, и потому лицо ее, когда она увидела идущего навстречу Михаила, было исполнено неотвратимой решимости, татарские глаза сузились, брови — торчком, в широкий разлет.

— Пойдем, пойдем же скорее, Миш, — заговорила она первой, таща Харламова за руку. — Карпушка, родненький, дай нам побыть одним!

— Понимаю, понимаю. Ай я пенек какой, чтоб не понимать? — пробормотал Карпушка и, пригнувшись, черным зверьком нырнул в кусты, затрещал там, побрел в сторону сада.

Когда все стихло, Улька, запрокинув голову, долго глядела в глаза Михаила, и он испугался: что-то жалкое, просящее было в этом ее взгляде. Она потянула его за руку, почувствовала легкое сопротивление, вновь посмотрела ему в лицо, спрашивая недоумевающими, беспокойными глазами: «Что же это значит? Отчего ты не хочешь идти за мною?» Еще не поняв всего умом, но почуяв сердцем, Улька отпустила его руку, и ей стало до слез обидно. Но она не заплакала, побледнела только, прикусила нижнюю губу, постояла так немного, потом повернулась и не шибко пошла назад по той же тропинке, по которой бежала к нему.

— Уля, что с тобою?

Улька не оглянулась. Ей, конечно, очень хотелось, чтобы он догнал ее, поднял на руки, крепко-крепко по-

целовал и понес в сторону от тропы. Ульке даже чудились его торопливые шаги, но, обернувшись, она увидела Михаила на прежнем месте, заплакала, облилась злыми слезами и побежала.

10

Дома Подифор Кондратьевич, сняв со стены заранее припасенный чересседельник, долго и обдуманно, сосредоточенно сек дочь, ожесточаясь от ее упрямого молчания. Определенная на покров день свадьба по его настоянию была перенесена на более ранний срок.

Венчание шло точно в назначенный день. Церковь была полна, всяк спешил «хоть одним глазком глянуть» на богатых жениха и невесту. Отец Василий, предвкусывая солидную поживу, старался вовсю, расцвечивая венчальный обряд в особенно пышные цвета. Вот он, величественный и торжественный, сияя золотом, уже спрашивает молодых, по любви ли соединяют они на веки вечные юные свои сердца, не было ли над ними совершено насилия. Андрей, смуглый, толстогубый, уже начавший обрастать бурой, отцовской масти, шерстью, огнеглазый, тая озорную, разбойную ухмылку, сверкнул белой костью зубов, сказал:

— По любви, батюшка.

— Ну, а ты, дочь моя? — обратился отец Василий к Ульке.

— По любви, батюшка, — сказала она машинально и вдруг содрогнулась вся от чудовищной этой лжи. Лицо ее исказилось, темные глаза плеснули нехорошим огнем. Трясаясь, она закричала диким, отчаянным голосом: — Да пропадите вы все пропадом, душегубы! — и, подхватив белый хвост подвенечного наряда, бросилась вон из церкви.

Толпа расступилась в радостном изумлении и с ликующим ревом хлынула вслед за невестой. Улька бежала по улице, ведущей к Ужиному мосту, а через него — прямо в Салтыковский лес. На бегу сбрасывала с себя свадебное, в этом ей охотно помогали собаки, выскочившие из всех подворотен. Белые куски материи летели по ветру. Мальчишки, черной, улюлюкающей ордой мчавшиеся за беглянкой, подхватывали их, дрались между

собой из-за посеребренных и позолоченных подвенечных украшений.

Ульку изловили в лесу, на Вонючей поляне, связали ей руки, и так, связанной, оба свата, Подифор и Гурьян, насмерть пристыженные, опозоренные, повели в село и всю дорогу усердно секли плетью. Толпа подогревала, подсаживала:

— Гурьян Дормидонтович, а ты по голым лягашкам-то ее, по лягашкам, суку!

— Путем ее, путем, мерзавку! — кричал злой мужичонка Митрий Полетаев, первый драчун на селе, зачинатель всех кулачных баталий, прозванный затонцами Резаком за то, что еще в детстве он посадил одному мальчишке меж лопаток самодельный нож.

Федор Гаврилович Орланин, бывший матрос Черноморского флота, шел ближе всех к истерзанной Ульке и твердил гневно и угрожающе:

— Что вы делаете с девчонкой, изверги?

— Заткни глотку! — И Гурьян Савкин ткнул в грудь Федора свинчаткой своего страшного кулака.

А потом случилось и совсем уж худое. Переодетая сызнова подругами в отцовском доме и доставленная в церковь довенчиваться, Улька внезапно расхохоталась на весь божий храм неестественным, русалочьим хохотом, вырвалась вперед, готовая вспрыгнуть на алтарь. Хохочущую, рыдающую, выкрикивающую дерзости, увез свою дочь Подифор Кондратьевич домой. На другой день послал в Баланду, в больницу, за доктором, и тот определил у девушки тяжелую форму умопомешательства.

Так в Савкином Затоне на утеху мальчишкам и пьяным озорникам появилась Улька-дурочка, которая теперь будет слоняться по селам и деревням в обществе другого затонского блаженного — Пани Колышева.

Состарившийся за какую-нибудь неделю чуть ли не вдвое, белый как лунь Подифор Кондратьевич совсем было уже выбился из колеи, запил смертно, но однажды после мучительного похмелья, выпив полбочонка квасу, он повел вокруг себя просветленным взором и понял, что ему надобно жениться. Без особого труда перемагнул он соседку, Карпушкину супружницу Меланью, которой, видать, надоело жить в бедности за своим никудышным муженьком. В качестве приданого Меланья

привела овцу, забрала из переднего угла единственную икону с изображением Георгия Победоносца, прокалывающего длинным копьём змия. Избенку же свою милостиво ссудила Карпушке, чтоб не очень огорчался-печалился.

Карпушка, однако, и не собирался огорчаться — чего еще не хватало! «Зад об зад — и врозь! Она, Меланья-то, ни мычит, ни телится. Ни молока от нее, ни мяса. А сколько сраму из-за нее, проклятой, натерпелся! Чуть было в полегченного не зачислили. Слава богу. Сорочиха выручила, а то б навеки прилипла бы ко мне дурная слава!»

Прожив с Меланьей несколько лет, Карпушка однажды понял, что его упитанная супруга совершенно не способна рожать детей. Но затонцы в бесплодии поначалу обвиняли самого Карпушку. Многие уверяли, что он полегченный, в доказательство приводили то обстоятельство, что Карпушка не ходит вместе с другими мужиками в баню и что Меланья украдкой поглядывает на чужих мужей. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Карпушка вовремя не принял самых решительных мер, чтобы раз и навсегда покончить со вздорными и гнусными слухами.

Выследив однажды, как в Подифорову баню зашла Сорочиха, Карпушка с редкостным проворством юркнул в предбанник, сбросил там с себя портки, перекрестился и вскочил в парную. С ходу выпалил остолбеневшей старухе:

— До каких пор, бабушка, буду я терпеть напраслину? Слухи разные? Вот они, глянь, все на месте...

В тот же день весь Савкин Затон потешался над новой проделкой Карпушки. Однако дело было сделано: длинный язык Сорочихи полностью восстановил Карпушку в глазах затонцев.

Вот об этой-то веселой истории он и вспомнил сейчас, расставаясь с Меланьей:

— Хрен с ней, пускай идет.

В тот же день как ни в чем не бывало Карпушка сидел у Подифора Кондратьевича и всю философовал:

— Человека нельзя неволить, шабер! Грешно! Полюбила тебя, к примеру сказать, моя Маланья, зачем же я суперечь стану? Иди, родимая, наслаждайся жизнью...

Вот и с Ульяной... Ежели бы ты... — Но, перехватив недобрый, ничего хорошего не сулящий взгляд Подифора Кондратьевича, Карпушка мигом и весьма ловко перевел разговор на другое: — Мы с тобой соседи, шабры по-нашему, по-затонски. Должны, стало быть, проживать в согласии и дружбе. Так что желаю вам счастья. Совет да любовь. За ваше здоровье!

Они выпили по одной, по другой и по третьей выпили. В заключение ударили почему-то ладонь об ладонь, точно барышники на баландинской ярмарке, и расстались, ужасно довольные друг другом.

11

А Михаил Харламов?

Теперь он и сам не смог бы в точности рассказать, почему остался живой, почему не наложил на себя руки. Не раз темной ночью стоял он на берегу Вишневого омута и смотрел в глаза своей смерти.

Не приняла его смерть, отошла, отодвинулась, отступила и надолго.

В соседней степной деревушке со странным именем Варварина Гайка сердобольная Сорочиха по слезной просьбе Настасьи Хохлушки подыскала для Михаила Харламова подружку — шестнадцатилетнюю сиротку Олимпиаду, или просто Пиаду, как ее звали все на деревне, как потом стали звать муж, золовка и свекровь. Беленькая, усыпанная золотистыми веснушками, будто сорочиное яичко, Пиада была неправдоподобно мала росточком и рядом с гигантской фигурой Михаила казалась сущим ребенком. Говорили, будто все пять верст от Варвариной Гайки до Панциревки он нес ее, доверчиво прильнувшую к широченной его груди, на руках. Свадьбы никакой не было. Только Карпушка выпил чарку за здоровье и счастье молодых, да тем все и кончилось.

Поздней осенью, когда ударили первые заморозки, Михаил привез из Саратова, от знакомых людей, саженцы яблонь разных сортов, груш, слив, вишен, смородины, крыжовника и посадил на расчищенной от леса площадке. Работа продолжалась две недели. А еще через неделю саженцы были выдернуты из земли и разбросаны, искалеченные, во все стороны. Впервые по щеке Михаила скатилась скупая мужская слеза. Досуха

вытер глаза, сжал зубы и пошел к Савкиным. У ворот встретил Андрея, закапывавшего лопатой дубовую вереву, сказал негромко и внушительно:

— Коли еще раз сотворишь такое, убью.

Повернулся и молча пошел от дома, по привычке грузчика заложив руки за спину и малость сутулясь.

Как же захотелось Андрею запустить в эту широкую, гордую спину топором, который лежал у его ног, но сробел, не хватило духу. Потом долго не мог простить себе этой слабости. Страх перед Харламовым, однажды ворвавшийся в душу Андрея, не покидал затем его всю жизнь, как, впрочем, не покидал он и его отца. Случилось это с той минуты, когда Гурьян попытался было вовлечь Михаила в кулачные бои и когда тот, легко перебросив семипудовую тушу через свою голову, вытянул ее на пыльной, загаженной свежими коровьими лепешками дороге и спокойно посоветовал:

— Не балуй, Гурьян Дормидонич. Ушибу.

— Ты... Ушибешь... — только это и пробасил Гурьян, в растерянности почесывая затылок и встряхивая длинным подолом испачканной рубахи. Потом покорно удалился.

Ранней весной маленькая Пиада родила сына. Родила в саду, во время снятия с молодых яблонь жгутов соломы и рогожин. Раздев одну яблоньку, она присела на корточки и залюбовалась хорошо прижившимся деревцом, его нежными, дымчато-зелеными ветвями.

« — Принялся, принял, голубок! Принялся, миленький! — ворковала она и вдруг вскрикнула от невыразимо острой, неземной боли, полыхнувшей по животу и пояснице.

Михаил схватил ее в охапку и, воющую, отнес в шалаш. Туда же устремился и Карпушка, помогавший в работе, но тут же отпрянул, вытолкнутый отчаянным криком женщины:

— Уйди, бесстыдник! Ох, господи-и-и!

Через час в шалаше заплакал ребенок. И в тот же миг в Савкином Затоне ударили медью колокола.

— Никак, пожар? — встревожился Карпушка. — Побегу, не ровен час, сгорит избенка — в чем жить буду?

Вскоре он вернулся успокоенный,

— Царя, вишь, в Петербурге убили, Александра Освободителя, — и неожиданно запел — нестройно, нарочито гнусаво:

Ой ты, воля, моя воля,
Воля вольная моя.
Знать, горячая молитва
Долетела до царя.

Замолчав, перекрестился:

— Царство ему теперь небесное.

А Михаил, держа на ладони закутанного в старые мешки сына, хмурился, говорил мрачно:

— Не будет счастья. Не будет! В недобрый час родился сынку мой!

— Зря убиваешься, Михайла. До бога высоко, до царя далеко. Один помрет — другой сядет на престол. Нам все едино. Твой Петруха — так, кажись, ты хотел назвать сына-то? — коли с умом-разумом — не пропадет. Чего там? Пойду-ка я на зубок припасу, да и сам выпью за здоровье новорожденного, а заодно и за упокой души царя нашего-батюшки, самодержца всероссийского... Крестить-то когда будете? Завтра ай попозднее? Отцу Василию надо сказать.

12

На душе было одиноко, пустынно.

Часто и подолгу глядел Михаил на Игрицу, и ему все думалось, что вот сейчас появится там Улька и, как бывало, приветливо улыбнется ему.

Появлялась, однако, тихая беленькая Пиада, приносившая мужу еду. Она ходила вторым, была на сносях и сильно подурнела. Золотые веснушки, делавшие ее крохотное, птичье личико забавным и привлекательным, слились в большие, землистого цвета пятна; веки припухли, рот обмяк, губы потрескались и посинели.

Михаил подплывал на челноке, забирал еду, неумело ласкал ее, безразлично спрашивал о матери, о сестре, уже второй год работавших прачками у панциревского помещика Гардина и таким образом добывавших на хлеб для семьи, возвращался в сад. Михаил не обижал свою Пиаду, ни разу не выказал, что не ей, безответной, принадлежит он сердцем-то своим, не по ней

долгими-предолгими ночами острой тоской исходит душа...

Неужто он так и не сможет жить без Ульки? Неужто не станет светить для него ясно солнышко, не станет теплой и ласковой Игрицы, в которой так хорошо удить рыбу и купаться, не станет леса с его птицами, зверями, цветами на зеленых просеках и полянах, не станет Вишневого омута, которого хоть и боялись все, но и не желали, чтобы омут исчез совсем? Неужто не для него будет цвести и шуметь листвою, буянить красой им же возвращенный сад? Неужто ничего не будет, кроме тупой и вечной боли в груди, тайного свинцово-угрюмого равнодушия ко всему на свете, — ничего не будет, кроме мокрой подушки под горячей головой, и так-то весь твой век, до самой могилы?..

— Уля... — остановившись вдруг посреди сада, беззвучно шептал Михаил. Большие руки его бессильно висели вдоль туловища, глаза подергивались сумеречной дымкой и невидяще глядели в какую-нибудь точку. Чужало ли сердце Михаила, что впереди, связанное с Улькой, ждет его еще одно тяжкое испытание?

Михаил слышал от людей, что Улька начала жестоко пить, появлялась оборванная и почерневшая всюду, где только затевалось гульбище, сивушный дух слышала на далеком расстоянии и бежала на него сломя голову, как бездомная собака на запах выброшенной в овраг падали. Ее нередко видели спящей в канаве среди разного мусора. Михаил верил и не верил этому, пока сам, своими глазами не увидел такое, что чуть было опять не свело его в могилу...

Андрей Савкин, затаив лютую злобу, давненько уж искал случая, чтобы поквитаться с ненавистной ему, ослабившей его на все село девкой. Будь Улька в здравом уме, он без промедления осуществил бы свой страшный замысел. Связываться же с дурочкой вроде бы нехорошо, неприлично. Однако злоба его была столь велика и неутолима, что он плюнул на все побочные соображения и начал действовать. В качестве союзника привлек Афоню Олехина, своего работника, придурковатого парня, служившего Савкиным верой и правдой. Решено было увести Ульку подальше в Салтыковский лес, к Вонючей поляне, как раз к тому месту, где она пыталась укрыться в день скандального, памятно-

го венчания, напоить ее там до бесчувствия, сделать что надо, а потом уж порешить, как поступить с нею дальше. Купили в лавке Федотова четверть водки, набрали огурцов, сала. Афоня отправился за Улькой, а Савкин Андрей — в лес, к условленному месту.

Ульку Афоня обнаружил под отцовской крышей: она спала на полу, чисто помытая мачехой и принаряженная, и во сне была красива, почти как прежде. Рот полуоткрыт, белый оскал ровных зубов тихо освещал обветренное, темное лицо. Ноги обнажены, бесстыдно разбросаны и были смуглы только до коленей, а выше — цвета парного молока, молодые, округлые. Афоня вздрогнул, обожженный вспыхнувшим желанием и, гася его, грубо пнул спящую. Та раскрыла полинявшие, недобро поблескивающие глаза, одернула юбку.

— Чево тебе?

— Опохмелиться хошь?

— Угу. А у тебя есть? — просительно заскользила глазами по Афониным карманам.

— Есть, есть. Пойдем со мной.

Улька бежала за ним трусцой, то и дело вырываясь вперед и заглядывая ему в лицо, — так бежит за хозяином только что ошенившаяся сука, когда от нее уносят топить слепых кутят.

Узнала ли она Андрея? Может, узнала, а может, и нет, потому что лицо ее нисколько не изменилось, когда он появился на поляне и пошел им навстречу.

Они расположились под вязом, на краю поляны, прижав конский щавель и свирельник, давший острым щекочуще пряным запахом своим название поляне — Вонючая.

— Улька, помнишь, как нас с тобой женили? — спросил Андрей, через силу стараясь придать своему голосу насмешливо-простодушное выражение, но глаза не слушались, выдавали: в них под нависшей волосней побуревших от солнца бровей уже металась молния, в черни зрачков бушевали грозы.

Улька замотала головой и потянулась дрожащей рукой к кружке. Жадно выпила, остаток пролила на грудь. Выпили и Андрей с Афоней. Крепчайшая водка в союзничестве с полдненным зноем кинули их в жар, одурманили, поприбавили смелости. Ульке налили еще кружку. Сами закусывали огурцом, салом, ей закусы-

вать не давали. Сначала она пела какие-то странные, не похожие на людские песни, потом расплакалась, потом расхохоталась, потом стала часто и громко икать, потом присмирела, задумалась вроде, прикрыла глаза, упала спиною на траву и мгновенно заснула.

Вокруг с минуту стыла сторожкая, непрочная тишина. Над поляной, косо избочив крылья, низко кружил коршун. Птицы, до этого звеневшие в кустах и траве, тоже примолкли, затаились.

— Ну? — Андрей вопросительно посмотрел в глаза Афона.

— Не, — затряс большой круглой и черной, как чугун, головой Афоня. — Сперез ты. Можя, она того... не трогана. Вон титьки-то торчат как! Тебе, чай, по закону... первому...

— Ну, и... с тобой, дурак! Прочь отсюда! — рыкнул Андрей.

— Ай застеснялся? Какой стыдливый! Ладно, вай... Я на дороге посторожу...

Вскоре Савкин покликнул его.

— Давай, Афоня, теперь ты... Спит как убитая, ни разу не очухалась... А ведь ты правду сказал — не троганая...

За этим-то занятием и увидел их Михаил Харламов, загнанный на Вонючую поляну охватившей его в тот день непобедимой тоской.

— Что вы делаете, зверье! — закричал он, еще не совсем веря своим глазам.

Афоня первым заметил опасность и бросился в кусты. Побежал потом и Андрей, но было уже поздно: жесточайшим ударом кулака Михаил опрокинул его на землю. Пришлось принять бой. Через минуту они уже темным рычащим клубком катались по поляне, зеленые от примятой травы. Не заметили, как проснулась Улька, как она с криком побежала из лесу в Савкин Затон. Приведенные ею Подифор Кондратьевич, Карпушка, Федор Орланин и Митрий Резак розняли дерущихся.

Андрея в тот же день отец увез в Баланду, в больницу, а Михаил с помощью Карпушки добрался до своего сада и три дня не мог унять выворачивающей его наизнанку рвоты.

Вся семья была рядом, никто не ложился спать.

На четвертый день он очнулся от оглушительного, нездешнего, нечеловеческого крика.

У Пиады начались преждевременные роды.

Это чуть было не погубило молодую мать и ее дитя. Но это же самое спасло жизнь Михаила, уже твердо решившего было покончить с собой. В ту минуту Михаил Харламов, может быть, впервые с какой-то особой ясностью понял, как несправедливо жестоко устроена жизнь, и, поняв это, внутренне насторожился, как бы прислушиваясь к тайной работе своих же, но непривычных, новых для него беспокойных мыслей. Странно просветленный, худой, как бы вдруг понявший что-то чрезвычайно важное для себя, он слабыми, как после перенесенного тифа, неровными шагами подошел, поднял на руки маленькую Пиаду и, как тогда, в первые ее роды, понес в шалаш.

13

Сад между тем подрастал. В нем уже поселились птицы. Первыми пернатыми новоселами оказались соловьи. Одна пара жила совсем блчзко от шалаша. Она выбрала для себя большой, загустевший, ошетинившийся во все стороны злыми колючками куст крыжовника. Это случилось в ту весну, когда первым цветом занялись яблони, когда всюю цвели вишни, сливы, терн. Соловей запел на заре, засвистал, зашелкал сочно и звонко. Михаил проснулся с ощущением праздника на душе: никогда еще не было ему так хорошо, ясно и спокойно.

Было воскресенье. Над Игрицей тек медноголосый благовест. Это молодой церковный сторож Иван Мороз скликал верующих к обедне. Михаил вытянул губы и попробовал подражать соловью. Вышло нелепо, смешно. Соловей перемолчал, обождал малость, а потом, как бы глумясь над беспомощностью человека, залился звончайшей трелью и, все нагнетая и нагнетая, без передыха брал одну невозможную ноту за другой, а под конец, замерев на миг, всхлипнув как-то, рассыпался крупным градом, да так, что у Михаила захолоднуло под сердцем, словно бы его неожиданно толкнули с огромной высоты.

— Молодец! — шептал он.



Скворец, высунувшись из своего домика, прикрепленного к вершине сохранившегося для такой цели молодого дубка, послушал, послушал, выскочил на ветку, взмахнул крыльями и начал дерзко и очень похоже передразнивать соловья. Однако голос лихого пересмешника был слаб, сух — ему не хватало сочности и всех тех неуловимых оттенков, которыми природа одаряет лишь своих избранных — гениальных певцов. Должно быть, скворец и сам скоро сообразил, что состязаться с соловьем, по крайней мере, неразумно, и сразу же переключился на иные лады: очень искусно проквакал лягушкой, ловко воспроизвел голубиную воркотню, протараторил по-сорочьи, а в заключение концерта уронил тихую, сиротскую, непреходящую скорбь горлинки. И те, кому он столь успешно подражал, вдруг пробудились и один за другим подали свои голоса.

Сначала отозвалась лягушка. Большая, полосатая, словно бы приодетая в восточный халат, она взгромоздилась на озаренный первым солнечным лучом листок кувшинки, устроилась на нем, как на подносе, поудобнее, проморгалась со сна, надула за щеками большие пузыри и заголосила: «Кы-уу-рыва, кыу-рыва». Ей тотчас же сердито ответили в Вишневом омуте: «А ты как-ка, а ты как-ка?»

Сорока, мелькая меж стволов яблонь, прокричала русалкой и скрылась в частом терновнике, где уж второй год она выводила озорных и горластых сорочат. Горлинка откликнулась в калине, окружавшей сад со всех сторон и наряжавшей его то в белоснежные, то янтарные, то светло-зеленые, то розовые, то пунцово-красные, пурпурные ожерелья. На яблоне, прозванной за своеобразную форму плодов кубышкой, появился пестрый удод, или дикий петушок, как его именуют затонцы. Раздвоил тонкий, радужный, как китайский веер, хохолок, потом сложил, потом снова раздвоил, опустился на землю, бесстрашно подскакал к шалашу и философски заключил: «Добро тут, добро тут».

— Ишь ты! Теперь добро, а прежде-то: худо тут да худо тут. Верно, шельмец полосатый, добро! А будет еще краше. Вот погоди трошки.

Яблони и груши второй уж год начали зацветать, но Михаил не допуская до завязи плодов, обрывал цвет,

оставляя на дереве по два-три цветка, чтобы лишь проверить сорта яблок и груш. Раннее плодоношение пагубно для молодого сада: у дерева очень скоро прекращается рост, наступает преждевременная старость, и оно не даст и половины того, что может дать, войдя в зрелый возраст. Пока же в полную силу цвели лишь скоро созревающие и непривередливые испанские вишни, смородина — красная и черная, терн, малина, крыжовник. Яблоням оставалось ждать еще года два-три. Но уже и теперь каждая из них успела показать хозяйину свой характер, свой нрав. Буйно рвущаяся вверх, краснолистая и красностволая кубышка была нежна, капризна и любила полив; яблоко у кубышки ярко-красное, румяное, сочное; едва почуяв обильную влагу, кубышка весело встряхивала густыми ветвями и вся как бы улыбалась свету вольному: она была настоящей баловницей у садовника; Михаил холил ее, пожалуй, больше всех. Рядом с кубышкой, отделенная от нее только узкой тропой, росла тихая и грустная медовка — яблонька со сладкими и упоительно душистыми, неожиданно крупными для нежной их и слабой матери плодами. Медовка часто хворала и, как всякое большое дитя, была окружена особой заботой и любовью. Очень много зла приносили ей зайцы — для Михаила этот трусливый зверек был страшнее волка. Из всех деревьев зайцы почему-то избрали медовку и тяжко ранили ее кожу. Михаил закутывал медовку на зиму мешковиной, обматывал соломой, и все-таки заяц умудрялся, точно бритвой, то отсечь наискосок ветку, то поскоблить кожу. Однако выжила и медовка и теперь, немного, правда, отстав от своих подруг-ровесниц, тянулась вверх, к солнцу. В два ряда по обе стороны выстроились анисовки — шесть удивительно похожих одна на другую сестер со светло-зелеными, почти дымчатыми листочками. С каждой из них Михаил в прошлом году снял по несколько кисло-сладких небольших, приплюснутых сверху и снизу ароматных яблок — лучших для мочения на свете не существует. Анисовки в противоположность кубышке были беззаботны, воды почти не просили и боялись только червей, охотнее всего почему-то селившихся в листьях анисовых дерев. Анисовки росли дружно, вперегонки, широко и привольно разбрасывая вокруг кривые вет-

ви. Каждое утро они встречали Михаила по-ребячьи забавным, милым лепетом. А за ними, поближе к Игрице, напоминающие пирамидальные тополя, целились в синее небо острыми макушками две груши бергамотки. Их мелкие и жесткие, как у лавра, листочки и при полном безветрии испуганно трепетали, ропща на что-то. Сучья, длинные и шипастые, плотно жались к материнскому стволу. Днем бергамотки отбрасывали длинные тени, а ночью стояли темные, строгие, молчаливо настороженные, как часовые на посту. Немного поодаль, по правую и левую стороны сада, на его флангах, на солнцепеке росли желтокожие китайские яблоньки. Они второй раз пытались буйно зацвести, но Михаил безжалостно укрощал их жадную тягу к материнству. В глубине сада, в тылу, в арьергарде, трудно, но основательно подымались над землей антоновки и белый налив. Они были неприхотливы, спокойны и царственно важны. По всему было видно, что собирались долго прожить на белом свете. У самого шалаша в добром соседстве с молодым и крепким, как деревенский парубок, дубком, самозабвенно рвалась вверх раскудрявая зерновка — яблоня-дичок, неведомо как затесавшаяся в культурное семейство. Ее никто не поливал, не обрезал на ней лишних сучьев, не делал ей прививок, а она и не нуждалась в этом: росла себе да росла, успев дважды устлать землю под собой великим множеством мелких, желтых в зеленую крапинку, на редкость кислующих плодов, даже мальчишки не отваживались вкусить от них. Михаил однажды решил было устранить зерновку, да пожалел: больно уж хороша она собой, пышна и озорна, как девка на выданье, к тому же вместе с дубом она создавала вокруг шалаша великолепную прохладу, где приятно попивать чаек с малиной да плести из липового лыка лапти — к этому ремеслу Михаил пристрастился сразу же, как только перекочевал на постоянное жительство в сад. От леса сад был отгорожен калиной и терновником, служившим одновременно и естественной изгородью; от реки, напротив Вишневого омута, — калиной и высокой вишней владимиркой. По бокам — сливы, а за яблонями, на прогалинах, ровными рядами кустилась смородина, крыжовник. Позади шалаша, на взгорке, табуном высыпала малина.

Вот мир, который будет окружать многие поколения Харламовых на протяжении долгих-долгих лет.

Шли годы. Сад разрастался, густел. Подрастали дети: их было уже трое: Петр, Николай и Павел. Маленькая Пиада, все еще похожая на девочку-подростка, рожала только сыновей — на зависть многим панцирочанам и затонцам: по тогдашним законам земельные наделы давались лишь на человеческие существа мужского пола, на женщин не отпускалось и вершка.

— Ты у меня умница, — говаривал ночами Михаил Аверьянович (теперь его все уже называли по имени-отчеству). — Вон сколько богатырей народила! Добре, жинка!

А на сердце — камень: наделы не полагались не только женщинам, но и всем приезжим, инородным, «странним». Они могли получить землю лишь с разрешения «общества», старейшин села. Для Михаила Аверьяновича это означало, что он должен был обратиться прежде всего к могущественному повелителю затонцев — к Гурьяну Дормидонтовичу Савкину. Михаил Аверьянович уже снял со своего сада несколько урожаев и выручил немного денег. Теперь он решил осуществить давнюю свою мечту — перебраться на постоянное жительство в Савкин Затон, богатый и землей, и лугами, и лесом, и огородными угодьями. Долго терзался сомнением: пойти или не пойти на поклон к Гурьяну? Скрепя сердце пошел: большой семье надобна земля, одним садом ее не прокормишь.

Гурьян — Андрея дома не было, выехал в ночное — встретил Михаила Аверьяновича с удивлением.

— Зачем пожаловал, Аника-воин?

Михаил Аверьянович вышел на середину избы, встал перед образами. На него глядели из темного, прокопченного лампадой угла свирепые лица — видать, и богов Гурьян подобрал по своему же подобию.

— Хочу в Савкин Затон переехать. Бью тебе челом, Гурьян Дормидонтович. Не откажи. Вовек не забуду.

Гурьян зло просиял:

— Так-то? Я знал, что придешь — не минуешь. Только разве так челом-то бьют? Об пол харей, харей

надоть! Да в ноги, в ноги. А гордыню-то спрячь! Ну?!

— В ноги падать не буду, Гурьян Дормидонтович. Помру, а не буду.

Михаил Аверьянович повернулся и тихо пошел к двери.

— Ну и подыхай со своими хохлятами! — крикнул ему вслед Гурьян.

Михаил Аверьянович задержался, поглядел на хозяйина, но ничего не сказал.

Гурьян беспокойно заерзал под этим тяжким взглядом. На том, вероятно, все бы и кончилось, если б не Настасья Хохлушка. То, чего не мог сделать сын, сделала за него мать. Отправляясь к Савкину, она прихватила на всякий случай красненькую. Позже, страшно довольная собой, повествовала своей приятельнице Сорочихе:

— На брюхе перед ним ползала. «Не бывать тому!» — каже, и усе. Я — в слезы. «Родненький, кажу, батько ты наш, смилуйся, не губи. Дети у него, у Мишки-то моего, мал мала меньше. Михаил-то, мол, глуп, гордый — простил бы уж ты его». Нет и нет! Тоди я ему десять карбованцев... Подобрел, пообмяк трохи. «Ладно уж, каже, вас, Настасья Остаповна, с дочерью да внуками жалко, а то бы ни в жисть».

— А красненькую-то взял?

— А як же? Узял, узял, риднесенький!

— Ну и господь с ним. Ну и слава богу!

Гурьян Дормидонтович, оставшись наедине с десяткой, не сразу, не вдруг упрятал ее в свой кованый сундучок. Сначала повертел так и сяк перед глазами, понюхал, пощекотал ею кончик носа, чихнул от избытка чувств, потом принялся читать по слогам написанное на десятирублевке:

— «Го-су-дар-ствен-ный кре-дит-ный би-лет. Де-сять рублей». Десять рублей! Шутка ли! Телку за такие-то деньги можно купить! — проговорил вслух и продолжал читать: — «Го-су-дар-ствен-ный банк раз-ме-ни-ва-ет кре-дит-ные би-ле-ты на зо-ло-ту-ю мо-не-ту без ог-ра-ни-че-ния сум-мы». Без ограничения... Ишь ты! — снова проговорил вслух и стал открывать кованый сундучок.

Спрятав десятку, задумался.

«Бумажка, а какая в ней силища-то! Скажи на ми-

лость! Есть она у тебя — ты человек. Нет — дерьмо собачье, тля, вошь, любой может к ногтю...»

Радужное оперение двуглавого орла на красненькой долго еще стояло перед его очами. Глянет на стену — там вырисовывается десятирублевка. На шкаф поглядит — и там она, милушка. Обратит взор свой к иконам — и там вместо строгих лиц Иисуса Христа и Николая Угодника — бестелесный образ кредитки. На собственный портрет, грубо состряпанный каким-то заезжим пачкуном-художником, посмотрит — и там то же самое. Гурьян знал, что этот странный мираж возникает перед его глазами всякий раз, как только в его руки попадает новенький банковский билет, и что он будет преследовать его до тех пор, пока не погасишь каким-нибудь другим, еще более сильным ощущением. Чаще всего выручала водка: хватит натошак кружку-другую, и в глазах тотчас же замельтешат, запляшут бесенята, а кредитка исчезнет.

— Черт с ним, пушай поселяется! — сказал Гурьян, обратившись к самому себе, что, впрочем, делал почти всегда, когда нужно было решить важное дело: из всех собеседников он уважал прежде всего самого себя — сам себе задавал вопросы, сам отвечал на них, иногда рассказывал сам себе длиннейшие истории и благоговейно, умиленно их выслушивал. — Пускай обратится в Савкину веру. Так-то будет лучше! — бормотал он, еще не сознавая умом своим того, что в его темную и грозную душу, не спросясь, совсем незаметно вторглось и утвердилось невольное уважение к «хохлу». — Крепкий мужик, двужильный, и с умом. Не перешибешь скоро-то. Его бы в работники — гору своротит! — Причмокнул, щелкнул языком, но сразу же увял, заключив с великим сожалением: — Не пойдет, подлец. Гордый сильно, да уж и свои корни глубоко запустил. Вон сад-то какой, небось деньжищ нагребастал — страсть одна! Не пощупать ли его, а?.. Нет, убьет, собака. Схватит за глотку, и не пикнешь. Не то в омут спихнет... А можа, помирить их с Андрюхой, а? Как ты, Дормидонч, кумекаешь, а? Пригодится, ей-богу, пригодится!

Последняя мысль понравилась.

— Переломает хребтину любому цареву отступнику, — шептал Гурьян, погружаясь в состояние знакомо-

го ему мрачного духа. — В Петербурге и в Москве опять, вишь, беспокойно. Подняли головы эти самые... как их там... Ух, мерзавцы, всех бы я их... до единого! — Темные, землистого цвета пальцы хрястнули и сами собой сплелись в тугой, как гиря, кулак. — За Федькой Орланиным надо поглядывать. Негоже он говорит про государя императора. Правда, может, спяна. Но ить што у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Да и за этим пустобрехом Карпушкой следоват присматривать. Ране в церковь не ходил, теперь только пошел, поет в хоре. А што он поет, когда они, голоштаные, на Смородинной поляне по воскресным дням собираются? Можя, у них там сходка?

Радужный мираж красненькой улетучился без помощи водки.

15

Место для избы Харламовых уступил рядом с собой Митрий Резак. Он же возил Михаила Аверьяновича в поле показывать землю. Злой Митрий неожиданно по добрел к «страннему».

— Теперича и ребятишки не боятся Вишневого ому-та. Целыми днями торчат там с удочками, — говорил он затонцам. — А все отчего? Оттого что этот хитрый хохол сад там взрастил. Девчата песни играют, хороваются — и вокруг повеселей маленько стало. Илья Рыжов рядом с хохлом тоже сад затеял. Да и у меня такая мысль в голове завелась. Скребется, как мышь, не дает покою! Намедни говорил с Гардиным — обещал продать полдесятины...

Осенью Харламовы перебрались в Савкин Затон. Пятистенный дом их стоял на возвышении, на юго-западной окраине села. Перед окнами сразу же начинались Малые луга, простиравшиеся до синеющей вдаль Салтыковской горы. Влево от лугов, если глядеть со стороны селения, молчаливой стеной стоял лес. Его разрезали на три равные части переезды: Ближний, Средний и Дальний. Вправо бугрились соломенными крышами риг Малые гумна — все лето до самой зимы над ними стоит густое рыжее облако мякиной пыли, гулко и складно ухают цепы, высоко в раскаленном воздухе августовскою порой вьются клочья соломы,

осотный пух; северо-восточный ветерок несет оттуда тонкую пряжу горьковато-нежных запахов сухой березки, полыни, васильков, сурепки, куколя. Временами гул стихает, пыль медленно оседает на тока, на обмолоченные и необмолоченные копны, на риги, на крапиву, на людей, на кур. Цепы, остывая, лежат вразброс на рядках растерзанных снопов. Это значит, что по дороге, проходящей через гумна, движется похоронная процессия. Гумна дальним своим концом, вплотную подступают к кладбищу, окруженному глубокой канавой. Канавы эта заросла горьким лопухом. Лопухи неподвижны от толстого слоя гуменной пыли и непроницаемы для солнечных лучей, под ними всегда сыро, сумеречно. В знойный полдень в канаву забредают телята и, лениво обмахиваясь куцыми хвостами, блаженствуют, покуда не спадет жара. Кладбище без единого кустика. Старые могилки заросли белым низкорослым полыньком. Над свежими непостижимо скоро вымахивал татарник и кланялся во все стороны множеством своих малиновых обманчиво-привлекательных голов. Кресты стояли так и сяк. Под тощими и кривыми — тела затонцев с Непочетовки, Захудаловки, Поливановки. Под приземистыми и непременно окрашенными в черный цвет — представители династии Савкиных и многочисленные их «сродники». На каждом таком кресте можно прочесть имя раба божьего, коий «покоится под сим крестом». Прочий люд спал вечным сном под разнокалиберными крестами — крашеными и некрашеными, тучными, вроде Савкиных, средней толщины и вовсе тоненькими, как былинка. Состоятельные — под дубовыми, бедные — под ветляными либо осиновыми. Всему своя вера, своя цена, и ежели полюбопытствовать, кто когда помирает, то и свой срок. Но кому же любопытствовать? «Бог дал — бог взял». Вот и все.

Есть в Савкином Затоне и Большие луга, и Большие гумна — они в противоположной стороне села. И там — справа лес, надвинувшийся на Игрицу, а слева, за Большими гумнами, — поле. Оно круто берет разбег, устремляясь на север, северо-восток и восток — сперва бесплодным польнным выгоном, а потом ровными просторными пажитями. Скаты полей порезаны оврагами на огромные, седые от бархатно-сивого по-

лынка ломти; вечно разверстыми, алчуще красными ртами грозятся овраги, будто хотят проглотить и гумна, и кладбище, и село, и лес. Весной по ним с грозным львиным рыком рушатся желтые потоки воды. Они заливают конопляник, что по правую сторону от Малых гумен и кладбища, значительную часть села, полностью Большие и Малые луга и, достигнув Игрицы, в ее сообществе потопляют лес, и тогда Савкин Затон оказывается на маленьких островах. В течение двух недель над селом не утихает переполошный крик петухов, поселившихся со своими гаремами на крышах изб и сараев, мычание коров, лай собак, перебиваемый изредка истошным воплем тонущего человека. В такую пору луга напоминают море — воды спокойны, вечерами в них плавают звезды, осколок луны, утки, гуси, подальше от берегов — лебеди; подоженные снизу погружающимся за горизонт солнцем, огненно-красные, тихо скользят они по водной глади, рождая в притихших благоговейно людях неясные желания: вот бы подняться, как эти гордые птицы, и полететь, полететь... куда глазоньки глядят, куда сердечушко кличет, за море синее, за горы высокие. Уйдя, вода оставляет после себя аршинный, парной и ноздрястый, как творог, наносный ил: брось в него семя — в три дня проклюнется могучее жизнежаждущее шильце восхода. Нет, он был совсем неглупый малый, тот безвестный божий угодник из монастырской обители, что облюбывал эти земли!

Когда-то в Савкином Затоне насчитывалось всего двадцать дворов, а ныне их уже пятьсот. В селе — невиданное дело! — три церкви, три веры: старообрядческая, православная и третья, уж не знай какая, вера Савкиных. За многие сотни лет Савкины так расплодились, что составляли теперь едва ли не треть села. После неудачного венчания Андрея в православной церкви они порешили соорудить собственную церковь и замаливать в ней свои великие грехи тайно от селян. Даже священник был их же, Савкиных, кровей. Затонцы победнее держались почему-то православной веры. Они, не стесняясь, горланили, завидя старовера:

Кулугуры не крешены,
Из дерьма багром ташены.

Старовер в растерянности моргал глазами, не зная, чем бы ответить, и, не найдя достойного, кричал первое, что на ум пришло:

— А ваш поп Василий на крест наблевал! Нализался церковного вина и наблевал!

— А на ваш крест Паня Страмник нас...л! — не сдавался православный.

На это кулугуру ответить уж было нечем, потому как в словах православного содержалась хоть и не совсем святая, однако же сущая правда.

Годов пять тому назад Савкин Затон потрясло одно прелюбопытное событие, напрочно вошедшее в неписаную историю селения. Тогда старообрядцы достраивали для себя новую церковь с явным намерением перешеголять противную им веру. Кирпичная, многоглавая, она вознеслась над Савкиным Затоном к самым небесам и была готова вот-вот рывкнуть октавицей стопудового колокола. Православным это определенно не нравилось. Долго думали, чем бы подпортить торжество староверов, и наконец придумали. Совершенно блестящую идею подал Карпушка, почему-то больше всех ненавидевший кулугуров. Он посоветовал подговорить Паню Колышева, чтобы тот ночью пробрался за церковную ограду, где лежал привезенный из Саратова золоченый крест для самой большой главы, и opravился на этом кресте. Паня исполнил поручение как нельзя лучше. Его, конечно, жестоко высекли, в придачу окрестили Страмником, но цель была достигнута: немалое число старообрядческих прихожан, в числе которых оказался и Подифор Кондратьевич Коротков, не вынеся позора, переметнулось под эгиду православного попа, к вящей радости последнего. Вражда между этими верами с той поры еще более обострилась, нередко приобретая форму кровавых столкновений, так что уряднику Пивкину не раз приходилось вызывать из Баланды конный наряд жандармерии.

— Безумное, безголовое племя, — говорил обычно Михаил Аверьянович, обмывая в Игрице окровавленную физиономию Карпушки, который, заделавшись певчим в церковном хоре, стал ревностным защитником чести православной церкви, участвовал чуть ли не во всех баталиях, вспыхивавших между кулугурами и православными. — Какого дьявола ты-то суешься? —

увещевал его Михаил Аверьянович. — Дадут тебе щелчок — и готов. Силач какой отыскался! И Петра моего втравил. Ох, доберусь же я до вас, доведете вы меня!

Драки, поножовщина, возникавшие то в одном конце села, то в другом, обходили Михаила Аверьяновича стороной. Сад зеленой тихой стеной как бы ограждал его от всех мирских зол. Недавно он женил старшего сына — Петра. Теперь у них была сноха — Дарьюшка, полнолицая, полногрудая, с добрыми карими глазами, удивительно покладистая и работающая. Проснувшись еще до кочетиной побудки после первой же брачной ночи, она спокойно и деловито подошла к печке и загремела ухватами, будто никогда и не отходила от нее. Затопила печь, поставила чугуны, отправилась во двор доить корову. Вернулась с полным ведром, процедила сквозь ситце молоко в горшки, расставила их по окнам, прикрыв деревянными кружочками. А когда проснулись остальные, все уже было прибрано, припасено. Настасья Хохлушка всплакнула на радостях: какую сношеньку господь бог послал им! Поцеловала Дарьюшку, обмочила ее щеку мокрым носом!

— Шо ты, милая? Поди, поди усни, голубонька. Я сама...

Сестра Михаила Аверьяновича, Полюшка, давно уже была замужем, отдана за «странного», в село Симоновку, что в восьми верстах от Савкина Затона. Отчий дом она редко навещала — мешали заботы о собственном гнезде. Да и где он, отчий тот дом? Одни гнилушки остались от него в Панциревке, в темную ночь жутко светят неживым фосфорическим светом...

Подрастали и младшие сыновья. Пора бы женить и Николая, Миколу, как звал его отец, но ростом мал: от горшка два вершка, в мать пошел, в Пиладу, но резв необыкновенно, не знай уж в кого! Да и Петр невелик в длину-то. И в нем Пиадины кровинка возобладала. Только Павел, кажется, попер в батьку: двенадцатилетний, а выше братьев на целую голову. Однако с ленцой. Этому лишь бы по чужим бахчам промышлять, подлецу. С утра до вечера пропадает где-то, только бы не поливать сад. Микола — тот молодец. Боек в работе. Поутру, чуть покличешь, вскакивает и бежит сломя голову запрягать Буланку. Один едет в поле, на луга,

на гумно, в лес. Вот только не жалеет животину, негодный парубок! Как-то вез на Буланке сено. У ворот, на изволоке, лошадь заартачилась, бьется в оглоблях, а воз ни с места. Горячий Микола выдернул длинные вилы и начал черенком бить лошадь. Буланка рванулась, упала на колени, вскочила — воз не пошевелился. Михаил Аверьянович случайно оказался дома и видел все из окна. Не выдержал, выбежал на улицу, оттолкнул сына. Распряг Буланку и взялся за оглобли. Тронул воз один раз, другой и вдруг, налившись кровью, побагровев, вдохнув с шумом в себя воздух, повез, повез... Во дворе долго стоял молча, грудь его вздымалась и опускалась, со лба капал пот. Микола робко пробирался вдоль стены к сеним, чтобы поскорее оказаться под защитой бабушки.

— С-сукин ты сын! Сам я насилиу ввез, а ты лошадедку мучил!

И пошел вслед за Николаем в избу. Потом долго и сосредоточенно пил чай из ведерного самовара. Не заметил, как выпил весь. В сердитом недоумении покрутил туда-сюда кран, поднял крышку, заглянул: пусто. Крякнул и вышел в сени. В ворохе яблок, насыпанных в углу, отыскал зерновку и долго, надкусив, высасывал из нее кислющий сок — это почему-то всегда успокаивало его.

«Женить, женить нужно! — еще раз подумал он, отправляясь в сад. — Собьется с пути. И за Петра надо взяться. К вину пристрастился, чертов сын. Выколочу я из него эту дурь! Вот погоди!»

К водке, так же как и к участию в драках, Петра приобщил Карпушка, которому очень пришелся «по ндраву» этот прямодушный и словоохотливый «хохленок». Петр с удовольствием выслушивал диковинные Карпушкины истории, безраздельно верил им, удивлялся и хохотал от души, что, понятно, не могло не нравиться Карпушке. В компании же Петр был просто незаменим: «из-под земли» добудет водку. О том, как он ее добывает, любят рассказывать в Савкином Затоне.

Зима. Ночь. За окном стужа, воеет ветер и метет — света вольного не видать. Водка выпита, но никто не собирается уходить. Под столом перекатываются пустые бутылки. Мужички перемаргиваются. На стол

падает серебро, медь. Карпушка наклоняется к уху Петра:

— А ну, хохленок, валяй!

Петр нахлобучивает шапку и, нырнув, как в омут, в ворвавшийся со двора в открытую дверь пар, исчезает. Компания запасается терпением. Ей известен маршрут, по которому двинется посланец. Сначала он обойдет Савкин Затон — водки может не оказаться. Тогда побежит в Панциревку — одна верста не расстояние. Водки там, конечно, не будет. От Панциревки до Салтыкова две версты — для молодых и резвых ног Петра они ничего, разумеется, не значат, — побежит сквозь пургу в Салтыково. Но и там его часто постигает неудача. Что же делать? Вернуться? Чего не хватало! От Салтыкова до Варвариной Гайки три версты: ежели идти напрямиком, через Салтыковскую гору, это ровно столько же, сколько и до Савкина Затона, с той лишь существенной разницей, что в Варвариной Гайке может быть водка, а в Савкинском Затоне ее определенно нет. Так куда же он должен, по логике вещей, пойти? Конечно же, в Варварину Гайку. Что же касается компании, так она обождет, не впервой. Лучше он маленько задержится, чем придет с пустыми руками. Борясь с пургой и трудно дыша, Петр уже видит мрачные рожи Карпушкиных гостей — в том случае, если б он вернулся ни с чем. Итак, в Варварину Гайку! Но нередко и эта деревушка подводит. Петр в тягостном раздумье чешет затылок, стирает шапкой с лица пот. Так-так, гм... От Варвариной Гайки до Безобразовки сколько будет? Кажись, пять верст? Была не была! Айда в Безобразовку! Но коль не повезет, так уж не повезет: водки не окажется иной раз даже в Безобразовке. А позади одиннадцать верст. А впереди? Впереди Баланда, волостной центр, и до центра этого всего-навсего четыре версты. Только безумец мог теперь вернуться назад, когда до желанной цели рукой подать...

Усталого, белого от инея, курящегося паром и безмерно счастливого, от порога до стола Петра торжественно несут на руках и усиленно расхваливают его воистину феноменальные способности. Он появляется на пороге всегда в ту критическую минуту, когда компания находится на грани злобного разочарования. Но вот он тут как тут, маг и волшебник, вытаскивающий из

всех карманов, из рукавов, из-за пазухи и даже из-за голенищ валяных сапог одну бутылку за другой. Доставал, однако, не вдруг. Наслаждаясь все возрастающим ликованием товарищей, Петр извлекал бутылки медленно, по одной, при значительных паузах. Появление на столе нового грешного сосуда сопровождалось новым приливом радости у всех присутствовавших — за одно это можно сбегать не только в Баланду, но хоть на край света...

Не довелось Михаилу Аверьяновичу выколотить из старшего сына эту дурь. Где-то далеко-далеко, именно на самом краю света, началась война, и о Петре вспомнили. Вернулся он из-под «самого аж Порт-Артура» через полгода с одной правой рукой, да и на ней остались только два пальца, большой и указательный, словно бы специально для того, чтобы мог держать детинушка милую его сердцу стопку. За неделю до его возвращения с войны Дарьюшка родила сына. Как ни ждал Михаил Аверьянович внука, но не обрадовался: не в добрый час появился он на свет — отец пришел калеккой, а где-то в Москве опять беспокойно, до села глухую волной докатывались слухи о революции. Гурьян Савкин рыскает по округе, кого-то все выискивает вместе с сыном Андреем, вынюхивает. Страшен — зверь зверем!

16

Ранним ноябрьским утром все мужское население Харламовых вышло на Игрицу — нужно было подготовить сад к зиме: обрезать сухие сучья, покрасить в белое стволы яблонь, прорубить, прочистить терновник и малинник, закутать молодые деревца, поправить плетни, закрепить веревками шалаш, чтоб его не унесло половодьем во время весеннего разлива Игрицы. Петр Михайлович волновался. Далеким, грустно-необратимым повеяло на него от знакомого до последнего кустика, такого милого и родного сада. Со странно изменившимся лицом и светившимися глазами он подходил то к медовке, то к кубышке, то к анисовке, то к антоновке, то к зерновке и единственной рукой обнимал каждую яблоньку.

— А ты, медовка, постарела. Согнулась. Прошлым летом я и не примечал этого. Эх-х-хе-хе-хе, — шептал он тихо и печально. — И тебя не пощадили, окорнали, вон сколько сучков-то поломано. Ребятишки небось. Пашкины дружки, порази их громом! Как же это не углядел отец? А? Да и сама ты виновата — зачем поддалась подлецам, по щекам бы их, по щекам! Ну, не тужи, не кручинься. Заживет. У тебя заживет... Зараз дедушка Михаил полечит... — И подходил к кубышке: — А ты, брат, молодец! Ни единой царапинки, румяная, как Фрося Вишенка! — Подходил так и говорил всякой свое, показывал обрубки рук и то жаловался на свою судьбу, то насмешливо-иронически прибавлял: — Зато Георгия на грудь повесили, кавалером сделали, от девок отбоя нету — жалко, что женатый, а то б... А руки — зачем они? С ними одни хлопоты; то за куском, то в драку тянутся. И опять же по рукам могут больно стукнуть. А без них живи в свое полное удовольствие, без лишних забот и соблазнов...

Яблони будто слушали, стыдливо перешептываясь нагими ветвями. Сейчас они были некрасивы и, видать, сами понимали это, потому что не болтали беззаботно, не заигрывали, как прежде, летнею порой, с буйным и нахальным гулякой-ветром, только тихо роптали, когда он лихим кавалерийским наскоком врвался в сад и разбойничал минуту-другую.

— А вы не горюйте, ваши листья весной опять распустятся, зазеленеют, — сказал Петр и задумался о чем-то, прижав пальцами заматеревшие, опаленные горячими и неласковыми лядунскими ветрами усы, потербил бороду, прошитую местами кудельной ниткой седины. Подошел к отцу, хлопотававшему возле шалаша. Спросил с той же грустинкой, маскируемой насмешливостью: — Ну как, красивый я?

— Дуже красивый. Надо б краше, да некуда.

— То верно, отец. Родной сынишка боится. Хочу взять его, а он затрясется весь, засучит ножонками, зайдет в плаче, аж посинеет, того и гляди, животишко надорвет... И за что меня бог покарал? За что? Уж лучше бы насмерть! — Долго сдерживаемая боль, накопившись, всколыхнулась, прорвалась, выплеснулась наружу. Всегда такое доброе лицо Петра искривилось страданием, в голубовато-серых, как у отца, ласковых,

мягких глазах сверкнула лезвием острая озлобленность. — Зачем повезли нас туда? Без патронов — с одними ширинками да иконами? Зачем? Не помог и Георгий Победоносец — побили нас, как рассукиных сынов! Вчистую размолотили!.. А зачем, я спрашиваю? Что мне до тех желторожих? Пушай бы наш царь один сцепился с Микадовым-то и волтузили б друг дружку! У нас и без япошек хватает врагов — одни Савкины чего стоят! Живой, что ль, старик-то? Ну да... Черт его заберет — двести лет жить будет, бирюк!.. Федька Орланин умнее поступил: выскочил в Аткарске из скотиньего вагона, в каком нас везли на убой, только его и видели...

— Дезертир, значит?

— Дезертир ай еще кто — один черт! Убег — и молодец. Постарше нас и поумнее оказался. И своо адмирала Макарова не захотел повидать, — его, вишь, япошки потопили...

— Ну, ты вот что, Петро... Бог правильно тебя покарал: балакаешь многонько, а таких он не любит, бог. Послушай меня, батька дурное не присоветует. О войне, о желторожих, об Орланине помалкивай. Язык свой придержи: не ровен час, вырвут. У императора голова поди лучше твоего устроена, знает, что надо делать, с кем воевать и прочее...

— Знать-то он знает...

— А ты помолчал бы все-таки, — не злобно, но властно остановил Михаил Аверьянович сына. — Помолчи, когда отец говорит. Сколько уж ден прошло, как возвратился, а не спросишь, как мы тут живем-можем, шо нажили, шо прожили, шо вспахали-посеяли...

— Тять, а когда ты отучишься балакать по-хохлацкому? — улыбнулся Петр.

— Мабудь, никогда. До самой могилы не забуду... — Михаил Аверьянович вдруг посветлел лицом, отставил веревку, которую собирался врыть в землю, распрямился во весь рост, широко развернул плечи, как бы собирался взвалить на них большой и драгоценный груз. Радостно улыбнулся чему-то своему, далекому и, верно, очень дорогому для него. Потом, сразу же погрустнев, вздохнул: — Мабудь, не придется уж побывать в тех краях, на Полтавщине, глянуть хоть одним глазком на Днипро...

— Ну, а как же вы тут жили, расскажи, тять?— спросил Петр, очевидно, для того только, чтобы отвлечь батюку от нерадостных дум.

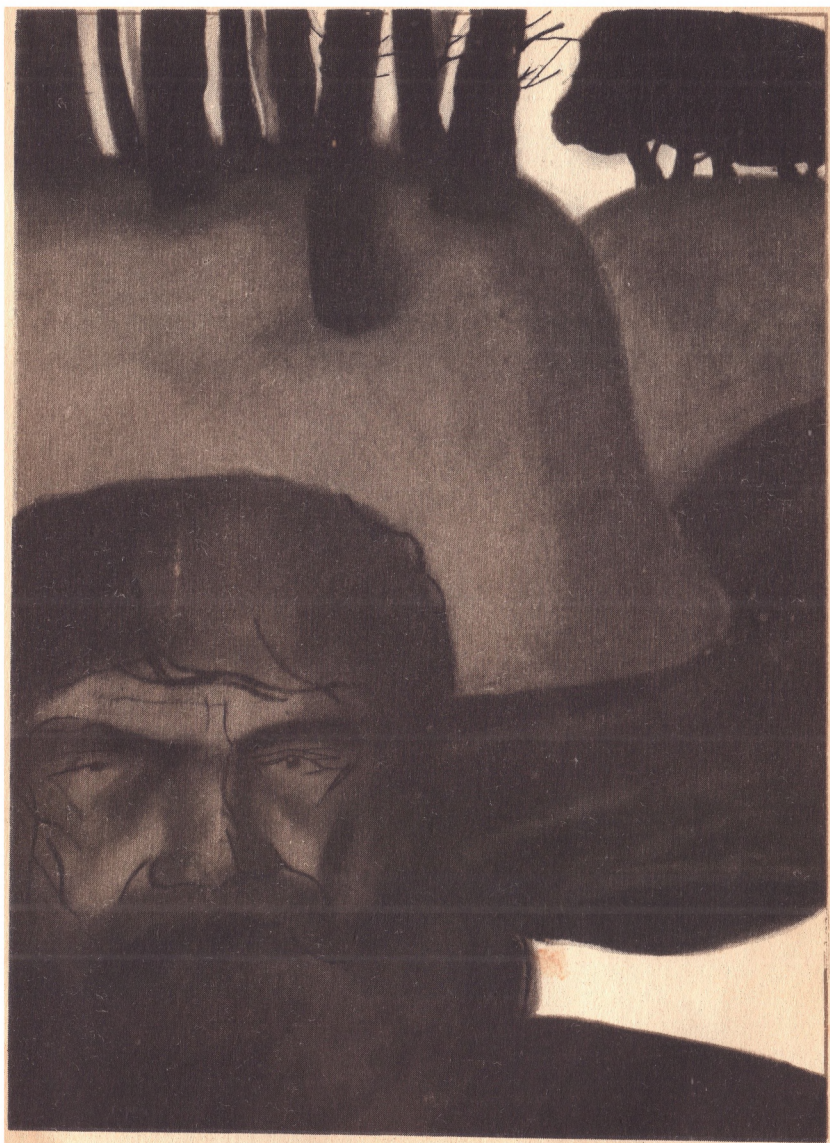
— Жили-то? — заговорил Михаил Аверьянович, как бы очнувшись. — Да как тебе сказать? Всяко было, бога гневить нечего. И из нашей трубы дым шел. Кто варит щи со свиной, кто — с одной святой молитвой, а дым одинаков. Одного цвету, одному очи промывает, другому выедаёт...

— Трудно, стало быть, жили.

— Трудно, Петро, ой, трудно! — подтвердил отец, и это было его единственное признание. И, как бы удивившись, заговорил весело, с нарочитой беззаботностью: — Потом-то полегче стало. Я в саду с бабушкой твоей копаюсь. Микола, Пиада и Дарьюшка в поле, на гумне. И Павло стал трошки подсоблять. Правда, избаловал я его очень, да ничего, пройдет с ним это... А Ванюшка твой прямо на поле, под телегой, и народился. У Березовского пруда. Пиада приняла ребенка. Ей это в привычку. Всех вас в саду на свет-то, как птенчиков, вывела. Вот так и живем. Ну, пожалуй, и за работу пора. Полдень. Заболтались мы с тобой. Ты почистил бы терн-то. Разросся, окаянный, никакого с ним сладу. Бабы половину ягод оставили, поободрались в крову. У Дарьюшки до сих пор заноза в пятке торчит, никак ее оттуда не вытащишь. Молодец она у тебя — огонь в работе. С ней легко. Зыбку вот ей надо смастерить для Ванюшки. От грудей не оторвешь, шельмеца...

Петр Михайлович взял небольшой, остро отточенный топор и пошел к терновнику. Сквозь голые, обнажившиеся ветки увидел сорочье гнездо — на том самом месте, где оно было всегда. Что-то сладко ворохнулось в груди, потеплело в глазах. Сколько же сорочиных поколений вывелось в этом старом гнезде, сколько шумных, крикливых свадеб сыграно в колючем терновнике, ревностно охранявшем немудрый сорочий уклад от вмешательства огромного числа недругов! Глупые стрекотуньи, знают ли они, чьими руками создан для них этот мир? Верно, нет, не знают, не ведают, потому что они всего-навсего птицы, а птицам и не полагается знать того, что должен знать человек...

Петр усмехнулся этой странной, неожиданно при-









шедшей в голову мысли и не спеша затюкал по старым, отжившим свой век кустам. Позже он подошел к крыжовнику и там увидел гнездо.

«Все как прежде, — с радостным удивлением подумал он. — Кто же тут теперь поет песни? Должно быть, какой-то правнук или даже праправнук того, первого, певуна. Долог ли соловьиный век! А батька наш молод, у него вон ни единого седого волоса ни в бороде, ни на висках. Яблони малость постарели, но на смену им растут новые, вон как тянутся, догоняют! Спилит отец старый сучок, а рядом заместо высохшего три-четыре новых вырастают. И плоды все те же. Только следить надо, чтобы не одичали».

Врачующая, животворящая сила сада укутала, запеленала во что-то мягкое и теплое больное, потревоженное сердце солдата. Петр присел на остывшую, холодную землю рядом с уснувшим на зиму муравейником, закурил, блаженно выпустил через ноздри щекочущие колечки дыма и, следя, как они, поднимаясь все выше и выше, увеличиваются в размере и, расплываясь, постепенно исчезают, растворяются в мутно-синем воздухе, негромко, вполголоса запел:

Папироска, друг мой ми-и-лай,
Как мне тебя не ку-ри-и-ить?
Я ку-у-ую,
А сердце бьется,
А дым взвива-и-ца кольцом.

Собственный голос убаюкал его, укачал в тихих волнах. Петр задремал. Синицы, снедаемые любопытством, перепрыгивая с ветки на ветку, приблизились к человеку и зачулюкали, заговорили о чем-то громко, часто, озабоченно и непонятно.

Однако Петра разбудили не синицы. За Игрицей, у Вишневого омута, раскатисто грохнул винтовочный выстрел, одновременно с выстрелом звонко щелкнуло о ствол яблони, и красноватая щепка взвилась с тягучим жужжанием, покружилась в воздухе и упала к ногам Михайла Аверьяновича. В соседнем саду, у Рыжовых, раздался короткий девичий вскрик.

С минуту стояла тишина. Все чего-то ждало в немом оцепенении. И потому Харламовы не очень удивились, когда на тропу из-под кустов калины и вишен

выскочил человек. Он тяжело бежал, спотыкался, падал, вновь вставал и на ходу хрипло, измученно просил:

— Аверьяныч!.. Укрой... спрячь... Убьют, подлецы...

— Дядя Федя, дядя! — бросился наперерез Пашка. — Иди сюда! Скорей, скорей! Я тебя спрячу — никто не отыщет! — Красный от возбуждения, с горящими глазами, мальчишка тащил Орланина в малинник, где давно и тайно от братьев вырыл землянку, в которой свято хоронил все свое немалое ребятишье богатство: козны, чугунку, пугач, купленный отцом в Баланде на прошлой осенней ярмарке за четвертак, самодельную шашку, две рогатки, кнут с волосяным хвостиком, подаренный старым и добрым пастухом Вавилычем, и еще многое-многое другое.

Федор Гаврилович с помощью Пашки втиснулся в узкое отверстие, молча протянул оттуда черную волосатую руку, сильно пожал Пашкину коленку.

— Спасибо, парень. Теперь закопай-ка меня чем-нибудь.

Пашка вмиг забросал землянку сухими ветвями малины, для большей маскировки несколько кустов воткнул сверху — мол, растут! — и, страшно довольный собою, побежал к шалашу. Туда же направлялись от Игрицы двое вооруженных винтовками — Андрей Савкин и урядник Пивкин.

— Где он, показывай! — встав в двери и закрывая собою свет, спросил Савкин. Ноздри у него раздувались, как у долго скакавшей лошади, из них разымчиво, в такт колыхающейся груди вылетал пар. Борода спуталась и висла мокрыми темными клочками. Толстый Пивкин стоял поодаль и тоже тяжело, шумно дышал: — Где Орланин? Я тебя спрашиваю!

— Ты, Гурьяныч, на меня не кричи. Не то как бы опять... Я ведь твоей штуки-то не боюсь. Ишь ты, выставлял ружье-то! — Михаил Аверьянович медленно поднялся с кровати и встал против Савкина. — Упустили, так пеняйте на себя. Выходит, плохие из вас царевы слуги. А я ничего не бачил. Понял?

— Тять, я видал! — подскочил Пашка.

Отец вздрогнул, что-то оборвалось у него внутри. Но сын продолжал:

— Только не знаю, кто это, мимо нашего сада пря-

мо в Салтыковский лес — шашь. Вон под тот паклёник нырнул. Гляньте, во-о-он под тот!

В голосе его и во всей порывистой фигуре было столько искренности, что преследователи поверили. Для очистки совести заглянули под кровать, в терновник, покурили там с порт-артурским героем и благополучно удалились. У реки плеснуло веслами, и скоро, уже на том берегу, послышались голоса, гулко и во множестве повторенные над Вишневым омутом услужливым эхом:

— Не пымали, ваше благородие. Промахнулись. В лес убег. Да вы не беспокойтесь, мы все одно изловим. От нас не спрячется...

Михаил Аверьянович отер с лица пот, обильно выступивший уже после того, как Савкин и Пивкин ушли, строго глянул на младшего сына и очень убедительно, памятно пообещал:

— А ты, Павло, не лез бы в такие дела, слышь? Засеку до смерти, сукиного сына!

«Сукин сын» было у Михаила Аверьяновича самое грозное ругательство.

— Человек не исполнил присяги и за это должен держать ответ.

— Перед кем? — спросил подошедший Петр, недобро глянув в отцовы глаза.

Михаил Аверьянович сердито засопел:

— Перед богом и перед царем — вот перед кем.

— А чего же ты не показал землянку? Может, покликать Пивкина? Недалеко, чай, ушли...

Отец не ответил. Прикрикнул только:

— Идите работать. А ты, Павло, покажи мне своего арестанта.

В малиннике, у землянки, долго и тихо говорили о чем-то. До братьев долетели лишь последние слова.

— Спасибо, Аверьяныч, век не забуду, — говорил Орланин. — Уж ты не ругай меня, такой уродился... непутевый.

— Оставайся. Нас это не касается, — говорил отец.

Потом Федор Гаврилович подошел к братьям. Те с удивлением разглядывали его.

— Чтс, не узнаете, хохлята? — спросил он, и смуглое, почти черное лицо его осветилось хорошей улыбкой.

— Узнали, дядя Федя, — сказал за всех Пашка. — Но ты не такой какой-то стал.

— Все приметил, глазастый! Примечай, Павлуха, примечай. Сгодится... — И вернулся к себе в землянку, оставив Харламовых в состоянии крайнего удивления и озабоченности.

Михаил Аверьянович стоял возле кубышки — по щепке, упавшей возле его ног, он тогда еще понял, что пуля попала в его любимицу. В одном метре от земли, в том месте, откуда яблоня начинала разбрасывать во все стороны мощные свои побеги, зияла глубокая рана. Из нее струился и не шибко сбегал по коре хрустальной прозрачности красноватый сок. На лице Михаила Аверьяновича явилась невыразимой силы боль. Такое вот бывает с человеком, когда он видит покалеченное малое дитя, которому очень больно, но дитя не понимает, за что же, зачем ему сделали больно, — плачет, и все.

— Супостаты, — прошептал Михаил Аверьянович сиплым голосом. — Что они с тобой сделали? Очень больно?.. Ну, мы сейчас, сейчас полечим тебя, кубышка, не плачь... — Он снял с пояса садовый нож и начал осторожно, как хирург, очищать рану от осколков древесины. Затем велел Пашке принести ведро воды из Игрицы. Замешал глину, замазал углубление, а поверх ствола туго обтянул куском крапивного мешка. — Ну, как теперь? Полегче маленько? Хорошо. Весной зарубцуется.

— У нее зарубцуется, — обронил за спиною отца Петр и будто кипятком плескнул на эту широкую согбенную спину.

Михаил Аверьянович выпрямился, глянул на «старшого», тяжело выдохнул:

— Ироды!

И сам не мог понять в ту минуту, к кому обратил великий гнев свой — к тем ли, кто поранил яблоньку, или к тем, кто сделал инвалидом сына.

— Тять, ты того... отдохнул бы, а? — Петру захотелось сказать отцу что-нибудь доброе, хорошее, а слов не было, и во рту уже пересохло. Он отвернулся, заспешил в терновник и начал бросать в рот кисло-сладкие,

покинутые в зиму ягоды. Терпкие, они вызывали обильную слюну. Петр Михайлович жадно пил эту бражную слюну и, хмелея, остывал. Какие-то невидимые пружины, взявшие было сердце в железные тиски, ослабевали, отпускали понемногу, в груди становилось просторнее, дышалось вольготней, на лбу высыхал пот.

Рядом затрещал плетень. Кто-то спрыгнул на землю, а через минуту высоко над терновником поплыла гордо и беспечно поднятая чернокудрая красивая голова Ваньки Полетаева, единственного сына Митрия Резака, соседа Харламовых.

— Здорово, шабер! — приветствовал он Петра, озорно сверкнув карими глазами. За его спиной, за плетнем, мелькнул белым крылом платок, на мгновение показалось и спряталось румяное девичье лицо, будто там, в саду Рыжовых, кто-то, дразня, поднял и тут же опустил букет алых роз.

— Здорово, Иван! Погуливаешь? — И Петр, подмигнув, кивнул в сторону плетня. — У Фроси, что ли, у Вишенки был?

— У нее, — признался Иван и хотел было еще что-то сказать, но промолчал: к ним от шалаша торопился Николай.

Из-за леса серой тенью неслышно подкралась туча и сразу же закропила, точно просеивая сквозь сито, мелким дождиком — холодным, липким, привязчивым, как судьба. Сад вмиг поскучнел, зароптал, опутанный серою пряжей почти невидимых дождевых струй. Синицы примолкли. Нагие ветви почернели, зябко встряхивались, с них закапали на землю мутненькие, старушечьи слезинки. Две такие капли висели на острых кончиках Петровых усов, он их не смахивал, внезапно пораженный вязкой, свинцовой усталостью. Николай сидел на мокром пеньке злой, нахохлившийся. Пряди огненно-рыжих волос прилипли к наморщенному, сердитому лбу.

В саду Рыжовых звонко и часто зашлепали башмаки.

Вечерело. Стало совсем уныло.

— Пошли домой. Поздно уж, — сказал Николай и первым поднялся с пенька.

Илья Спиридонович Рыжов, маленький, тощий мужик, славившийся в Савкином Затоне больше скупостью, нежели какими-либо иными качествами, совершенно неожиданно для селян первым последовал примеру Михаила Аверьяновича Харламова. Купил за полцены у спившегося вконец барина клочок лесных угодий и по соседству с харламовским садом заложил свой. Вслед за Ильей Спиридоновичем Рыжовым таким же образом поступил Митрий Резак, за Митрием Резаком — Подифор Кондратьевич Коротков. Не захотел отставать от соседа и Карпушка: поднатужился и прикупил немного леса, выкорчевал его с помощью Харламовых и воткнул для развода две яблоньки. Скоро, однако, яблони эти потонули в высоченной крапиве, были заглушены ею и влачили жалчайшее существование. Осенью крапива высыхала, весной, в разлив, на нее наносило толстый слой ила, где видимо-невидимо разводилось всякой ползучей твари: ужей, ящериц и даже змей. Тем не менее Карпушка очень гордился и дорожил своим садом. Когда его спрашивали вечерней порой, куда направляется, Карпушка со степенной важностью отвечал: «Сад бегу проведать. Мальчишки, нечистый бы их побрал, доняли!»

Насчет мальчишек Карпушка, конечно, малость преувеличивал: делать им в его саду было решительно ничего, к тому ж они очень боялись змей. Карпушкин сад имел для его владельца скорее символическое значение. Что же касается яблок, то их было предостаточно в соседних садах. Карпушка имел все возможности вкушать плоды харламовского, рыжовского, Подифорова и полетаевского садов. Через плетень к нему свешивались кусты Подифора Кондратьевича и Ильи Спиридоновича. При сильном ветре много самых спелых яблок падало на Карпушкину сторону, становясь таким образом его собственностью, — тут уж бывшая супруга Карпушки, особенно ревностно следившая за садом Подифора Кондратьевича, ничего не могла поделать: Карпушка имел все законные права собирать любые яблоки на территории «своего сада» и уносить их в шалаш. Шалаш этот, размеров преогромных, откровенно не соответствующих охраняемому объекту, был воздвигнут

возле одной яблони, которую уже успело расщепить молнией, все время почти пустовал, так как хозяину его вовсе было не до сада: он весь был поглощен заботой о хлебе насущном и — один, яко наг, яко благ, — с величайшим трудом сводил концы с концами.

Как бы, однако, ни было, а Карпушка в числе прочих, весьма почтенных, односельчан числился владельцем сада, и одно уже это ставило его как бы в особое положение среди затонцев.

Теперь против омута не стоял темной, пугающей стеною лес, и затонские девчата все чаще появлялись на плотине, купались в Игрице, плескались, озорничали. Воскресными днями с утра до позднего вечера звенели их голоса, и звончее, пожалуй, задорнее всех — голос Фроси Вишенки, прозванной так за нежно-румяный цвет лица, за влажный живой блеск глаз и за то, что была она вся кругленькая, чистенькая и вечно смеющаяся.

— Чисто спела вишенка, — обронил однажды старший зять Рыжовых, церковный сторож, глуховатый Иван Мороз, придя к тестю поутру и завидя младшую дочь Ильи Спиридоновича.

Фрося только что умылась у рукомоиника, но не успела утереться — в длинных черных ресницах ее дрожали синие капли; прозрачные капельки катились и по круглым щекам, висели на смуглом овале подбородка, на мочках маленьких, насквозь просвечивающих розовых ушей, сверкали и в колечках темных волос на висках и шее. И вся она дышала утренней свежестью и блестела, как спелая ягода вишня, умытая росой или коротким ночным дождиком.

С того часу и стали все звать Фросю Вишенкой: и мать с отцом, и сестры, и подруги, и парни. Вишенка да Вишенка. Собственное имя ее постепенно забылось и произносилось разве только в церкви отцом Василием, когда в его руки среди множества прочих попадал и семейный поминальник Рыжовых и когда священник, торопясь и спотыкаясь языком о трудные имена, сердито выкрикивал меж других и ее имя. Фрося, стоя посреди храма со свечкою в руках, не успевала даже подумать, что это ее помянул батюшка «во здравие», что это она «раба божья Евпроксинья».

Фросе минул семнадцатый. Она последняя дочь у отца с матерью, сестры ее все выданы замуж. И Фросю баловали. Мать, по натуре тихая и робкая женщина, как-то все же ухитрялась одолевать лютую скупость Ильи Спиридоновича и наряжать «младшенькую», «синеокую красавицу» свою на зависть подругам в самые лучшие наряды. Старалась, конечно, играть на самом больном и потому самом уязвимом — на самолюбии мужа.

— Ильюша, а ты, родимай, глянь-ка на нее, голубоньку. Да краше нашей Вишенки и не сыщешь во всем белом свете! Это и будет она ходить в лохмотьях? Стыду-то!

Илья Спиридонович, видя, к чему она клонит, пыхтел, сморкался, натужно кашлял, всячески показывая, до чего ж не мила ему новая затея сердобольной Авдотьюшки.

— Стыд не дым, глаза не ест! — отвечал он коротко, зло и, по обыкновению своему, пословицей.

Но Авдотья Тихоновна делала вид, что не примечает мужниного гнева. Певуче, кругло и очень складно продолжала:

— А что люди-то баить будут, батюшки мои родные! Вот, скажут, живет на белом свете Илья Спиридонович Рыжов. Человек как человек, и дом у него пригож, и добришко какое-никакое имеется, и сад развел всем на диво, не хуже харламовского, и яблочишками стал промышлять, а одна-единешенька дочь у него, красавица-раскрасавица, одета плоше всех.

Илья Спиридонович громко и многозначительно кричал.

Авдотья Тихоновна, слышав такое, замолкала и тревожно взглядывала на мужа: «Господи боже мой, неужто опять?»

Кряканье Ильи Спиридоновича предвещало всегда одно и то же, и очень недоброе. Авдотья Тихоновна отлично знала про то и потому настораживалась. Но пока что он крякнул один раз, подал, таким образом, первый, предупреждающий сигнал. До второго, предпоследнего, еще далеко, и она полагала, что успеет допеть свою привычную песнь до конца. Вот только бы не пропустить второго сигнала — тут уж надобно скоренько умолкнуть и переводить речь на иной лад. Третье

кряканье Ильи Спиридоновича будет последним и грозным, как окончательный судебный приговор. Пока же опасность далеко, и Авдотья Тихоновна спокойно, скалочным, певучим строем вела свою линию:

— Да и замуж ей пора. Подвенечное платье припасти, опять же постель побогаче, чтоб не стыдно, не зазорно по улице-то пронести было. Мы с тобой старики, много ль нам надо?

— Старики! — фыркал Илья Спиридонович и выходил в горницу. Закрывал за собой дверь, но так, чтоб все же слышать, о чем там толкует «безмозглое существо».

Авдотья Тихоновна молчала ровно одну минуту, потом пускала полным ходом колесо прялки и под его музыку, в назойливый, комариный ритм тянула:

— Старики, говорю, мы с тобой. Нам и жить-то, моча, год-два осталось. Вона твой дружок-приятель, Подиффор-то Кондратов, пожадничал и погубил дочь...

Илью Спиридоновича бросало в жар — такое бывает, когда над твоим ухом все время жужжит комар: он и не жалит, но до того тошно и отвратно слушать его привязчивую музыку.

Не выдержав, крякал во второй раз.

Случалось, что Авдотья Тихоновна за шумом прялки пропускала этот грозный знак или уже расходилась до того, что теряла разум и не могла остановиться.

— Отец, прозывается! — кричала она, проявляя несвойственную ей храбрость. — Дочь разута-раздета, а ему хоть бы что! Эх, разнесчастная, и зачем ты только на свет народилась, кровинушка моя...

Илья Спиридонович крякал в третий и последний раз. После этого он подходил к печке. Видя такое, Авдотья Тихоновна бледнела, осеняла себя крестным знамением.

— Молчу, молчу, Ильюша! — испуганной сорочьей скороговоркой твердила она, становясь впереди него и загораживая ему путь. — Господь с тобой! Что же это я наделала, дура старая! Прости меня, Илья Спиридоныч, окаянный меня попутал, грех!.. Да лучше, наряднее нашей никто на селе и не ходит — не одевается, не обувается!..

Но было уже поздно.

— Нишкин! Допелась, ведьма! — стрельнув в нее короткими и злыми этими словами и отшвырнув от се-

бя, Илья Спиридонович не спеша лез на печь. Это была та самая роковая черта, за которую он переходил, ежели Авдотья Тихоновна накаляла его гнев до крайней точки.

— Караул! — кричала она истощным голосом. — Люди добрые, помогите, остановите его, на печь полез! Караул!

Прибегали соседи, пытались увещевать, стыдить. Печь молчала.

Теперь она будет молчать и день, и два, и три, пока не минет срок объявленной хозяйном домашней голодовки. По прежним опытам Авдотья Тихоновна да и соседи знали, что ежели уж Илья Спиридонович, прогнавшись, забирался на печь, то не отыщется на всем свете такая сила, которая могла бы снять его оттуда. Это означало, что три дня и три ночи он не покажет признаков жизни и Авдотье Тихоновне не останется ничего иного, как только глядеть на его толстые черные пятки да самой рубить дрова, убирать скотину, делать все мужские дела, а в последний день голодовки мужа всю ночь до утра печь для него блины; пробудившись от странной своей летаргии, он съедал их несть числа. Пробуждение сопровождалось тем же знаком — кряканьем, к нему лишь прибавлялось почесывание ноги об ногу — первый признак возвращения к жизни. Чесаться Илья Спиридонович начинал еще раньше, задолго до подъема. Приметив это и прошептав молитву, Авдотья Тихоновна торопливо замешивала полную квашню блинов.

— Господи, слава те... никак, мой-то встает! Люди вон уже в поле выехали, пахать начали, сеять, земля высыхает, а он дрыхнет!..

Бывало, что Илья Спиридонович погружался в свою необычайную спячку и летом, когда было особенно жарко и душно на печи. Авдотья Тихоновна, стараясь выжить, изгнать его оттуда, топила печь с особым усердием. Но и тогда не покидал он своего лежбища раньше срока; лежал неподвижно, как упокойник, не шевелился; мух отгонял, отпугивал по-лошадиному — энергичным встряхиванием кожи; он даже с этой целью научился вспрядывать своими большими, оттопыренными ушами.

Воспрянув ото сна и подняв облако рыжей кирпичной

пыли, Илья Спиридонович долго фыркал у рукомойки над лоханью, тщательно утирался, молился и, покачиваясь, расслабленной осторожной походкой направлялся к столу, где в аршин высотой подымалась и курилась, точно Везувий, стопа блинов. Рядом, похожее на белое озерцо, стояло огромное блюдо с кислым молоком, а также тарелка с головкой свежего, только что спехтанного коровьего масла. Не слышно отворялась дверь, появлялся зять Иван Мороз, точно знавший день и час пробуждения теста и также питавший великое пристрастие к блинам. Переступив порог, он прежде всего высмаркивался, бесцеремонно очищая большой свой красный нос прямо на пол, подходил к столу и спрашивал всегда одно и то же:

— Живой?

— Жив будешь — хрен помрешь. Садись! — резко, с хрипотцой, точно горло у него засорилось кирпичной пылью, непохожим голосом отвечал тесть, сердито отодвигаясь, уступая место рядом с собою.

Авдотья Тихоновна, вздохнув, увеличивала стопу еще на пол-аршина.

Ели молча — это когда у печи суежилась хозяйка или в горнице находилась Фрося. Когда же тещи и свояченицы не было, Мороз подымал правую бровь, хитро взглядывал на тестя и говорил сострадательно:

— Ну и женушку нажил ты себе, отец! И где ты только раздобыл этот вечный кусок? Ничего не берет — готова все раздать чужим людям. Ну и ну! Хозяйка!

— Век живу — век мучаюсь! — кричал Илья Спиридонович, сразу же подобрев к зятю и вытаскивая из-под пола бутылку самогона или водки, на что, собственно, Мороз и рассчитывал, возводя хулу на тещу: иным каким-либо способом, как бы ни был он искусен, у Ильи Спиридоновича не то что водки, но и запечного жителя — таракана не выпросишь. Способ этот, изобретенный Иваном Морозом, был хорош и в разговоре с тещей, когда она оказывалась дома в единственном числе. Зыркнув по углам и установив таким образом отсутствие хозяина и его дочери, Мороз с притворным сочувствием начинал:

— А где жмот-то твой? Ну и скопидом, чистый Савкин Гурьян! И как ты только, мать, с ним живешь? Другая, мотри, одного бы дня не прожила...

— Ох, и не говори, Иван! — спохватывалась Авдотья Тихоновна. — Чем старее делается, тем скупее. Житья не дает. Как зачнет скоблить злым своим языком, моченьки моей нету! На замок от меня все запирает. И водку небось припрятал... Нет, слава богу, вот она, на месте. Забыл, поди. На-кось выпей маленько, зятюшка!

Зятюшка, состряпав на плутовском лице своем смиренное благолепие, почти ангельскую невинность, в два приема опустошал поставленную перед ним бутылку. Уходя, обыкновенно советовал:

— Вишенка еще гожей стала. Поглядывай за ней, мать. Примечаю я, увиваются возле нее двое: Мишки Хохла средний сын Колька да Ванька Полетаев. Этого недавно я за церковной оградой, у сиреневого куста, с Вишенкой-то видал. Да и в сад больно зачатила. А все почему? А потому, что рядом с вашим Митрий Резак свой посадил. Сынок его, Ванька, так там и торчит. Слышь, мать? Вот я и говорю: гляди, принесет в подоле...

— Типун тебе на язык, бесстыдник! Нализался и болтаешь пустое. Собрался, наелся, напился — и иди с богом! Звонить вон к вечерне уж пора. Иди, иди, родимый! — И потихоньку выталкивала его, тепленького, за порог.

После трехдневной спячки Илья Спиридонович смягчался. Наевшись блинов и наикавшись вволю, он сам выспрашивал у Авдотьи, что бы такое прикупить для дочери, и, добросовестно, как ученик, повторив все вслед за нею — «для памяти», шел во двор запрягать лошадей. Вечером шумно подъезжал к дому и, хмельной, веселый, кричал:

— Авдотья, туды тебя растуды! Почему не встречаешь? Прямо к Ужиному мосту должна была притить, а ты сидишь! Наряжай Вишенку, как царевну! — и заключал пословицей, им же самим и придуманной: — Бедно живем — на весь свет орем!

Авдотья Тихоновна молча забирала в телеге покупки и уносила в избу, не проявив особой радости: в мужниной пословице ей уж чудились нотки осуждения столь безумной расточительности. А пройдет день-другой, доброты и вовсе иссякнет в не очень-то просторном сердце Ильи Спиридоновича, и он будет пилить ее часами, точить, как ржа железо, за то, что совратила на неслыханные расходы.

Дочь между тем наряжалась. Особенно шел Фросе красный сарафан, купленный отцом в Саратове во время последнего, зимнего хождения с извозом. В нем она была такой, что у встречного сами собой вспархивали с расцветших в доброй улыбке губ по-хорошему завидчивые слова:

— До чего румяна, статна и пригожа!

Фрося вспыхивала вся от этих слов, будто внутри ее вдруг зажегся фонарик, и бежала поскорее от сказавшего их, хотя готова была слушать сладкие эти речи и в десятый, и в сотый, и в тысячный раз. Она и так слышала их довольно часто и всегда, волнуясь, охваченная пламенем, думала про себя: «Боже милостивый, как же хорошо родиться на свет красивой!»

18

Воскресными днями Михаил Аверьянович уходил из сада — с утра был в церкви, потом занимался дома по хозяйству: чинил ворота, поправлял плетни, мастерил грабли, трехзубые деревянные вилы, налаживал рыдванку, крюки; пообедав, ехал на гумно, расчищал там от травы ток, покрывал прохудившийся конек риги — готовил все к молотье. И только с темнотой, когда встретит корову, овец, съездит в лес и накосит для лошадей свежего пырея на ночь, возвращался к себе в сад.

Раньше все это время сад оставался без присмотра, и смекалистые, предприимчивые затонские ребятишки быстро оценили для себя выгодную сторону такого обстоятельства: предводительствуемые отважными вождями, всюду расставив караулы, они целыми полчищами вторгались в знаменитый харламовский сад. Больше всех от их разбойных набегов страдали нежная медовка и кубышка с их ослепительно-сочными и ароматными плодами. Михаилу Аверьяновичу очень скоро пришлось изменить свой порядок — теперь, уходя, он на весь день оставлял за себя сына Николая, наиболее надежного для такого поручения. Павла посылать не решался, потому как тот сам с отрядом своих приятелей мог набедокурить больше, чем кто бы то ни было. Петра не пошлешь — опять пристрастился к зелью и ждет воскресенья как манны небесной: где-нибудь да затеется гулянье, и как же там без Петра? Кто быстрее и искуснее

его может пополнить истощившиеся водочные запасы?

— Послухай, Петро, — часто говорил сыну Михаил Аверьянович, говорил тихо, лишь чуть темнея лицом. — Бросил бы ты все это. Пропадешь. Отец тебе говорит.

— Что отец? Я сам отец! — горячился Петр и начинал смешно стричь двумя своими пальцами воздух. — Что мне еще остается делать вот с этою-то клешней? Что? Жену поколотить и то не могу.

— Колотить не ее, а тебя надо.

— Поколотили, хватит с меня.

— Злой ты, Петро. Нехорошо.

За Петра вступалась Пиада, еще чаще — бабушка, Настасья Хохлушка.

— Оставь его в покое, Михайла, — говорила она сыну. — Покалечили мужика, у него и горить все у нутрях. Поди, поди, голубок, погуляй с добрыми людьми, оно и полегчает. Ты, Дарьюшка, не гневайся на него. Отойдет, обмякнет малость сердцем-то, сам возьмет все в разум. А зараз не мешайте ему. Хай трохи остынет, охолонет...

На этом разговор с Петром и о нем кончался. В сад шел средний сын, Николай, довольный таким поручением до крайности. По пути он успевал навестить товарищей и предупредить, что будет ждать их.

Сразу же после обедни в харламовском саду собиралась молодежь. Приходили Ванька Полетаев, Максим Звонов, первый гармонист на селе, с молодой своей женой Оринкой, сестрой Фроси, песенник и весельчак Мишка Песков, голубоглазый богатырь Федотка Ефремов, шестнадцатилетний крепыш и задира, любитель кулачных боев Васька Маслов. Немного погодя появлялась стайка девчат: нарядная Фрося, лучшая ее подружка — насмешница Аннушка, сестра Ивана Полетаева, «страсть как влюбленная» в Мишку Пескова; грустная красавица Наташа Пытина из Панциревки, тайно и, кажется, безответно влюбленная в Николая Харламова. Чем мог приглянуться ей этот рыженький, злой, невзрачный хлопчик, неизвестно.

С приходом девчат в саду тотчас же становилось светлее и праздничнее, будто небо приклонялось ниже с ясным солнышком. Николай, взяв длинную рогульку —

отец его никогда не тряс яблони, а осторожно снимал плоды специально приспособленной жердиной, — начал срывать для девчат самые спелые и вкусные яблоки, с каждого дерева по несколько штук. Яблоко падало на землю, девчата вспархивали, как пестрые куры, с криком налетали на него, щипля и отталкивая друг дружку. Счастливица, овладевшая яблоком, немедленно отправляла его в свой алый, влажный и алчуще раскрытый рот, надкусывала торопливо — из рта ее, с кипенно белых зубов летели брызги, белый сок, как пена, пузырился на щеках и даже на кончике носа; подруги набрасывались на нее, валили наземь и, щекоча под мышками, ловко вырывали надкусанное яблоко. Теперь уже другая тащила его в свой белозубый рот, раскрыв, как цветок на зорьке, розовые, нежные губы, но и ей мешали, и опять визг, счастливые слезы на горящих глазах. Подымались парни, устраивали над упавшим яблоком кучу малу. Захвативший яблоко спешил передать его своей возлюбленной, а та, светясь вся, сияя от счастья, смачно хрустела, окропляя терзающих ее озорных подружек пахучими брызгами яблочного сока. Затем начинали играть. Сначала в карты, в «козла». Потом в «третий лишний», в горелки. А чуть смеркнется, когда в саду сгустятся тени и удод сердито возвестит свое «худо тут», Фрося, ждущая этого часа с испуганно-радостным трепетом в груди, громко захлопает в ладоши, подпрыгнет раза три кряду, закричит:

— Девчата! Наташа! Аннушка! Ориша! Давайте в прятки!

Фрося прячется все время в одном и том же месте — в неглубокой канавке за медовкой. Укрывшись там, она с бьющимся, готовым выпрыгнуть из груди сердцем, со сладкой болью под ложечкой ждет: вот сейчас зашуршит рядом, и он неловко свалится в канаву и, горячий, желанный, обнимет ее и спросит: «Ждала?» — «Угу», — приглушенно ответит она и доверчиво потянется к нему холодными робкими губами. Над ними низко свисают яблони. Иван протянет руку, сорвет одно, сунет в рот девушке, та подымет подбородок поближе к его лицу, хитро подмигнет ему, и, соединив губы, они будут откусывать от одного яблока одновременно: сок потечет по губам, наполнит рот, и, захлебываясь им, как счастьем, они тихо засмеются: Фрося будет играть его мя-

кими кудрями, влажно спадающими на лоб, на блестящие в темноте глаза; притянув его большую круглую голову, опять поцелует, затем, спохватившись, испуганно скажет: «Иди, увидят!» Он убежит...

Однажды хороводились в саду до поздней ночи. Удод уже трижды предупредил, что «худо тут», что пора, мол, отправляться по домам, коростель скрипел надсадно и особенно сердито, всполошились невидимые пичуги — залепетали, загалдели, в лесу два раза кликушески прокричал филин, далеко, на Вонючей поляне, зазвонил перепел: «Спать пора, спать пора».

Сад устало исходил теплым влажным зноем смешанных запахов росных трав, малины, яблок и меда. Сверху на него кропили тихие звезды.

— Ну, хлопцы, пора! — возвестил молодой хозяин и вдруг с удивлением обнаружил, что компания их испарилась больше чем наполовину.

Первыми неслышно ускользнули Мишка Песков с Аннушкой. За ними Полетаев и Фрося — вот это уж было больше всего... Ушла молодая чета Звоновых, тоже втихую. Остались Федот Ефремов, Василий Маслов, робкая Наташа Пытина да он, Николай. Ничего не поделаешь, придется ему провожать Наталью до Панциревки, чего доброго, могут еще поколотить панциревские ребята.

— Федот, Васька! Пошли со мною — Наташу проводим! — попросил он и от досады оглушительно свистнул. Над головами опять вспорхнули угомонившиеся были птицы, суматошно покружили в темноте и пропали где-то. В лесу снова захохотал филин.

— Черт тебя раздрает! — погрозил в темноту Николай и направился к лодке, чтоб перевезти всех на ту сторону Игрицы, откуда до Панциревки рукой подать. Мимо Вишневого омута промчались бегом. Как ни храбрились хлопцы, но и они не выдержали — ноги сами несли их подальше от этого темного места. Вишневый омут по ночам был по-прежнему грозен и страшен для людей.

Иван Полетаев и Фрося возвращались в Савкин Затон дальней лесной дорогой. Шли не торопясь. Говорили мало, больше целовались, всякий раз останавливаясь.

— Марьяжный мой, — шептала Фрося, обливая лицо его светом больших, ясных, родниковых глаз. — Мой, мой! Ведь правда, Вань, мой ты... весь мой? Ну, скажи!

— А то чей же! Знамо, твой.

— Понеси меня маленько.

Он легко поднял ее на руки. Понес.

— Ну будя.

Он не слушался, нес, нес, нес...

— Будя же!

— Поцелуй!

— Ну... вот. Теперь хватит, пусти.

— Ищо поцелуй.

— Ну... вот тебе, вот, вот! — Она звонко чмокала его несколько раз кряду, спрашивала: — Хватит?

— Ищо!

Их спугнули чужие шаги. Кто-то шел навстречу. Да и не один, а двое. Фрося и Иван юркнули в кусты, затаились.

— Михаил Аверьянович, — угадал Иван, шепча. — А кто это с ним? Ба, да это ж Улька! Она и есть! Глянь!

Михаил Аверьянович и Улька прошли молча. Михаил Аверьянович держал свою спутницу за руку, как бы боясь, что она может убежать от него, шагал быстро, а Улька едва попевала за ним.

Фросе почему-то стало не по себе.

— Бежим, Вань! — сказала она, когда вышли на дорогу.

— А куда нам торопиться-то?

— Нет, бежим, бежим! — И, вырвавшись из рук его, она побежала первой. За Ужиным мостом остановилась, прижалась к его горячей, мокрой от пота рубашке, трудно дыша, призналась: — Боюсь я чего-то, Вань...

— Чего?

— Сама не знаю. А боюсь...

Шли по тихой улице. Он говорил ей что-то, Фрося не отвечала. Печальные и не ведающие, отчего печальные, молча и холодно расстались у ворот ее дома. И не виделись больше до самой осени: Фрося не выходила на улицу.

Николай Харламов не стал ждать, когда его женят, сам первый заговорил о женитьбе. Назвал и невесту — Фрося Рыжова. Михаил Аверьянович вспомнил румяную толстущечку — ее он часто видел в соседнем саду, — сказал:

— Хорошая дивчатко.

— Как цветок лазоревый, — добавила Пиада и сама расцвела в светлой улыбке.

— А показался ли ты ей? Любит ли? — вдруг спросил отец, и на лицо его тенью наплыло облако.

Откуда-то отозвалась бабушка Настасья Хохлушка:

— Любит не любит, а коли мать с отцом порешат, никуда не денется. Ее и не спросят!

— Так как же, Микола, а? Показался, что ли? — настойчиво переспросил Михаил Аверьянович, оставив замечание старухи без внимания.

— Не знаю, — сказал сын.

— Это плохо, — с тяжким вздохом протянул отец. — А ты прежде узнал бы, а потом уж... Ну, да ладно. Попытка не пытка. Ужо пойдем с крестным отцом твоим, с Карпушкой, посватаемся. Илья Спиридонович — мужик ничего, с головой. И характерец имеет.

— Баят, что скуп, — опять подала свой голос Пиада.

— Неразумная ты баба, — незлобиво глянул на нее муж и, не пояснив, что хотел сказать этими словами, продолжал: — Сейчас пойду к отцу Василию за благословением. А ты, Микола, беги-ка в сад. Припозднился что-то ныне. И вот что я тебе скажу: коли увидишь, не по сердцу ты ей, не по душе, отпусти с богом, не будет у вас жизни. Измучите друг друга, измочалите раньше времени, и, ох, как долог покажется вам век ваш! Попомни мои слова! — И, сурово нахмурившись, Михаил Аверьянович пошел в горницу.

Разговор этот происходил в воскресенье, после обедни, а пополудни Михаил Аверьянович отправился к священнику. Перед тем зашел в лавку и купил все, что полагалось в подарок: бутылку водки — для попа, для попады — красного вина, дорогих конфет и сахарных пряников. Сверх того еще дома прихватил корзину яблок — с лучших деревьев — медовки, кубышки, анисов-

ки и белого налива. Он принес их из сада на заре, и яблоки еще хранили аромат ночной прохлады — они были сизые от росы, словно бы вспотевшие, от них исходила тонкая вязь множества разных запахов. Запах этот вторгнулся в широкий нос отца Василия, крылья ноздрей дрогнули и поднялись, надулись парусом. Приняв подарки прежде, чем узнал, с какой нуждой пожаловал к нему старший Харламов, священник под конец спросил:

— Пошто пришел, сын мой?

Михаил Аверьянович сообщил.

Отец Василий оживился:

— Хорошее мирское дело задумали. И выбор невесты хорош. Часто доводилось зрить сию отроковицу в храме господнем. — Отец Василий кинул короткий скользкий взгляд на поджавшую губы, сердитую попадью и продолжал: — Набожна, скромна. Доброю будет женой мужа своего и хорошею матерью дети своя. Да благословит их бог!

После этого полагалось выпить по рюмке, но Михаил Аверьянович не мог пить даже при таких чрезвычайных обстоятельствах. Впрочем, отец Василий не был в большой обиде на него: великолепно выпил один, звонко закусив яблоком с кубышки.

Вечером, позвав с собою Карпушку, неслышанно обрадовавшегося этому событию, Михаил Аверьянович отправился к Рыжовым.

Илья Спиридонович суетливо ходил по избе и что-то бормотал себе под нос. Он уже знал, что скоро нагрянут сваты. Новость эту принесла ему Сорочиха, узнававшая раньше всех обо всем на свете в Савкином Затоне. На этот раз ей рассказала Настасья Хохлушка.

Авдотьи Тихоновны дома не было: «ускакала безумная баба» в Астрахань проведать дочь Варвару, которая оказалась так далеко от родительского дома по причине своего девичьего легкомыслия. Однажды в Савкином Затоне объявился, промышляя воблой, удалой астраханский рыбак, по имени Федор. В непостижимо малый срок он обольстил «старшую» Рыжовых, да так, что Илье Спиридоновичу, дабы избежать «страму», пришлось быстрехонько выдать ее замуж за неведомого Федора. Для ускорения дела Ильи Спиридонович пригласил урядника Пивкина, так как будущий

зять поначалу не изъявил горячего желания жениться. С той поры Илья Спиридонович возненавидел лютый, неукротимой ненавистью «всех «странных», ожидая от них какой-нибудь напасти. Известие, принесенное Сорочихой, повергло его в крайнее смятение: с одной стороны, Харламовы — определенно инородные, «откель-то аж из хохлов», и посему не могут быть чтимы им, Ильей Рыжовым; а с другой стороны, что, собственно, и приводило Илью Спиридоновича в замешательство, они, Харламовы, «кажись, люди порядочные, не драчуны, как, скажем, Митьки Резака сынок Ванька, опять же крепенько за землю ухватились, вклепились в нее, не отдерешь. И сад первеющий на селе», — вот тут и призадумался!

— Однако ж надо одеться. Вот-вот придут! — заговорил он вслух, шастая по избе. — Не любо, а смейся!.. Пушай приходят, шут с ними: заломлю такую кладку — глаза на лоб у них полезут! Выдюжат, не надорвутся — значит, быть тому, их Фроська. А коль кишка тонка — от ворот поворот. Так-то!

Пока было время, Илья Спиридонович старался во всех подробностях продумать кладку, которую он потребует за свою дочь. К приходу сватьев кладка была определена. И чтобы не пропустить чего, Илья Спиридонович вслух перечислял. При этом лицо его носило печать крайней озабоченности.

— Перво-наперво, конечно, ведро вина, водки, значит. Так? Не мало будет? Нет, довольно с них, надо ж и совесть знать. Мяса пудика полтора. Шубу овчинную для невесты, дубленая чтоб. Так? Деньжишек три красненьких, тридцать, значит, рублей. Так? Ищо чего? Как бы не забыть, господи ты боже ж мой!.. Ну, да ладно, вспомню потом — не на пожаре. Надо ищо позвать Сорочиху, пушай позвонит по селу о кладке. Можя, побогаче жених отыщется... А ежели Харламовы сами при деньгах, пушай они и будут сватьями, породнимся. Бают, жених больно уж плюгавенький, да что с того? Иной и красив, да гол как сокол. Красен рожей, да тонок кожей! Так-то вот!

Взвесив таким образом все, договорившись до конца с самим собою и успокоившись, Илья Спиридонович ожидал теперь сватов во всеоружии. Фросю, недоумевающую и встревоженную, еще раньше выпроводил к

зятю Ивану Морозу, проживавшему в хилой своей избенке на задах Рыжовых, и велел не приходить домой, пока не поκληчет.

Сваты явились часу в девятом. У порога долго и согласно молились. Михаил Аверьянович, гладко причесанный, в светло-серой поддевке, в блестящих, густо смазанных сапогах, странно напоминал луня. Рядом с ним маленький чернявый и тоже старательно причесанный Карпушка совсем уж походил на грача. От них пахло скромным маслом, свежим деготьком и яблоками.

Первым заговорил Карпушка:

— Прослышали мы, Илья Спиридонов, про то, что у тебя есть курочка-молодка, и пришли узнать-попытать, не продашь ли ты ее для нашего петушка?

— Проходите, гости дорогие. Присаживайтесь, — важно, но, как всегда, резко, отрывисто начал хозяин, указывая на лавку возле стола. — Есть курочка-молодка, да велика цена.

— Неужто не срядимся? — спросил Михаил Аверьянович, присаживаясь и неумело встряхивая на Карпушку бровью: молчи!

— Отчего ж не срядиться? Товар хорош. Какой же купец откажется?

— Це так.

— То-то же и оно!

— Что ж, Илья Спиридоныч, сказывай кладку-то твою.

Илья Спиридонович быстро, без единого роздыха назвал все.

Карпушка сокрушенно свистнул. Михаил Аверьянович больно прищемил ему под столом ногу, а хозяину сказал:

— Побойся бога, Илья Спиридонович! За тридцать-то карбованцев лошадь можно купить, а ты окромя еще рублей на сто пятьдесят всякого добра требуешь. Куда ж это годится?

— За принцессу небось и то меньше просят, — поддакнул Карпушка.

— Тогда идите в другой дом. Девочек ныне развелось много. Можя, какой дурак без кладки вовсе отдаст свою дочь.

— Послушай, Илья Спиридонович, нашу кладку,

что мы положим. Ведро вина, так и быть, даем! А мяса и полпуда хватит — откель оно у меня, мясо-то? Хозяйством не больно давно обзавелся, на яблонях мясо не растет.

— Растет! — сказал-выстрелил Илья Спиридонович.

Михаил Аверьянович понял его, чуть улыбнулся в белые усы и спокойно продолжал:

— Ну, шубу — куда ни шло — огореваю для любимой невесты, обувку тоже, а насчет деньжат, не обесудь, нет у меня грошей.

— Мне твои гроши и не надобны. Ты рубли клади. Ай опять не растут? — выкрикнул Илья Спиридонович, ехидно усмехнувшись. — А коли не растут, то незачем и дело затевать. Без вас отыщутся сваты. Моя дочь не засидится в девках, — прибавил он с тихой гордостью.

— То верно, — согласился и Михаил Аверьянович, вздохнув.

— Верно-то верно, — не удержавшись, встрял Карпушка. — Да больше-то Михаила кто положит? Можя, Митька Резак? Да он удушится за копейку. Покажи ему семишник и вели с кулугурской колокольни сигнуть — сигнет как миленький! Он вроде тебя, любит дармовщинку...

Последние слова были явно лишние. Карпушка уж и сам пожалел, что сказал такое, но пожалел с опозданием. Хозяин взвыл, точно бы на него кто варом-кипятком плесканул:

— А ты, голоштаный брехун, зачем приперся в мой дом? Тоже мне сват-брат! Голь разнесчастная! Вон шинка-то порвана, идешь по улице, колоколами-то своими звонишь. Срам! А туда ж, в мирские дела суется! Ни уха, ни рыла не смыслишь!

Карпушка потемнел, словно бы вдруг обуглился, сказал необычно серьезно:

— Стыдно, кум, человека бедностью попрекать. Ты ведь христианин. Эх! — и, задохнувшись, махнул рукой, замолчал.

Но старая обида на Карпушку всколыхнулась, соединилась с новой, и старик Рыжов озверел:

— Ты меня не учи. Ученого учить — только портить!

Когда-то Карпушка зло посмеялся над Рыжовым, о чем Илья Спиридонович не мог, конечно, забыть.

Отправившись однажды с пустым мешком в Варварину Гайку, чтоб разжиться мукой, шел Карпушка через Малые гумны. По дороге встретился с Ильей Спиридоновичем. Тот предложил:

— Давай-ка присядем на канаве, Карпушка, да покалякаем. Можя, соврешь что-либо. Без твоей брехни прямо как без курева, ей-богу. Соври, голубок, — смиренно попросил Илья Спиридонович.

Карпушка внутренне ухмыльнулся, пресерьезно сообщил:

— Неколи мне, кум, — он всех затонских мужиков именовал кумовьями, — тороплюсь.

— Что так?

— Прискакал давеча ко мне гаевский Равчеев Мишка, сказывал: пруд у них ушел — плотина прохудилась. Вода, стало быть, вся как есть вытекла, а рыба осталась. Ее, говорят, там видимо-невидимо! Кишит! Дай, думаю, побегу, мешочишко свеженьких карасиков наберу! Так уж ты, Илья Спиридонов, не обессудь — спешу. — И, подхватившись, Карпушка рысью помчался в направлении Варвариной Гайки.

Озадаченный Илья Спиридонович стоял на прежнем месте.

«Врет ведь, подлец! — мысленно рассуждал он. — А похоже на правду. Сам на днях был в Гайке, видал пруд энтот: плотинешка на ладан дышит...»

Распаленное воображение в один момент нарисовало перед очами Ильи Спиридоновича заманчивую картину: на дне бывшего пруда «серебром и золотом» отливают, трепещет осиянная солнцем рыба; караси размером в церковный поднос, с коим ктитор обходит верующих во время обедни и собирает медяки; длинные зубастые щуки, жирные лини. К пруду со всех концов деревни бегут люди, кто с чем; кто, как вот Карпушка, с мешком, кто с корзиной, кто с ведром, кто с мерой, а кто решето прихватил. Орут, дерутся из-за крупной рыбины...

«Брешет, мерзавец! — думает Илья Спиридонович, чувствуя, как руки его знобко дрожат, на горячем лбу выступает пот. — Язык без костей, наврет — попрут со всех волостей! Народ глупой!» — не поверил Карпушке Илья Спиридонович, ни капельки не поверил и все-таки, вернувшись домой и вскочив на лошадь, поскакал

в Варварину Гайку, жене сказал: в поле, посмотреть хлеба. «Шут его знает, а вдруг правда?» — подумал он в последнюю минуту.

На горе, далеко за кладбищем, обогнал Карпушку, тот крикнул вдогонку:

— Поторопись, кум, поторопись! И на мою долю прихвати, ужо щербу сварим!

Пруд, конечно, был целехонек. Посреди него, зайдя по брухо в воду, мирно стояли пригнанные на стойло коровы. По краям, зарывшись в грязь, блаженно хрюкали свиньи. На мостках звонко шлепали вальками бабы.

Пот хлынул рекою из-под старенького картуза Ильи Спиридоновича. Стыдливо пряча глаза от уставившихся на него женщин, он подъехал к пруду, дал меринку напиться и, смачно, три раза кряду прощептав, как молитву, ядреное ругательство, повернул обратно. Поравнявшись опять с Карпушкой, который уже приближался к Варвариной Гайке, молодецки перегнулся на одну сторону, точно казак во время рубки лозы, и с наслаждением потянул плетью насмешника вдоль спины.

— Вот тебе караси, пустомеля!

Ошпаренный Карпушка отскочил в сторону от дороги и, обливаясь слезами, обильно выступившими из глаз его и от боли и от смеха, кричал:

— За што ты, кум, меня? Сам же просил соврать!

В тот же день Савкин Затон и все соседние села и деревни узнали об очередной проделке затонского чудака. Илья же Спиридонович надолго сделался предметом злых, обидных шуток. Ребятишки, завидя его, бесстрашно приближались вплотную и, нахально заглядывая в лицо, горланили:

— В Гайке пруд ушел, дяденька, а рыба осталась!

Не удивительно после этого, что Илья Спиридонович питал к Карпушке далеко не самые лучшие чувства. Так что худшей кандидатуры на роль свата Михаил Аверьянович, ежели б и пожелал, все равно не смог бы отыскать во всем Савкином Затоне.

Продолжать разговор с разгневанным Ильей Спиридоновичем было бессмысленно, и незадачливые сватья, сопровождаемые страстной и не очень-то вежливой речью хозяина, удалились.

Из чулана выскочила Фрося. Она, оказывается, еще с вечера вернулась от Морозов и, укрывшись в сенах, все слышала. Подбежала, повисла на шее отца и, осыпая его поцелуями, твердила:

— Тятенька! Как ты их!.. Не отдавай ты меня за хохленка энтота! Глазоньки б мои на него не глядели! Придут, завтра же придут другие сваты, вот увидишь, тятенька, родненький, сладкий мой!..

— Ну, ну, будя. Яйцо курицу начинает учить. Поди спать. Марш! Своя голова, слава богу, на плечах — сам и решу. Иди, иди! — Он оторвал ее руки от себя и подтолкнул к передней, фырча: — Отца учить грешно, соплячка! Спи!

На другой день, как и говорила Фрося, пришли новые сваты — Полетаевы: Митрий Резак со своей родней. Но с этими разговор был еще короче, — тут, видать, нашла коса на камень. Услышав назначенную Ильей Спиридоновичем кладку, Митрий Резак вскрикнул, подскочил как ужаленный и побегал по избе. Поперхнулся собственной слюной, бурно закашлялся и, размахивая короткими руками, скомандовал родне:

— Пошли домой! Кхе-кхе-кхе... — Прокашлявшись наконец, прочищенным звонким голосом закончил: — С этим жмотом кашу не сваришь. Пошли! — и первый выскочил во двор.

Между тем Сорочиха не дремала: сваты повалили валом. В числе их был и Гурьян Дормидонтович Савкин, задумавший женить внука, Андреева сына Епифана — Пишку, как его звали затонские парни. Гурьян явился один средь бела дня, вошел в избе, прислонил к печке посох и встал пред образами. Теперь шерсть на нем была не бурой, а какой-то сивой, грязновато-зеленого цвета. Глубоко в одичавших зарослях, никогда никем не прочищаемых, мутно поблескивали крохотные болотца свирепых Гурьяновых глаз. Он был более прежнего важен, куражист: третьего дня за Большими гумнами, на Чаадаевской горе, встречал хлебом-солью саратовского губернатора графа Столыпина, направлявшегося через Савкин Затон по делам службы в Баланду и Балашов. Губернатор и ранее был наслышан о верноподданном старике Савкине и теперь назначил его главным распорядителем по наделу отрубов затонцам — в ту пору граф только что при-

ступил к осуществлению своей земельной реформы.

Фрося, догадавшись, зачем пожаловал к ним этот страшный гость, забилась опять в чулан и дрожала как осиновый лист в непогоду. Воздев руки к потолку, она прочла страстно и горячо все молитвы, какие только знала. Потом вспомнила про мать.

— Мама, мама, милая, родненькая моя! Что же ты оставила меня одну! — причитала Фрося над собой. — Приезжай поскорее. Спаси меня, не дай погубить. Мама!

Однако в дом Савкиных Илья Спиридонович и сам не пожелал отдать своей дочери. Солгал Гурьяну:

— Нет, Дормидоныч, погожу ишо годик-другой, молодца. Да и жалко расставаться — последняя.

— Ну, как хошь. Твой товаррр, — прорычал Савкин и, захватив у печи свою толстую, с полупудовой шишкой на конце палку и стуча ею об пол, не спеша вышел во двор. Во дворе постоял, обвел медленным взором постройку, понюхал воздух, заглянул потом в хлева и только после этого по-медвежьи выкатился за ворота. Постоял еще на улице, рассматривая дом Рыжовых со стороны. Затем, тряхнув гривой, пошагал по направлению к лесу, уверенно попирая землю толстыми босыми пятками.

В следующее воскресенье вновь пришли первые сваты. На этот раз Михаил Аверьянович взял с собой не Карпушку, а старшего сына, Петра. Михаил Аверьянович сразу же спросил:

— Не передумал, Илья Спиридонович, насчет кладки-то?

— Нет, — отрубил Илья Спиридонович.

— А давай-ка, мужики, решим умнее, — заговорил Петр, положив двухпалую, единственную свою руку на стол. — Решим по-божески, по-христиански: ты, Спиридоныч, уступи маленько, а ты, отец, маленько прибавь, да и делу конец. И будет свято!

Предложение порт-артурского кавалера неожиданно возымело на Илью Спиридоновича положительное действие. Он заметно пообмяк, подобрел, заговорил менее резко:

— Да я что ж... я готов. Люди вы хорошие. Хозяйка. Давайте будем толковать.

Столковались, однако, только к рассвету. Илья

Спиридонович уступил всего лишь на одну красненькую, а прочее осталось прежним.

Начался «запой». Позвали родственников, Фросю, которой объявили, что судьба ее решена. Не спавшая много ночей подряд, истерзавшаяся душою, с красными, опухшими веками, бледная, подурневшая, она выслушала отца с полным безразличием, словно бы речь шла о ком-то другом, низко поклонилась всем и ушла в свой чуланчик.

Остальные дни до свадьбы Фрося жила тихо, неслышно, незаметно. Собирались девишники, на них приходил Николай Харламов со своими хмельными товарищами, играла гармонь, девушки пели длинные грустные песни, затем самые близкие приятели жениха и подруги невесты оставались на ужин, угощались. Фрося сидела меж ними, задумчивая, отрешенная от всего на свете. Когда ее спрашивали о чем-нибудь, вздрагивала, быстро кивала и улыбалась — чему, и сама не знала. Вывел ее из такого состояния случай, о котором потом долго судачили в Савкином Затоне.

Мать Фроси Авдотья Тихоновна вернулась из Астрахани и приехала к себе домой ночью, как раз во время девишника. В сенях Илья Спиридонович ее попридержал и впервые сообщил, что просватал дочь. А за кого — почему-то не сказал. Пахнувшая дорогой, сыростью большой реки и копченой рыбой, расцветая улыбкой, мать поплыла в переднюю. Молодежь расступилась, прижалась к стенам, к голландке, освобождая ей путь. Авдотья Тихоновна сначала подошла к дочери, поцеловала ее:

— Господь с тобою, доченька. Будь счастлива, голубонька!

Потом огляделась, расцвела еще больше и, вся светясь, направилась к... Ивану Полетаеву.

— Здравствуй, голубь сизый! Женишок родной!

Легкий прошелестел по горнице шум.

Иван, красный, вмиг сваренный великим стыдом, шептал ей:

— Не я жених-то, тетка Авдотья! Во-о-он сидит, видишь? Коляка Харламов, понимаешь?

— Да ну! — ахнула мать, и, глянув на рыженького щуплого паренька, заляпанного веснушками, которых не могла скрыть даже густая краска, мучительно

выступившая на его лице, она тут же увяла, обмякла как-то вся, лицо ее исказилось болью. Часто заморгав, тяжело вышла к печке и там дала полную волю слезам.

Она плакала, а Илья Спиридонович стоял рядом и молча хлестал ее по спине плетью.

Мимо тенью скользнула Фрося, за нею выбежал жених, потом все остальные.

А наутро затонцев поразило новое событие: у себя в риге, на Больших гумнах, повесился Василек Качелин, молчаливый, стройный юноша, вечно чему-то улыбающийся. Казалось, он только и делал в недолгой своей жизни, что улыбался всем и всему робкой светлой улыбкой. Выяснилось, что Василек трижды послал отца свататься к Рыжовым, но тот все тянул, медлил и запоздал. Узнав об этом, Василек снял со стены веревку и, тихо, загадочно улыбаясь, ушел на гумно. Он и висел с этой улыбкой на бледном, красивом, не изуродованном предсмертными судорогами лице, едва не касаясь земли пальцами босых ног.

Позже Фрося сказывала, что один только раз в своей жизни видела она того парня, да и то издали.

Казалось, что после всего этого свадьбы не будет: сговор сам собой распадется.

20

— Стыд не дым — глаза не ест! — сказал в утешение себе и жестоко избитой им Авдотье Тихоновне Илья Спиридонович.

Однако ни сам, ни жена несколько не утешились от мудрой этой пословицы. Илья Спиридонович ходил по избе чернее тучи, а Авдотья Тихоновна продолжала потихоньку всхлипывать.

— Не реви, дура! — то и дело выкрикивал Илья Спиридонович, но Авдотья Тихоновна, казалось, окончательно вышла из повиновения, плакала, и все.

Фроси дома не было. Укрылась у Ивана Мороза, не показывалась нигде, пока не схлынула первая, небывало сильная и злая волна мирского судилища.

Видя, что его речи мало действуют, Илья Спиридонович прибегнул к испытанному средству — погрузился в трехсуточную спячку, дезертировал на время из жизни, порвав всякие связи с беспокойным миром.

Этого срока оказалось вполне достаточно, чтобы затонцы, насытившись, немного утихомирились, а жена и дочь пришли в себя. Пробудившись и истребив положенное число блинов, Илья Спиридонович позвал к себе дочь, неумело поласкал ее, похлопав по плечу. Но заговорил резко, слова вылетали из него, точно искры из-под кузнечного горна, жгучие, острые:

— Поживется — слюбится. Что рожа, что кожа — одно и то же. Зато с голоду не подохнешь! Иной и красив, да зубы на полку положишь с ним. Так-то!

Этим «так-то» Илья Спиридонович всегда подбивал, подытоживал сказанное им, и оно выхлопывалось из него особенно резко и громко, как выстрел.

Фрося ткнулась лицом в его колени, заплакала без слез — их не было, выплакала все. Только плечи вздрагивали под жесткими руками отца.

— Прости, тятенька... И тебя-то замучили мы... — говорила она сдавленно, обжигая отца горячим дыханием.

— Ну, ну, будя реветь! О твоём же счастье пекусь, глупая! И эта старая дура, мать твою, не узнавши броду — бултых в воду! Черти ее принесли. Сидела б в Астрахани у того разбойника с большой дороги!

Авдотья Тихоновна, поджавши губы, молчала.

Побранив ее еще немного, Илья Спиридонович отправился в сад. Там он надеялся встретиться со сватом и потолковать о предстоящей свадьбе.

Сначала зашел в свой. Собрал в мешок сшибленные ветром яблоки, отнес в шалаш. Перетянул на свою сторону ветви, легкомысленно свесившиеся над Карпушкиным садом, мысленно отчитал «пустомелю», пожалел о таком опасном, с его точки зрения, соседстве и только уж после всего этого заглянул через плетень к свату. С удивлением увидел там, возле шалаша, под зерновкой, рядом с Михаилом Аверьяновичем старого Подифора. Они сидели за маленьким, вкопанным в землю столиком и пили чай. Оттуда легкий ветерок навевал запахи меда и малины.

«Наверно, так-то вот люди в раю живут, — подумалось почему-то Илье Спиридоновичу, — сад, в саду праведники сидят, пьют чай с малиной да медом и слушают тихие песни ангелов... Сват — он и вправду безгрешный. Бранного слова от него николи не услы-

шишь. На чужое не падкий. Так-то! А что касасемо Подифора, дружка моего разлюбезного, он на праведника и вовсе даже не похожий. Не украдет — повесится. Знаю я его! По ночам ездит в поле чужие крестцы возить к себе на гумно. Этак-то любой дурак может разбогатеть!.. Однако ж зачем бы это он пришел к свату?»

Обжигаясь крапивой и нестерпимым зудом любопытства, неслышно отругиваясь, Илья Спиридонович пополз вдоль плетня. Оказавшись против харламовского шалаша, в каких-нибудь восьми шагах от свата и его собеседника, затаился. До него отчетливо долетел неторопливый, приглушенный волнением и мягким украинским «х-ге» голос свата. Речь его была для Ильи Спиридоновича и странной и малопонятной. Изредка ее перебивал хриплый, придавленный тяжким грузом старости бас Подифора Кондратьевича.

— Гоже у тебя тут, — ленивым шмелем гудел Подифор Кондратьевич, обильно обливаясь потом. Морщины на его лице расправились, обнажив на смуглой, монгольского дубления коже светлые дорожки, лучами разбежавшиеся во все стороны. — Хорошо, говорю! Дуже просторно. И сердце стучает ровно. А то оно у меня что-то дурить стало, по ночам замирает, сдваивает, будто его кто в тиски возьмет. Не дает полного оборота... А вот сейчас хорошо в грудях, привольно, как, скажи, в ключевой воде выкупался, помолодел будто... Стало быть, женишь и второго сынка, Аверьяныч? — вдруг спросил Подифор Кондратьевич. — Вот она, жизнь-то какая! Давно ли сам парнишкой был? Давно ли сам за девками... — Поперхнувшись, замолчал, закашлялся. Справившись с приступом кашля, остывая, буряя лицом, заговорил опять: — Виноват я пред тобой, Михайла Аверьянович, и пред дочерью своей виноват. Помирать уж пора, срок подходит. А чем замолю грех великий мой? Ведь не простите вы мне никогда!

— Господь простит, — чуть внятно сказал Михаил Аверьянович.

— Что господь? До него высоко, а вы... вот вы, рядом. Увижу — сосет тут, мочи нет! — Правая рука Подифора Кондратьевича поднялась и судорожно коснулась левой части груди, там, где сквозь сатиновую рубаху выступило темное мокрое пятно. — Гляну на

Ульку-то, сердце кровью так и окинется. Что я наделал, старый кобель?.. Примечать я стал, Аверьяныч, что она опять к тебе прикипела глупым сердцем своим. По ночам имя твое называет, во сне. Яблоки и ягоды разные домой приносит — догадываюсь: из твоего сада... Михаил Аверьянович промолчал, только наклонил ниже большую светло-русую, без единой сединки голову, да пальцы рук беспокойно зашарили по столу, будто искали что. Слова Подифора Кондратьевича больно стучали в его висках. А тот продолжал с неосознанной беспощадностью:

— А вчерашь вытащила из сундука девичье свое платье. Нарядилась — и к зеркалу. И так повернется и этак... Слезы! И пить вроде поменьше стала... Спасибо тебе, голубок, что призрел несчастную, блаженну дочь мою... — Старое, морщинистое лицо Подифора Кондратьевича покривилось, губы сморщились, дрогнули, мешки под узкими, плавающими где-то глубоко-глубоко в нездоровых опухолях глазами покраснели, весь он немощно задрожал. — И есть еще один тяжкий грех на моей душе, Аверьяныч. Каюсь перед тобой, честным человеком, как перед господом богом. Прибегла как-то дочь из твоего сада и говорит, что видела там Федора Орланина. Я возьми да и шепни Пивкину. Позвал он Савкиных. Ну, а как потом — сам знаешь: накрыли Гаврилыча, заарестовали, а нынче, сказывают люди, в Сибирь его... Вот оно, какое дело... — Подифор Кондратьевич зашмыгал носом, захлюпал им, как бы плавился весь.

— Вот это погано, Кондратич! — выдохнул со свистом Михаил Аверьянович. — Федор нам зла не делал. За что ж ты его погубил?

— А нечистый меня поймет! Выслужиться, видно, захотел, властям угодить...

— Ну что ж, батько, — Михаил Аверьянович потупился: ему почему-то стало мучительно больно, будто не Подифор, а сам он выдал Федора Гавриловича Орланина. — Погано ты поступил, подло, да как тебя винить? «Властям угодить»... Вот темнота-то наша! От нее и все зло. А ведь не такие мы, Кондратич, не такие, правду тебе скажу. Вчера спустился к омуту воды для питья достать — она там холодная, как в кринице. Зачерпнул пригоршню, поднял, а она чистая и прозрач-

ная, как слезинка. А с виду-то омут черен и страшен... Так вот и мы: подыми нас повыше, поближе до солнышка — засветимся тоже, потому как душа у народа чистая, родниковая. Только тучи черные над нею висят все время, от них и она, душа-то, темной да жуткой иной раз оборачивается. — Михаил Аверьянович помолчал, перевел дух и продолжал еще более взволнованно: — Взять хотя бы тебя, Подифор Кондратич, ведь всяко балакают, и больше худое...

В этом месте речи Михаила Аверьяновича за плетнем завозились, кашлянули, но, увлеченные беседой, ни Михаил Аверьянович, ни Подифор не услышали этого. Михаил Аверьянович говорил:

— Я и сам грешен: плохо, погано думал про тебя. А ты вот пришел, открыл пораненную душу свою, показал все болячки, и я увидал: не черна, а больна она у тебя... А сколько зла по неразумению, по темноте своей причиняем мы природе! Изничтожаем, как саранча летучая, сады — зелену красу и отраду жизни нашей. Портим, поганим, точно плюем в колодец, реки и озера, без которых земля испекется и помрет со всеми нами и со всей божьей тварью... Вот ты пришел и говоришь: легче дышится! А Андрюха Савкин с корнем вырывал эти яблони, когда они были еще младенцами: не понимает жестокий человек, что выдергивает из земли корень жизни. Отчего соловей, самая разумная и звонкоголосая птица, избирает для жительствова сад? Оттого, что в саду ему краше любитя, кохаетя, вольготней дышится и веселее поетя... Да я и сам-то только вот теперь стал понимать это. Ведь сад-то я посадил от нужды великой — чтоб с голоду не помереть. Помнишь небось, как было дело?.. А теперь вижу, не мне одному он нужен, сад...

Михаил Аверьянович говорил под неумолкающую, старую и вечно молодую музыку птичьего гомона, шепота листьев и трав, то чуть внятного, то громкого, тревожного под порывами степного мимолетного ветра. Просеиваясь через густые кроны яблонь, теплым золотым дождем струился на землю солнечный свет, в лучах его кружились, сталкивались, мельтешили, мешаясь с пылинками, мириады чуть видимых живых существ — это от них, должно быть, по саду тек непрерывный высочайшего тембра и необыкновенной стройности звук —

звук туго натянутой серебряной струны. Прижмурь глаза, приглуши дыхание, настрой сердце на волну этой таинственной, колдовской струны, и в него светлым потоком польется нечто непостижимое, вызывающее у человека неутолимую и неизбывную радость жизни. Такое бывает еще осенним ясным днем, когда воздух весь как бы соткан из тонкой белой паутины «бабьего лета» и когда с немыслимых высот прямо в душу твою падают звонкие, хрустальные, чуточку грустные капли прощального журавлиного курлыканья. В такие минуты человек особенно остро ощущает себя частью природы, малым кусочком всеильной плоти ее...

Михаил Аверьянович замолчал. Молчал и Подифор Кондратьевич. Тихие, с умиротворенно-просветленными лицами, два этих очень непохожих человека в тот миг были странно похожими друг на друга.

Михаил Аверьянович проводил гостя за калитку сада, и там, у лесной дороги, ведущей в Савкин Затон, они молча расстались. Когда Харламов вернулся, в шалаше его уже поджидал Илья Спиридонович.

— Здорово живешь, сват! — сказал он, вставая, и, не ожидая ответного приветствия, спросил: — Зачем пожаловал монгол-то? Ты, Аверьяныч, не верь ему — плут. Обманет, окрутит и продаст. Друг он мне, потому знаю. Ему палец в рот не клади — откусит, да еще и скажет, что так и было. Так-то!

— Ты, сват, мабудь, зря на него. Подифор — ничего человек.

— Зверь! — фыркнул Илья Спиридонович и передразнил свата: — «Мабудь»! Калякаешь ты, Аверьяныч, не по-нашему как-то. Пора бы отвыкать. Ну, ну, не хмурься! Ты и так, чай, гневисься на нас, Авдотья безмозглое существо, дура старая, не разобралась — черт дернул ее за язык!

— Ладно, сват. Лишь бы они-то любились, — сказал Михаил Аверьянович.

— Полюбятся, коли надо будет. А людская молва — дым: пощиплет маленько и пройдет. Глаза опосля зорче делаются, видют дальше.

— Не все б им видеть. На иное и очи не глядели бы...

— Нет, сват, на то и глаза, чтоб видеть все, — решительно возразил Илья Спиридонович. — Сослепу и

на гадюку не мудрено ступить, а она укусит. — И он глянул в сторону, где скрылся Подифор Кондратьевич. — Так-то!

— И это верно, — подумав, не скоро согласился Михаил Аверьянович, но согласился и, дрогнув светлой бородой, заговорил: — Вот что, сват, помирить нам надо детей-то. Мой Микола после той ночи как уехал в поле, так днюет и ночует там. Глаз на село не кажет, пацана Павлуху замучил небось. Зябь у Правикова оврага, за Большим Маром, пашут. Не поехать ли нам завтра туда, а?

— Отчего же не поехать? На зорьке и отправимся. Только ты свою Буланку запряги в рыдванку-то. Мой меринок притомился сильно — ноги волочит, а то б я его... За Большим Маром у меня с троицы еще остромок сенца лежит. Насшибал по межам...

Решив этот вопрос, они приступили к обсуждению главного — как бы снарядить свадебный поезд, приличествующий их положению на селе. Илья Спиридонович полагал, что хватит и трех подвод.

— Не княжна она у меня. И твой невелик барин. Сродников у нас с тобой раз-два — и обчелся, — убеждал он свата.

— А не бедно будет? — с сомнением спрашивал Михаил Аверьянович; ему хотелось, чтоб свадьба была как свадьба. — Нет, сват, не меньше шести подвод!

— А где мы их возьмем, шесть-то подвод?

— Найдем. У нас с тобой по подводе — вот уже две. Зять твой Мороз свою даст — три. Подифор Кондратьевич обещал. Митрий Савельич, шабер, тоже. Резвые у него кобылки, огонь! В первую подводу, для жениха с невестой, как раз сгодятся. Федотка Ефремов на своих прискачет, Песков Михайла рысака выведет, застоялся он у него, — вот тебе и поезд! Я сам об этом позабочусь.

Последние слова Михаила Аверьяновича явно пришлись по душе Илье Спиридоновичу.

— А сколько лишних ртов! — сдаваясь, ворчал он. — Одного винища вылакают — страсть одна. Ведь у каждого утроба — лагун. Но коли ты, сват, настаиваешь, я перечить не буду. Шесть так шесть! Оно и то сказать: не каждый день бывает свадьба, да и наши дети не хуже других прочих. Так-то!

В поле выехали на заре. Село только что начало пробуждаться. Редея и утихая, в разных концах Савкина Затона слышалась кочетинная побудка, где-то далеко за кутавшейся в туман Игрицей ей отвечали панциревские петухи. Возле Кочек на утопанном, сплошь покрытом сухими, скорчившимися коровьими лепешками выгоне собиралось стадо. Отовсюду неся разногласый бабий переклик:

— Пестравка, Пестравка!

— Зорька, Зоренька!.. Куда тебя понесло!

— Лысенка, Лысенка!

— Митрофановна,хвати мою-то... Анютка, нечистый ее дери, проснулась и голосит — оставить не на кого!

Громко и бодро в сыром холодном воздухе хлопал пастуший кнут. Крики женщин становились торопливей, беспокойней.

— Вавилыч, родимый, у моей Лысенки черви в боку-то. Подифорова коровенка пырнула вчера. Можя, оставить ее дома да деготьком смазать?..

— Откель тебе знать, чья корова пырнула твою Лысенку? Ишь ты, Подифорова! — подала откуда-то свой высокий и распевный голос Меланья. — Можя, на кол в твоём же дворе напоролась!

Удовлетворенная, похоже, тем, что ей не ответили, Меланья умолкла. Но тотчас же поднялся новый переполошный бабий вскрик:

— Дуняха, у вас чужие овцы не ночевали? Что-то ярчонка запропастилась, не пришла!

— Не-эт, милая! — отвечала Дуняха и добавляла от себя: — Бирюк, вишь, объявился. На днях у Дальнего переезда Андрей Гурьяныч Савкин видал. Не ровен час...

— Сам он бирюк, Савкин твой!

— Он такой же мой, как и твой. Ай забыла, как он к тебе на сеновал лазил?

— А ты, сука, откель знаешь?

— Сама ты сука! Про то все знают!

То в одном, то в другом месте вспыхивала, сгоняя с опухших лиц сонливость, бабья перебранка, но тут же гасла в густой пыли, поднятой согнями коровьих

ног. Стадо накапливалось, сгущалось. Коровы мычали, просились в росную, манящую душистой прохладой степь. От Малых гумен к Кочкам приближался, грозно трубя, мирской темно-бурый бык, по кличке Гурьян. На кудрявой его морде, пониже коротких, мощных, отлого торчащих рогов, из завитушек атласной шерсти кровавыми каплями светились маленькие свирепые глазки. Не дойдя до стада саженей сто, бык остановился и начал яростно копать землю, швыряя ее передними копытами и подбрасывая вверх рогами. Над ним водопадом бушевала черноземная пыль. Из страшной утробы с наглым хрипом вырывался, потрясая души людские, звериный рев. Из красных влажных ноздрей выпыхивал жаркий дымок.

Бык этот не случайно был назван Гурьяном. Четыре лета тому назад Гурьян Дормидонтович Савкин пожертвовал его, тогда еще маленького, запаршивленного телка, «обществу». Бугаенок быстро пошел в рост, скоро заматерел и оказался по характеру своему и по цвету шерсти на редкость схожим с прежним своим хозяином, так что затонцам — великим мастерам придумывать прозвища — не стоило большого труда подобрать ему достойное имя.

Женщины и ребятишки, заслышав рев Гурьяна, поспешно покидали выгон и, второпях то и дело попадая голыми пятками в свежее коровье творенье и отчаянно бранясь, укрывались за калитками ближайших дворов. Многие роптали:

— Кишки выпустит, нечистая сила!

— И што, бабыньки, держат его мужики? Прирежали б, да и только!

— Прирежь! Они те, Савкины-то, прирежут!

— Хотя б он энтова старого злыдня на рога подцепил разок. Тогда небось...

— Гурьян, сюда! — властно заорал Вавилыч неповторимым своим пастушьим — с певучей ветряной хрипотцой — басом и резко взмахнул рукой. Кнут черным змием взвился у него над головой, сделал там несколько свистящих колец и, вдруг опустившись к самой земле, выхлестнул резкий, трескучий хлопок. Бык сейчас же поднял красивую лобастую морду, поглядел и, покорный, быстро и молча пошел в стадо. Стадо зашевели-

лось, заклубилось и пестрой рекою в дымке утра медленно потекло в поле.

Переждав, пока пыль немного осела на землю, сваты тронулись дальше.

Впереди них бежал Жулик, маленький лохматый пес, и думал свою собачью думу. Он думал о том, как все-таки хорошо жить на белом свете. Куда ни глянь, куда ни побеги, всюду тебя ждет веселое и приятное развлечение. И воздух кругом такой чистый! А сейчас, ежели побежать вон к тому неубранному крестцу пшеницы и покопать под ним лапами, можно выкопать дюжину жирных, дымчатых, с желтой полоской на спине мышей, и, если голоден, ешь их в свое удовольствие, а нет — просто хрустни зубами по мягким теплым косточкам.

Мысли Жулика незаметно перенеслись на старого хозяина. Хорошо с ним жить в саду! Только за птиц ругает, не велит пугать их. В присутствии Михаила Аверьяновича Жулик никого не боится и даже может храбро тявкнуть на свирепого и огромного Подифорова Тиграна — внука старого Тиграна, давным-давно издохшего. Михаил Аверьянович хорошо кормил Жулика, а бил мало. А коли и побьет, то за дело и не очень сильно — просто пнет носком лаптя в живот, и все, а потом сам же приласкает.

Очень нужным существом на свете была также Буланка, думал Жулик. Правда, она не так давно наступила ему на хвост, и было больно, но Буланка сделала это нечаянно. Зато в лютые и долгие январские ночи она своим большим телом согревала его, свернувшегося клубочком около ее брюха. А когда во дворе свистит вьюга, а на Малых гумнах и у Дальнего переезда воют голодные волки, то с Буланкой не так боязно: она спокойно хрумкает овес, фыркает, будто ничего и не случилось...

Еще, думал Жулик, самым необходимым жителем на земле была соседская Лыска, хоть он и знал, что она шельма и воровка. Нередко в игре с Жуликом она больно кусала его, а делала вид, что невзначай. Однако Лыска была игрунья, и с ней всегда весело. Жулик любил Лыску. Он вспомнил, как прошлой зимой она подобрала на своем дворе замерзшую курицу и поделилась с ним добычей — дала крылышко и ножку...

Внизу, над гумнами, отвесно подымались два

рыжих облака — там возобновилась молотьба. Глухо, как сердцебиение, земля передавала тяжкие удары цепов. Обмолачивали пшеницу, ячмень, просо, и оттого облако было рыжим; неделей раньше оно было еще палевым, светло-желтым, почти белесым — тогда обмолачивали рожь.

Отсюда, с горы, сваты легко отыскивали глазами на Малых гумнах свои риги. Гумно Харламовых стояло почти у самого кладбища, и там время от времени белыми крылами взмывали два платка.

«Дарьюшка с Пиадой хлопочут, — подумал Михаил Аверьянович. — Петро, наверное, тоже на гумне. Только плохой он им помощник».

Ехали полем. Солнце поднялось и начинало припекать. Кое-где виднелись крестцы не свезенной на гумно пшеницы. На крестцах, разинув белые клювы и приоткрыв крылья, сидели сытые грачи. Трещца крыльями на одном месте, светлыми поплавками висели в побелевшем воздухе кобчики. От крестца к крестцу, бросая на желтую стерню стремительную тень, перелетал лунь. Дорогу то и дело перебегали пестрые суслики. Похожие на землемерные столбики, по буграм торчали сурки и пересвистывались. Заработали неутомимые степные молотобойцы — кузнечики, огласили степь несмолкаемым звоном невидимых своих наковален.

Впереди над всем полем царственно высился Большой Мар — древний скифский курган. Вкруг него, у подножия, буйно рос осот, который и сейчас цвел ярко-малиновым цветом. Издали казалось, что на плешивую голову старика кургана надели венки.

О Большом Маре, так же как и о Вишневом омуте, сохранилось множество легенд. Одну из них особенно часто рассказывает Сорочиха: казалось, она была ровесницей всей затонской старины.

— Я тогда девчонкой была, а вот как сейчас помню, — начинала она, окружив себя юными слушателями и слушательницами. — Повез меня покойный отец на поле, раненько так, хлеба глядеть, да и завернул к Мару. «Погодь, Матреша, я што тебе покажу», — баит. Подъехали. Глядь, а в Мару-то дверь, замок на ней пудовый висит. Батюшка мой покопался в земле, вынул откель-то секретный ключик, повернул сто разов в одну сторону и сто разов в другую. В замке-то зазвонило,

музыка заиграла, право слово! Играет как-то все божественное, прямо-таки за сердце хватает, сладкая-пресладкая музыка! Поиграла, поиграла, а потом — хлоп! — затихла. Скрипнул замок, сказал что-то непонятное человеческим голосом, да и упал на землю. А дверь, милые, сама открылась. Взял меня батюшка за руку и повел. «Иди,—говорит,—за мной и про себя твори молитву». Шепчу и «Богородицу», и «Отче наш», а сердечко-то колотится, того и гляди, выпрыгнет из груди. Вошли в терем, темный-претемный, отец спичку зажег, видим — посреди терема гроб стоит на золотых ножках, весь, милые, в жемчугах да брильянтах, а в гробу, под стеклом, упокойница лежит, уж такая раскрасивая, што ни в сказке сказать, ни пером описать. Лежит чисто живая, брови черные, а личико белое-пребелое и губки цветиком-сердечком сложены. Княжна. Князь убил ее из ревности, а потом жалко стало, — любил ее очень! — заказал в царском граде богатый гроб, построил для нее терем-усыпальницу, а дружине своей, войску значит, приказал таскать в железных шапках-шеломах землю на могилку-то. Таскали князевы воины сорок дней и сорок ночей, так-то и вырос Большой Мар...

— А где сейчас княжна? — нетерпеливо спрашивали Сорочиху.

— В Мару. Где же ей еще быть! — невозмутимо отвечала старуха. — Только терем с гробом и дверью опустились вниз сажен на триста. Не докопaeшь. А кто и пробовал копать, так руки на другой же день отсыхали, — прибавляла она, очевидно, на тот случай, как бы кому из ее слушателей не пришла в голову безумная мысль поковыряться в кургане.

...Накаляясь, воздух белел, дышать становилось труднее. Красные шеи сватов увлажнились, по причудливо извилистым канавкам морщин струились ручейки пота, смывая прилипшие к телу сухие былки и лепестки поздних полевых цветов.

Илья Спиридонович первый расстегнул ворот синей сатиновой рубахи, отпустил веревки на лаптях.

— Жара, — сказал он, щурясь.

— Добрая погодка! Такая с неделю постоит — управимся с уборкой и зябью. Скоро второй спас — сбор яблок. У меня кубышка поспела — хоть сейчас убирай. Яблоки висят — янтарь.

Михаил Аверьянович не договорил, пораженный неожиданно явившейся перед ними картиной.

Из-за Большого Мара во весь дух бежали три человека, которых сваты тотчас же и опознали. Впереди скакал вприпрыжку пятнадцатилетний долговязый Павло, за ним, размахивая кнутом и жутко матерясь, Микола — огненно-рыжие волосы на нем вздыбились, он угрожающе кричал:

— Убью щенка!

Третьим, приотстав, семеня Митрий Резак. Вдохновляя Николая, он взвизгивал:

— Путем; путем его, Колька!

Павел прямо с ходу, сделав большой, заячий скок, прыгнул в рыдванку и спрятался за отцовской спиной. Преследователи в нерешительности остановились.

— Что такое? — спросил ничего не понимающий и донельзя сконфуженный перед сватом Михаил Аверьянович.

— А кто его знает... — только и смог выговорить загнанный и перепуганный насмерть Пашка.

— Измучился я с ним, тять! — подходя к рыдванке, начал Николай, тоже малость смутившись перед тестем, но лицо его все еще перекипало злостью. — Больше ты его не посылай со мной. Лучше уж одорукий Петро... Пашка прогуляет ночь, а днем спит. Поставлю гаденыша за чипиги — засыпает в борозде. Погоничем встанет — лень кнутом махнуть, лошади засыпают... Ну, вот я и того... не утерпел. Хотел поучить чуток. А он видит, дело плохо, и наутек!..

— Истинная правда, шабер! — вступился Митрий Резак, белые галочки глаза его светились горячо, яро. — Лодырь твой младший, каких свет не видывал. А все оттого, что ты редко секаешь его, сукиного сына! Путем его, долговязого губошлепа! Путем!

— Ну, Митрий Савельич, это уж мое дело, кого посечь, кого обождать, — нахмурился Михаил Аверьянович. — Ежели ты хочешь знать, я вовсе не бью своих детей.

— Да ну? Не может того быть! — страшно и искренне удивился Митрий. — А я своего Ваньку и дóсе порю, ей-богу!

— Ну и пори на здоровье, а на чужих детей не замаживайся! — поддержал Михаила Аверьяновича Илья

Спиридонович, который был зол на Полетаева Митрия с того еще вечера, когда тот приходил сватать Фросю и сделал весьма смелое и рискованное замечание насчет скупости Ильи Спиридоновича. — Ты уж не дите. Шестой десяток на свете живешь да хлеб жуешь. Нет бы разнять глупых, а ты сам туда же, рад драке: «Путем! Путем!» Недаром, знать, Резаком-то тебя окрестили!

Назревал новый конфликт, это понял Михаил Аверьянович и поспешил погасить искру раньше, чем из нее возникнет пожар:

— Ладно, сват. Успокойся. С кем греха не бывает? Они, рассукины дети, кого хочешь выведут из себя... Садитесь все. Подвезу!

По пути к недопаханным полям помирились. Братья Харламовы сидели на рыдванке рядышком и, небывало кроткие, тихо переговаривались. Последнему обстоятельству немало способствовало то, что Илья Спиридонович успел уже сообщить зятю, что дочь смирилась, теща тоже и что ныне вечером они ждут его к себе в гости.

На дороге, у своей межи, граничащей с наделом Харламовых, стоял, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Иван Мороз. Он щурил плутовские глаза, что-то соображал. Потом шепотом, только для себя, раздумчиво заговорил:

— У тестя, конечно, ни хренинушки нету, а вот хохол, тот поди квасу бочонок да блинов сыновьям везет...

И когда рыдванка поравнялась, в голове Ивана Мороза был уж готовенький план, с помощью которого он надеялся быстро расположить к себе Михаила Аверьяновича.

Вышла, однако, осечка. Мороз едва ли не впервые дал маху. Он не знал, что Михаил Аверьянович собственными глазами наблюдал потасовку сыновей, и это погубило его план.

— Орлы они у тебя, Аверьяныч! — заговорил он торжественно, краем хитрющего глаза косясь на торчащий из-под соломы бочонок грушевого кваса и на белый сверток в задке рыдванки. — До чего ж смирные и разумные парни! Таких, мотри, ни у кого и нет! Взять хотя бы твоего, Митрий Савелич, Ваньку. Не то, ей-богу, не то! С ленцой парень. А эти — ну прямо золото работники!

Речь Ивана Мороза могла быть истолкована не ина-

че, как откровенная и наглая издевка, и потому Илья Спиридонович, испытав, в свою очередь, неловкость, прикрикнул на старшего зятя:

— Ну и ты хорош! Чья б корова мычала, а твоя молчала!.. Жаворонков все слушаешь, а сам глухой, как старая Сорочиха! Звонарь!

Поняв с запозданием свою оплошность, а также и то, что блинов и холодного грушевого квасу ему не отведать, Мороз оглушительно высморкался. Грачи, бродившие по свежим бороздам, испуганно взлетели. Наполненный только до половины бочонок ответил Морозу гулким насмешливым эхом.

Чертыхаясь про себя, Иван Мороз направился к борозде, на которой, понурившись, стоял в сохе ленивый его меринок, по кличке Чалый.

— Обижают нас с тобой, — пожаловался ему Мороз.

Чалый не повел и ухом. На длинной морде его, под глубокими вмятинами, сумеречно, тускло светились бесконечно равнодушные глаза.

— И ты тоже? Ну, черт с вами! — Иван Мороз ошпарил меринка кнутом и, качаясь из стороны в сторону, поддерживая за поручни соху, мелькая черными голыми пятками, медленно побрел по борозде.

Все занялись делом. Только Жулик по-прежнему предавался праздности. Заметив сову, он с пронзительным лаем припустился за ней. Сова лениво махала лохматými неряшливыми своими крыльями почти над самой землей, а Жулику казалось, что вот-вот она выбьется из сил и он сцапает ее. Однако пес скоро сам так умаялся, что отказался от погони. Возвращаясь к рыдванке, Жулик увидел Лыску. Она неровными прыжками бежала прямо к нему. Жулик с радостным визгом кинулся было навстречу, но, не добежав нескольких сажен, остановился: на длинном, висевшем между ослепительно-белыми нижними клыками языке Лыски была кровавая пена, глаза ее были мутны, хвост висел книзу, как у волка.

— Мужики, ребята, на рыдванку! Сюда, ко мне! — петухом загорланил Митрий Резак. — Никак, забесилась!..

Жулик тоже бросился прочь, но убежать не смог. Лыска мгновенно достигла его. Жулик вертелся, скулил, избегая ее вонючих зубов, но вырваться не сумел.

С перепугу он даже потерял память. Очнувшись, увидел, как четыре острых железных зуба вил пригвоздили Лыску к земле, и она издыхала. Рядом стоял Михаил Аверьянович. Жулик радостно затыкал и в знак благодарности хотел было лизнуть лицо хозяина, но тот так сердито прикрикнул на него, что Жулик мигом откатился под рыдванку.

Случай этот сваты, не сговариваясь, почли за недобрый знак.

«Эх, Микола, Микола, плохо твое дело!» — подумал Михаил Аверьянович, вздохнув.

«Мотри, зря я просватал в хохлацкий дом Вишенку. Все пошло не так, как у людей. То моя дура натворила, то вот это... — подумал, в свою очередь, Илья Спиридонович, не глядя на Харламовых. — Однако отрезанный кусок... Не вернешь!»

Вслух он попросил:

— Можя, сват, ты на своей Буланке отвезешь острамок-то мой на гумно?

Навьючивали воз молча. В «острамке» оказалось сена не по наклески, как уверял Илья Спиридонович, а сверх того еще с добрый аршин. Так что под конец черенка вил едва хватало, чтоб Михаил Аверьянович мог подать стоявшему на возу свату очередной навильник.

Подавая навильник за навильником, Михаил Аверьянович продолжал горестно размышлять: «И зачем я, старый дурак, покликнул собачонку? Сидел бы Жулик в саду да яблоки стерег!»

В село сваты возвращались одни. Братья Харламовы остались допахать клин. С воза, оглянувшись, хорошо было видно, как пара добрых лошадок, взятых на время — за плату, конечно, — у Подифора Кондратьевича, бодро тянет однолемешный плуг, как из-под лемеха жирным, вспыхивающим на солнце, пластом, переворачиваясь, ложится земля. «Проученный» братом Пашка живо помахивает кнутом, Николай, помогая ему, весело покрикивает: «Эй, ну ли! Что заснули?» Позади них на свежую борозду черными хлопьями опускаются грачи, клюют червей и еще какую-то мелочь.

Но привычная эта картина не могла отвлечь сватов от тяжелых дум. Всю дорогу они не разговаривали.

Невесело было и Жулику. Дома он, хоть и был голоден, не стал ждать у двери, когда ему вынесут поесть,

а, забравшись в сарай, где ночуют овцы, забился там в самый угол и свернулся клубочком. Но хозяин почему-то выгнал его оттуда. Тогда Жулик залез под сани, поднятые на лето на два бревна, и там, в холодке, прилегал, распугав кур. Тоска пронизала все его собачье существо, и Жулику захотелось плакать. Пришла ночь, хозяин ушел в сад и не позвал его с собой, как делал раньше. Жулик все лежал под санями. По всему селу слышался лай собак, но Жулику было не до них. Дрожь в теле не унималась.

К утру вернулся хозяин и ласково поманил Жулика. В его голосе пес услышал что-то уж слишком нежное и потому насторожился.

— Пойдем со мною, глупый! Ну, что ты уставился?

Жулик твякнул и, вильнув хвостом, побежал за Михаилом Аверьяновичем. И только теперь увидел на плече его какой-то предмет, похожий на изогнутую дубину, от которой неприятно воняло. Жулик вспомнил, что такую палку он видал у одного мужика, забредшего однажды в сад из лесу и долго о чем-то говорившего с хозяином.

Предчувствие нехорошего заставило Жулика вновь насторожиться, и он задержался. Но Михаил Аверьянович опять стал ласково манить его за собой.

Они вышли на зады и остановились. Хозяин снял с правого плеча изогнутую вонючую палку и, чем-то щелкнув, наставил ее на Жулика. Тот заворчал. Но потом, встав на задние лапы, жалобно завыл. В ту же минуту раздался пронзительный детский крик:

— Дедушка, зачем?

К ним, падая, вставая и снова падая, бежал внук Ванюшка.

Напротив Жулика, бледный, высокий, стоял Михаил Аверьянович. Он говорил виновато:

— Как же это я, старый дуралей, надумал такое? А? Как же можно? Жулик, прости меня, разум, мабудь, отшибло! Пойдем-ка поскорее в сад. Там я тебя полечу! Пойдем и ты, Иваню, медовка по тебе соскучилась, да и кубышка спрашивалась: «Где Ванюшка да где Ванюшка?»

— А резиново гнездо покажешь?

— Покажу. Все покажу.

В саду Михаил Аверьянович окончательно смягчил-

ся, подобрел, сделался оживленным, рассказывал внуку разные лесные истории, сказки.

— Дедушка, а кто сочиняет сказки? — неожиданно спросил Ванюшка.

Михаил Аверьянович с удивлением глянул на него и, подумав с минуту, сказал:

— Наверно, бедные люди их сочиняют, Иваню.

— А почему не богатые?

— Да богатым-то и без сказок хорошо живется... Ну, хватит, Иваню, все б ты знал... Подрастешь — тогда... А сейчас нам с тобой Жулику надо помощь оказать, полечить его...

Где-то под крышей шалаша Михаил Аверьянович отыскал кисет, подаренный ему, некурящему, Улькой, высыпал из него на горький лопух какую-то сухую травку, поманил Жулика:

— Вот тебе и лекарство. Ешь, пес!

Жулик понюхал и недовольно чихнул: от травы в нос ему ударил резкий запах.

— Ешь, ешь! Лекарства — они всегда горькие.

Жулик послушался, начал неумелс грызть невкусные сухие былки. Михаил Аверьянович низко наклонился над ним.

— Жууй, лохматый. Земля — она все родит. И такое, от чего можно лапы кверху, и такое, от чего воскреснешь. Знать ее только надо, землю. Незнающему она злая мачеха. Знающему и любящему ее мать родная. Ясно тебе?

22

Осень была скоротечной. В первых числах ноября, внезапно подкравшись темной, безлунной ночью, ударил мороз. Игрица на бегу остановилась и, не замутненная серенькими долгими дождями и неприятными ветрами, глядела в озябшее небо ясными-преясными голубыми очами, закрапленными только пятнами упавших накануне и тоже остановившихся в удивленном недоумении листьев. Сад быстро погружался в зимнюю спячку и торопился сбросить с себя летнее убранство. Лиственная багряно-желтая пороша усилилась. Воздух был полон упругого, трепетного шелеста, будто тысячи нарядных бабочек вились в нем. Под ногами сочно хрустело.

А во второй половине ноября выпал снег, тоже ночью, и за одну эту ночь прежний мир как бы исчез вовсе под огромным белым покрывалом. Думалось, что вот явится сейчас некто и начнет творить все заново на этой бесконечной белой площадке.

Творить, однако, ничего не надо было. Давным-давно сотворенный, мир жил своей неповторимо сложной и вечной жизнью.

В просторном дворе Харламовых собирался свадебный поезд. Петр Михайлович, по единодушному согласию сватов назначенный дружкой, чертсом носился меж саней, размахивая единственной рукой, отдавая распоряжения. Из рта его на морозный воздух вылетал хмельной пар, серые глаза фосфорически блестели. Рушник, перекинутый через плечо, придавал его сухой фигуре необходимую важность.

Нарядные дуги и гривы лошадей, хмельные парни и молодые мужики, звон колокольчиков под дугами, красные ребячьи мордочки со светящимися влажными носами, сияющие, зажженные неукротимым любопытством глазенки, всхлипы гармони, хохот, хлопотливая беготня стряпух, звон приносимых отовсюду чугунов и тарелок, запах лаврового листа и перца, плотский густой дух разваренного мяса, скрип открываемых и закрываемых ворот, горячий храп возбужденных лошадей — все это соединялось в одну пеструю, грубую, но удивительно цельную картину зарождающегося необузданного российского веселья, имя которому — свадьба.

В доме Рыжовых подруги наряжали невесту к венцу. Две из них — Наташа Пытина и Аннушка Полетаева — заплетали ей косы, и обе плакали неудержимо и безутешно. Им было жалко и Фросю, но больше самих себя; Аннушка сердцем чуяла, что приходит конец и ее девичьей свободе, ну, а у Наташи были свои причины к слезам, куда более важные. Темные волны тяжелых Фросиных кос струились, текли сверху вниз перед глазами девушки, туманили взор, закрывали весь белый свет, который и без того-то был не мил ей.

Фрося не плакала. Глаза ее были сухи, светились жарко, воспаленно. В уголках плотно сжатых губ легли скорбные складки; на бледных щеках красными пятна-

ми, то истухая, то воспламеняясь, тлея румянец; на смуглой шее, чуть повыше ключицы, беспокойно билась крохотная синяя жилка.

Девушки, сидевшие у стен на длинных лавках, пели грустные песни. Авдотья Тихоновна все глядела и глядела в окно — не видать ли поезда. Илья Спиридонович ходил по двору, размечая, где и какую поставить подводу.

Непостижимо, каким это образом, но вот все узнали, что поезд со двора Харламовых выехал и направился за невестой. Девушки вскочили со своих мест и повели Фросю, убранную в подвенечное, за стол. Сами сели рядом с нею.

Показался поезд. Собственно, самого поезда не было видно. О его приближении узнали по звуку колокольчиков, по свисту саночных подрезов и по несшемуся вдоль улицы белому снежному вихрю, по дружному и радостному воплю ребятишек: «Едут! Едут! Едут!»

Иван Мороз и еще два парня из Фросиной родни подбежали к высоким тесовым воротам и заперли их перед храпящими мордами разгоряченных коней.

— А ну-ка, дружечка, подкинь на водку! Приморозились мы тут, вас ожидаючи! — выдвинулся навстречу Петру Михайловичу Иван. — А то не отдадим невесту!

Петр Михайлович бросил в растопыренную ладонь Мороза несколько медяков, и ворота, точно крылья большой серой птицы, распахнулись. Снежный вихрь ворвался во двор и закружил по нему в звоне колокольчиков, в разбойном свисте и криках пьяных парней, в лошадином храпе, в суматошном кудахтанье перепуганных кур. В белой замяти поезд развернулся на выход, первая подвода встала у самых ворот. Дружка повел жениха и разнаряженных свах в дом за невестой. На груди Петра Михайловича рдяно горел бант, а еще краснее и ярче полыхал его нос на довольном пьяном лице. Короткий обрубок руки неудержимо подпрыгивал под дубленным полушубком.

Николай шел нервными шажками и ничего не видел перед собою, и когда открылась дверь и его ввели в переднюю, то в глазах запестрело, замельтешило, будто кто-то сильно ударил в переносицу. Он не слышал весе-

лых прибауток брата, не слышал песни, которую пели подруги невесты. А подруги пели:

Ах, теща его, добра-ласковая,
Выводила ему ворона коня,
«Ах, это не мое, мое суженое,
Ах, это не мое, мое ряженое!»

Николай не видел Фросю, точно так же как и она не видела его. Потупившись, Фрося боялась поднять глаза — так слабый человек боится иной раз глянуть прямо в лицо своей судьбе.

Девушки между тем пели, и особенно усердствовала Наташа Пытина. Пылая вся, она смотрела на жениха широко открытыми, немигающими глазами с несвойственной ей храбростью и громко, чуть дрожащим голосом пела:

Ах, теща его, добра-ласковая,
Выводила ему красну девицу.

И, умолкнув на мгновение, уже не пела, а выкрикивала насмешливо, зло и вызывающе:

«Ах, вот это мое, мое суженое,
Ах, вот это мое, мое ряженое!»

Дружка взмахнул рукой и с режущим свистом ударил плетью об стол:

— Отдайте, девчата, невесту!

— Не отдадим! — крикнула Наташа, и вечно добрые, ласковые и робкие глаза ее плеснули на жениха яростью. Красивое лицо стало прекрасным от этого прорвавшегося наружу гнева. Она хлопнула по столу скалкой и повторила настойчивее: — Не отдадим! — а сама не отводила горящих, яростных глаз от Николая.

Дружка выбрасывал одну монету за другой до тех пор, пока Наташа Пытина не насытилась своим гневом и не выскочила на улицу. Девушки расступились и освободили место за столом для молодых.

На столе появились водка, закуски. Всем подносили по стакану. Всем, кроме жениха с невестой. Стряпухи тащили щи, кашу, куриную лапшу. Ели все. Все, кроме жениха с невестой. Перед ними лежали ложки черенками к середине стола. Тихие, смиренные, жалкие, против-

ные сами себе, сидели они, ни к чему не притрагиваясь: ни пить, ни есть им не полагалось, пока не примут таинства законного брака.

Еще более охмелевший дружка вывел жениха и невесту во двор, усадил на первую подводку, которой правил Иван Полетаев. Тот сидел в передке, натянув вожжи так, что ногти на его руках побелели; на щеках туго перекатывались шары, из-под воротника венгерки выглядывала багровая полоска шеи; Фрося видела эту полоску и чувствовала, что ей не хватает воздуха. А вокруг шум, крики. На плетнях, на крыше ворот торчат ребяташки, галдят, горланят. А дышать все труднее. Красная полоска перед глазами — она режет девичьи очи. Господи, поскорее же! Но дружка не спешит. Он усаживает свах, щупает, щиплет их покалеченной рукой, свахи визжат, сквернословят. Из открытой двери избы слышится голос матери, негромкая отрывистая ругань отца. А рядом сидит молча и робко чужой человек. Господи, поскорее же!

Фрося больно стукнулась затылком о заднюю стенку санок, когда лошади рванули со двора. Под дугою болтливо заговорил колокольчик. Из-под лошадиных ног летели ошметья спрессованного, вычеканенного копытом снега. Полетаев гнал во всю мочь. Фрося зажмурилась, и как раз вовремя, потому что их санки неслись по самому краю крутого берега Грачевой речки и на повороте, возле Узенького месгечка, едва не опрокинулись под откос. Открыв глаза, она увидела повернувшееся к ним оскаленное лицо Ивана. Фрося испугалась и прикрыла лицо тулупчиком.

Из ее родни до церкви поезд провожал лишь один Мороз. Мать, отец, крестный и крестная оставались дома. Им полагалось сидеть за столом, пока идет венчание. Авдотья Тихоновна потихоньку, украдкой от мужа, всхлипывала. Она могла бы это делать и не таясь, потому что Илья Спиридонович был занят более важными делами, чем наблюдение за своей супругой. С великой досадой на себя он думал о том, что дал согласие провести молодых от церкви до Харламовых в венцах, под колокольный звон, за что надо будет заплатить попу дополнительно пять рублей. Это уж непростительное расточительство! «Чертов хохол! Наказал на два с половиной!» — мысленно отчитывал он Михаила Аверьяновича.

Крестный и крестная невесты тоже были озабочены: им страшно хотелось поесть, но они не отваживались протянуть руку к закускам. Сидели молча, покорно прислушиваясь к ропоту пустых своих желудков.

За окном, над белым селом, взвыли колокола: Иван Мороз показывал свое искусство. Он перестал трезвонить только тогда, когда увидел с высоты колокольни, что свадебный парад приближается к харламовскому подворью. С необыкновенным проворством сбежал он вниз по спиральной лестнице и устремился к дому Михаила Аверьяновича. Примчался туда в тот момент, когда хозяин и хозяйка вышли навстречу молодым с иконой в руках.

Николай и Фрося наклонились и поцеловали икону, потом поцеловали отца с матерью, и только после этого дружка повел их в дом. Когда стали подниматься на крыльцо, что-то белое и шуршащее замелькало перед Фросей, она вздрогнула и подняла лицо. Перед ними, загораживая путь, возвышалась большая и круглая, как гора, бабушка Настасья Хохлушка. Она осыпала их сухим душистым хмелем и приговаривала:

— Иди, иди, моя золотая сношенька, в ридну хатыну! Хай будэ ваша молодая життя, як цей хмелю, — весела та бражна. Вейтеса-завивайтеса друг возле друга, як ось той хмелю!

За ее спиной стояла улыбающаяся беззубым ртом Сорчиха и тоже причитала:

— Век вам жить — не браниться, не ссориться! Мусор-сор, пошел вон. — И, выступив вперед, она высыпала что-то под ноги молодым, после чего дружка, мысленно посылавший ко всем чертям дотошных старух вместе с их глупой выдумкой, повел Николая и Фросю в избу.

Тем временем несколько парней, среди которых были Федотка Ефремов и Михаил Песков, отправились «позываться-звать» в гости сватов и родню по невестинной линии.

Илья Спиридонович и Авдотья Тихоновна усадили ребят за стол. Хозяин оглядел всех быстрющим и колким взглядом, нарочито строго спросил:

— А уж это не вы ль, добры молодцы, украли у нас курицу-молодку?

— Мы, Илья Спиридонович! — охотно сознался за всех Михаил Песков.

Такого признания оказалось вполне достаточно, чтобы хозяин сразу же приступил к угощению ребят.

В доме Харламовых события развивались своим чередом. В ожидании невестинной родни дружка укрыл молодых у соседей, туда же отправились и свахи. А в передней жениха Пашка Харламов со своими приятелями установили гроб. В гробу лежал натуральный покойник, сильно смахивающий обликом своим на Карпушку. Кучерявая черная бороденка его торчала над саваном сиротливо и печально, сухонькие руки сложены на тощей груди крестом, по кончику носа ползала муха и, наверное, щекотала бедного «покойничка» — это было видно по тому, как он смешно морщил нос, подрагивая крыльями ноздрей, подергивал то левой, то правой щекой, то всей кожей одновременно. Но муха оказалась небоязливой. Она и не собиралась покидать Карпушкиного лица, весело бегала по нему туда и сюда, изредка оставившись, чтобы постричь ножками, почесаться, расправить крылышки. Кончилось все тем, что Карпушка судорожно задергался, испуганно вытаращил глаза и оглушительно чихнул. Причитавшая над ним Сорочиха смолкла на минуту, погрозила ему строгим взглядом и как ни в чем не бывало продолжала голосить и причитать — все это для того, оказывается, чтобы молодые были вместе и любили друг друга до гробовой доски. Карпушка несказанно обрадовался, когда ему велено было воскреснуть. Он проворно выскользнул из гроба и сразу же потянулся к стакану с водкой.

В это время в избу вошли Илья Спиридонович с приторным гневом на лице, Авдотья Тихоновна и вся близкая их родня. За ними — Иван Мороз, успевший облачиться урядником. Выяснилось, что пришли искать пропавшую «курицу-молодку». Михаил Аверьянович, важный и величественный, немедленно признался, что это его сын похитил «молодку».

— Ну и слава богу! — радостно пропела Авдотья Тихоновна, усаживаясь за стол рядом с Ильей Спиридоновичем.

Дружка ввел молодых.

Авдотья Тихоновна, расцветая, всплеснула руками.

— Ба, да и петушок-то наш!

Вконец измученных, замордованных, ничего не видящих и не соображающих Николая и Фросю усадили

за стол, под образами. На бледном лице невесты ничего не отражалось, кроме бесконечной усталости и нетерпеливого ожидания, когда же все это кончится. И вдруг печальные ее глаза оживились: в центре стола возвышались горы свежих и моченых яблок; солнечные зайчики играли на круглых и румяных их щеках, и казалось, что яблоки смеются. И еще думалось, что это сама земля явилась в праздничный день перед людьми в образе яблок и, сияя, говорит им: «Вот вам, люди добрые, дары мои! Берите их!» Мысль эта разбудила Фросю, она ухватилась за нее с бессознательной радостной надеждой на что-то доброе и хорошее для себя. Ей хотелось взять одно яблоко и прижать к своей груди. Фрося не видела разверстой черной пасти Ивана Мороза, его выпученных глаз, устремленных на нее. Она подняла голову в тот момент, когда из этой страшной черной дыры исторгнулось:

— Горрррька-а-а-а!

Солнечные зайчики, испугавшись, убежали куда-то, в избе стало темнее, яблоки перестали улыбаться, все вокруг волнообразно качнулось и поплыло...

— Горь-ка-а-а! — подхватило несколько глоток, и множество маслено-прилипчивых, бесстыжих глаз прилепились к ее лицу. — Горька-а-а!!!

Жених и невеста повернулись друг к другу, неловко соединили на одно лишь мгновение слепые, безглазые лица и тут же, враждебные друг другу, отвернулись.

— Чур, изба, смолкни! — заорал Петр Михайлович, вскочив на лавку и потрясая над головой гостей двупалой рукой. Добившись тишины, продолжал: — Дорогие вы наши сватушка и свахонька и все гостечки! Наши молодые-новобрачные хотят сами просить прощения у отца с матерью. Никто вашей молодки не крал. Наш петушок сам ее обласкал-обворожил и к себе на насест пригласил. А она и согласилась!

— Правильна-а-а! — закричали гости.

Все вышли из-за стола, расступились перед молодыми. Небывало поворотистый и ловкий Петр Михайлович вывел их на середину комнаты. Настасья Хохлушка постелила им под ноги дерюжный коврик. Дружка, торжественный и строгий, вдруг сделавшийся в эту минуту странно похожим на отца, на которого в действительно-

сти он нисколько не походил ни лицом, ни фигурой, ни характером, возгласил:

— Дорогие сроднички, сватушки и свахонька! Наши новобрачные — на нови, им денежки надобны — козла купить, в баню воду возить...

— ...на корытце помыться, на шильце, на мыльце! — закончил за Петра Михайловича Иван Мороз, плутовато подмигивая молодым.

Николай и Фрося поклонились.

Михаил Аверьянович, добрый и веселый, первым подал голос:

— Детки мои, Микола и Вишенка наша дорогая! Даем мы с матерью вам телку-полуторницу и двадцать пять рублей деньгами... на шильце, на мыльце! — И он засмеялся, обливаясь по-детски счастливыми слезами.

— Вот это да! — ахнул Мороз, подзадоривая гостей и не спуская хитроющих глаз с тестя, который не спешил объявлять о своих дарах.

Отовсюду кричали:

— Овцу-перетоку!

— Овцу-старицу!

— Ярчонку чубарую!

— Поросенка!

— Десять кур-молодок отдаю любимой свояченице! Пушай угощает свояка яичницей — гаркнул Мороз, косясь на скуповатую жену: в батю, видать пошла. Но та не прогневалась. И Мороз окончательно расхрабрился: — А ты что ж, отец, молчишь? — крикнул он тестю.

Илья Спиридонович поморщился, заерзал на лавке, стрельнул в зятя недобрый взглядом и натужно кашлянул:

— Не твоего ума дело. Без тебя знаю, когда и что...

Его выручил Митрий Резак. Он поднял стакан и, ернически морщась, закричал:

— Дружка, черт культяпый! Это чем же ты нас потчешь? Зелье какое-то, полынь-трава!

— Подсластит! — заорали догадливые мужички.

— Горька-а-а!!!

И опять повернулись, соединившись на миг, слепые, холодные лица новобрачных. Маленький нервный Николай все время облизывал сухие, воспаленные губы.

А потом на долю молодых выпало еще одно тяжкое

испытание. Целуясь, они должны были еще и пригваривать. Николай сделал это быстро и зло:

— Я, Николай Михайлов, целую Фросинью Ильиничну... — Закончить всю присказку у него не хватило духу, и он умолк.

Теперь очередь была за Фросей. Бледность на лице ее сменилась густым румянцем, глаза увлажнились, и вся она вдруг преобразилась, сделавшись прежней Вишенкой, свежей, сочной, сияющей.

— Я, Фросинья Ильинична... — она немного помлчала, прокашлялась и закончила сильным, звонким голосом, — целую Николая Михайловича при тятеньке, при мамыньке и при всех вас, гости дорогие.

— Горько!

— Горько!

— Горько!

И тут случилось с Фросей что-то непонятное. Она порывисто повернулась к мужу и стала осыпать его торопливыми бесчисленными поцелуями. Никто из гостей и родных Фроси не знал о причине этой неожиданной и резкой перемены, никто не заметил, как из-за стола, красный и потный, выскочил Иван Полетаев, как проводила его Фрося злым, мстящим взглядом. Гости, разгоряченные водкой, криком, возбужденным видом невесты, орали:

— Горько!

— Горько!

— Горько!

Встревоженный странным состоянием дочери, Илья Спиридонович поспешил увести гостей к себе. Там их встретили тоже «покойником» посреди избы. Друга бесцеремонно поднял его из гроба — на этот раз «покойником» был гармонист Максим Звонов, тоже зять Рыжовых. Он немедленно подхватил свою саратовскую, развернул радужные мехи, притопнул и пустился в пляс, пригваривая:

Ах, теща моя, голубятница,
Наварила голубей,
А ноне пятница!

— А ну-ка, теща, сваха дорогая, — закричал Петр Михайлович, — угощай да не скупись, что в печи — на стол мечи!

В шуме, в криках «горько», в пляске не заметили, как в избу втащили «ведьму» — какую-то бабу, вымазанную сажей и одетую в шубу, вывернутую наизнанку. Баба была увешена тряпьем, опутана веревками, в руках у нее — огромная сковорода с яичницей. Четверо здоровенных мужиков тянули за веревку и горланили:

Эх, солдаты, — сильна рота —
Тащат черта из болота.

И все, кто был в избе, дружно подхватили:

Эх, дубинушка, ухнем!
Раззеленая сама пойдет,
Сама пойдет!..

«Ведьму» подтащили к столу. Она поставила яичницу и приняла из рук Ильи Спиридоновича стакан водки.

Гульбище продолжалось до самого вечера и пошло на убыль лишь тогда, когда дружка увел молодых домой. Там их угощали особо. Угощение длилось очень долго. Потом Фрося заметила, как деверь перемигнулся с одной из назначенных свах, и, поняв весь ужасный, стыдный смысл того, что должно сейчас произойти, зябко передернулась вся и, холодея душой, ждала своей участи, как ждет ее обреченный.

— Ну, а теперь молодым нашим пора спать! — объявил Петр Михайлович.

После этого он с одной из свах, с той, с которой перемигивался, повел под понимающими, многозначительными взглядами гостей Николая и Фросю за перегородку, где уж была приготовлена, разобрана постель — та самая, которую столько лет и с таким великим трудом, явно и тайно от скуповатого мужа, готовила для своей младшенькой заботливая Авдотья Тихоновна.

Наутро дружка и бабка Сорочиха, без которой не могло обойтись ни одно сколько-нибудь заметное событие на селе, пришли будить молодых. Нимало не стесняясь, старуха растолкала их, стащила нарядное стеганое одеяло и начала внимательно разглядывать простыни.

— Бабушка! — закричала не своим голосом Фрося. — Да как же тебе не стыдно!.. Что вы с мной делаете

те?.. Коля... да прогони ты их отсюда, ради Христа!.. Господи, да что же это? — Фрося спрятала лицо в подушку.

Не то испугавшись, не то устыдившись, Петр Михайлович поспешил скорее увести свою более чем любознательную спутницу из спальни. Вслед за ними вышел и Николай. Фрося наотрез отказалась выйти на люди. К ней за перегородку юркнула старшая сноха Харламовых, положила на голову невестки свою теплую, пахнущую свежим тестом и парным молоком руку. Фрося резко повернулась и, обхватив шею молсдой женщины, прижала ее голову к своей груди.

— Дарьюшка, родненькая!.. Что же это? Пропаду ведь! Зачем они так?.. Утоплюсь... ей-богу, утоплюсь! Мне и во сне-то омут снился! Боюсь: я за себя, Дарьюшка!..

— Молчи, молчи. Это пройдет. И у меня так же все было... — говорила Дарьюшка, а сама все крепче прижималась к Фросе. — Будем с тобой вместе, как сестры! Хорошо?

А за столом, накрытым красной материей — символ совершившегося благополучного брака, уже полным ходом шло гулянье, второй и далеко не последний день свадьбы. Фрося оделась лишь тогда, когда нужно было вновь идти в родительский дом. До своего и в то же время уж не совсем своего подворья шла молча, спрятав в себя что-то такое, отчего, глянув на нее случайно, люди трезвели и начинали тихо, тревожно перешептываться между собой.

Авдотья Тихоновна, встретив дочь и зятя, долго и пристально глядела в их лица, стараясь угадать, все ли хорошо, все ли ладно у них. Но ничего не поняла. Вздыхнула, повела гостей в избу.

23

Долгие-предолгие зимние ночи. За утренней зарей по пятам следует вечерняя. И в ясные, солнечные дни чувствовались, виделись сумраки раннего утра и раннего вечера одновременно: на смену красновато-холодным приходили жидко-фиолетовые, которые, сгущаясь, становились темно-синими прозрачными под звездами ступенного ночного неба.

В харламовскую пятистенку свет едва процеживался через окна, покрытые серым мохнатым слоем рыхлого льда. Лишь в проделанные мальчишескими языками и носами круглые крохотные зрачки кинжальчиками просовывались тонкие пучочки солнечных лучей, в которых мельтешила золотая россыпь пыли. Изба, полутемная, полным-полна детворы: невестки хорошо знали свое дело и в каких-нибудь пять-шесть лет увеличили население Харламовых втрое. У старшей снохи уже было два сына и две дочери: Иван, Егор, Любаша и Машутка. А теперь Дарьюшка ходила пятым. У них с Фросей шло как бы негласное состязание: младшая сноха никак не хотела отставать от старшей. У нее совсем недавно родился третий ребенок. Дочь назвали в честь прабабушки Настей, сыновей — Александром и Алексеем — по святцам.

Третий год шла война. Николай и Павел были на фронте — один где-то под Перемышлем, а другой — на Карпатах. Редко приходили от них письма. Фрося, неожиданно для всех необыкновенно привязавшаяся к мужу, все порывалась поехать проведать его, говорила свекру и свекрови, что ей уже дважды приснился нехороший сон и что поэтому она должна непременно поехать. Подобралась для нее и спутница, давняя подруга Аннушка, муж которой Михаил Песков служил в одном полку с Николаем. Настасья Хохлушка, суровая и мудрая старуха, не отпустила.

— Куда вас нечистый понесет, — говорила она снохе и ее подруге, — в этакую-то даль? Щоб вам позылазило! — И обрушивалась на невестку: — Мало тебе трехто! За четвертым собралась, глупая ты бабенка! Пожалели хотя б отца-то! Измучился он с нами — ни дня, ни ночи не знает покою! Ой, лишенько!..

Из горницы, густо населенной детворой, под скрип зыбок, подвешенных к бревенчатым маткам потолка, слышалось мурлыканье Михаила Аверьяновича:

Ах, ту-ту, ах, ту-ту,
Растутушечки ту-ту!

Или:

Ах, качи, качи, качи,
Прилетели к нам грачи.
Сели на воротца,
Начали бороться!

Дед сидел на табуретке и, как фокусник, делал сразу же несколько дел: одною ногой качал люльку с крохотным сонулей Ленькой, другою притопывал в такт немудреной своей песенке, а на руках у него было по ребенку; одного из них Михаил Аверьянович, обняв левой рукой, подбрасывал на коленях, а другого «тутушкал» на широченной ладони правой руки. Ребенок, взлетая точно мячик, радостно гыкал, обливая дедушкину руку обильно стекавшей с красных губ слюною. Дедушка тоже смеялся и просил Саньку, притулившегося у него на коленях:

— А ну-ка, Санек, спой мне про мышку!

Санька, худенький, рыженький и востроносый, как воробей, — вылитый батя! — сиял золотистыми веснушками и звонким, пронзительным голосом пел:

Мышка в кринку забралася,
Тама сливок напилася...

Дед и другие внуки и внучки подпевали:

Тра-та-та, тра-та-та,
Все под носом у кота!

Песни всегда порождали у детей дикое буйство. Подымался невыразимый ералаш, и, чтобы как-то немного угомонить детвору, Петру Михайловичу, обычно не выдерживавшему до конца необузданного ее веселья, нередко приходилось пускать в дело чересседельник, висевший для устрашения на стене. При этом чаще и больше всех доставалось Егорке — и не потому, что он озорничал больше всех, а просто потому, что Егорка был менее увертлив и не мог вовремя ускользнуть от осерчавшего отца.

На улицу детей не выпускали: не во что их было обуть и одеть. И весь этот «содом», как звала внуков и внучек Олимпиада Григорьевна, всю зиму, от первых морозов до первых проталин, сидел дома, как и большинство детей в Савкином Затоне. Где-то далеко-далеко шла война. Дети, как и все люди на земле, страдали от нее, но в отличие от взрослых не понимали этого.

Петру Михайловичу старики затонцы говорили с явной укоризной:

— Куда ты их, хохленок, наработал? Разуты-разде-ты, а вы все плодите со своей Дарькой.

Петр Михайлович, по обыкновению, отшучивался:

— А я-то тут при чем? Живу, сами знаете, у большой дороги, а там много мужиков ходит...

От Николая пришло письмо — из Челябинска, куда отвели их полк на переформирование. Теперь уж Фросю удержать никак нельзя было — собралась и уехала. Когда вернулись из Баланды провожающие, Олимпиада Григорьевна, умиляясь, молвила:

— Господи, любит-то как она его! В какую дальнюю дорогу собралась!

Михаил Аверьянович поглядел на тихую и кроткую свою жену, но ничего не сказал. Лишь вздохнул. Весь месяц, пока не было Фроси, они прожили в большой тревоге за нее и только теперь поняли, какой близкой и родной стала для них младшая сноха.

Фрося вернулась без предупреждения, и потому ее никто не встретил на станции. Ее торопливые, легкие шаги услышали лишь тогда, когда она подходила к сениям и когда под ее ногами звонко хрустнули первые сосульки, сорвавшиеся с соломенной крыши. Она вбежала в дом необыкновенно оживленная, румяная и холодная, как осеннее, схваченное морозцем яблоко. Синие на обожженном солнцем лице глаза ее светились счастливо и загадочно.

«Привезла», — безошибочно определила Настасья Хохлушка, сердито поджав губы.

А Фрося, по-девичьи свежая, яркая, уже сидела на печи, облепленная со всех сторон детьми — своими и Дарьюшкиными. Ребятишки хвастались друг перед другом конфетами, боролись за лучшее место возле Фроси, от которой веяло далекой дорогой и еще чем-то непередаваемо нежным и милым. Дети жались к ее груди, тыкались мокрыми носами в темные косы. А она, сильная, здоровая, говорила и говорила без умолку, рассказывая о своем путешествии. Потом, согревшись, почувствовала усталость, закрыла глаза и заснула. Дети притихли. Босые ноги Фроси уткнулись в горку сухих яблок, сдвинутых в угол и источавших чуть грустноватый, сладостно терпкий дух осеннего сада: багряных листьев, коры, умирающих трав.

Печь дышала теплом и уютом. Зимой она — любимое

прибежище детей — согревала их, полунагих, а то и вовсе нагих. Зимними вечерами дети слушали тут такие же, как эти вечера, долгие сказки старой Настасьи Хохлушки про ведьм, домовых, летунов, водяных и леших. Сюда по утрам любвеобильная Дарьюшка, таясь от свекрови, совала им из-за пригубка горячие — прямо со сковороды — вкусные блины или лепешки. С печки детвора наблюдала за проказами забавных ягнят и козлят, только что явившихся на свет и спасавшихся от лютой стужи в избе.

По воскресным дням печь преображалась. На нее забирались и взрослые: женщины — для того, чтоб «поискаться» и посудачить о том о сем; Петр Михайлович — поиграть с ребятишками. Над судной лавкой сквозь длинный утиральник подымался соблазнительно вкусный пар — под утиральником «отдыхали» только что вытащенные и скупом помазанным конопляным маслом пироги с капустой, картошкой, калиной и, конечно же, яблоками. Отдыхала и печь, молчаливо величественная, как хорошо, всласть потрудившаяся деревенская баба; она все сделала, что нужно было людям, и теперь могла малость вздремнуть. Из темного, приоткрытого дырявой заслонкой зева печи, из многочисленных ее печурок и отдушин исходили потоки горячего воздуха. И казалось, что печь, прикорнув, ровно и спокойно дышит.

Однако в ту пору, о которой идет речь, она была далеко не такой доброй и ласковой к людям. Дети — для них она существо почти живое, чуть ли не мыслящее — вдруг заметили, что день ото дня ее протапливают все хуже и хуже, неохотно — так только, для порядка, — бросят поленца два да кизячок, и все. Печь, насупленная, как мачеха, стоит и сердито, хмуро смотрит пустыми темными глазницами печурок в мерзлое окно напротив, и окно это уже не озаряет ее, как прежде, солнечной, ясной улыбкой. В такие дни взрослые делаются раздражительнее. Старая Настасья Хохлушка гремит ухватами и без всяких видимых причин кричит на снох, на молодых и старую, Олимпиаду, а Петр Михайлович, утратив обычную для него веселость, исчезает куда-то и возвращается ночью — всегда пьяный. Дедушка все реже ласкает внуков, уезжает на Буланке в сопровождении старо-

го и невозмутимого Жулика на целую неделю, и в доме очень ждут его.

Ждала и печь. К приезду Михаила Аверьяновича ее натапливают чуть ли не докрасна. Как только у ворот послышится скрип саней и глуховатое, характерное дедушкино покашливание, женщины торопливо набрасывают на плечи одежду и с непокрытыми головами выскакивают во двор. Через минуту они уже волокут что-то в избу в холодном, припудренном поземкой мешке. Дети подымают галдеж и, сдвинувшись к самому краю печи и рискуя упасть на пол, поглядывают оттуда нетерпеливыми оченятами, требовательно разинув рты, — в эту минуту они удивительно напоминают голых, еще не оперившихся птенцов, вытягивающих из гнезда шеи и раскрывающих голодные желтые клювы, властно прося пищи.

Появление дедушки Михаила едва ли не самый радостный момент в жизни ребятни. Дети хорошо знают, как все это произойдет. Вот сейчас распахнется дверь, и они захлебнутся густым паром, ворвавшимся с улицы в избу, и, когда пар немного рассеется, увидят дедушкину бороду — кудрявую и седую от инея и в прозрачных сосульках. Она пахнет морозом, ржаным хлебом и бесконечной добротой. Дедушка поочередно окунет в нее смеющиеся мордочки внуков и внучек и начнет одаривать конфетами с махрами, пряниками и еще бог знает какими бесценными дарами! Потом невестки помогут ему раздеться, и дедушка, усталый, довольный собою и всеми остальными, легко взберется на печь, где сразу же станет вдвое теснее и в пять раз радостнее. А печь снова оживет. Она будет дышать на морозное окно весело и жарко. Ледок на окне растает, потекут по стеклу счастливые слезинки, в избу просунется беспокойный и озорной солнечный луч, на печку из-за прирубка скользнет юркий зайчик, запрыгает, начнет скакать, щекоча ребячьи лица. У судной лавки захлопочут над квашней и противнями Дарьюшка и Фрося, запахнет мукой, дрожжами, сытостью. И печь снова будет дышать ровно и спокойно...

Дети не любят постоянных величин и постоянных красок. Быстро меняющиеся с возрастом понятия, неутолимая и все возрастающая жажда новых впечатлений требуют непрерывного движения, непрерывных измене-

ний, обновок. Летом ребятишки с нетерпением ждут зимы, зимою — весны, весною — лета, летом — снова зимы. И никто так бурно не реагирует на смену времен года, как дети.

Деревенская русская печь хороша для них уже тем, что в течение одной зимы она несколько раз сменит свое обличье. Поздней осенью печь похожа на невесту: только что побеленная, чистенькая — ее приготовили для трудных дел: заменили износившиеся кирпичи, прочистили дымоход, заново выложили под. И дети ждут, когда ее начнут топить, чтобы поскорее взобраться на нее, теплую, уютную. Еще позднее на печь толстым слоем насыпают яблоки с зерновки. Вначале они жесткие и холодные, и дети радостно визжат от обжигающей свежести. Два-три дня спустя над начинающими вянуть и морщиться яблоками подымается, струится еле видимый парок, и ребятишки, широко раздувая влажные ноздри, дышат им, пьянеют и тотчас же засыпают. А когда яблоки становятся совсем сухими и легкими, их сгружают в мешок, и на печи опять просторно, светло. Где-то в середине зимы на печь кладут снопы остро пахнувшей конопли. Дети шумно взбираются на них, кувыркаются, хохочут, шальные от этой новизны. Потом конопля надоедает им, и ребятишки начинают канючить: «Мам, скоро, что ли, ты сымешь их?» Конопля убирается — и детям опять радость: печь обновляется, на ней хорошо. Вечером в избу натаскивают много соломы, от нее веет морозцем, ригой, овечьими орешками, березкой и еще чем-то таким, чему, пожалуй, и названия нет, но что неудержимо влечет на заснеженный, истоптанный скотиной двор, посреди которого стоят нагруженные кормами сани, а возле саней копошатся в мякине крохотные взъерошенные воробушки. Дети прыгают прямо с печки на солому, зарываются в ней, горланят, устраивают кучу малу...

На следующее после возвращения Фроси утро дети поднялись ни свет ни заря: нынче будут печь жаворонков — изображения из теста этих первых славных вестников весны. Дети еще затемно заняли свои места за грубкой и с жадным любопытством наблюдали за тем, как их матери разделявают скалками на длинном и широком столе тесто. Ничего, что тесто темное, почти черное, из ржаной, плохо размолотой муки — дедушке,

видать, не удалось купить белой, пшеничной, да где теперь ее купишь, — важно, что жаворонки будут. Настенька, которой досталось местечко на самом краю печи, судорожно ухватилась худыми ручонками за деревянный заступ и не мигаючи следила зоркими, как у мышонка, глазами за матерью, которая, раздумявшись, отбрасывая то и дело темную прядь волос с вспотевшего лица, быстрыми, старательными пальцами выводит на распластанном куске теста четкий рисунок весенней птицы: вот уж возникла головка с хохолком, с коротким клювом, вот растопыренные крылышки, а вот и веерок хвоста. Настенька шевелит тонкими, бледными губами, боясь, что забудет песенку, которую она должна нынче спеть с жаворонком в руке. Ее брат Санька тоже шевелит губами. Фрося время от времени подымает голову и улыбается дочери и сыну. Настеньке и Саньке кажется, что мамины жаворонки самые красивые, потому что похожи на маму. У тети Дарьи не такие — все почему-то напоминают толстяка Егорку. Настенька беспокоится, как бы Егорка или старший его брат Ванюшка не отняли у нее птицу. Впрочем, Ванюшку она боится зря — он хороший и умный, не обидит.

Когда жаворонки были уложены на смазанные маслом противни и исчезли в жаркой утробе печи, Фрося попросила Петра Михайловича:

— Петро, остриг бы ребятишек-то. Праздник ведь для них, а они заросли, как волчата.

— И своих тоже остриги, — отозвалась и Дарьюшка. — Завшивели все.

На это надвигающееся, в сущности-то очень незначительное, событие печь неожиданно откликнулась дружным ревом Саньки и Егорки. Сообразительный Ванюшка выскользнул из дому и укрылся где-то у Полетаевых.

— Ну их, неколи мне, — сказал Петр Михайлович, собираясь куда-то уйти.

Но Фрося и Дарьюшка настаивали на своем. Их поддержал Михаил Аверьянович, завершивший утреннюю уборку скотины и вошедший в избу:

— Остриги, остриги. Будет лениться-то.

Петр Михайлович нехотя согласился. При этом серые глаза его хитренько подмигнули.

— Ну, ладно. Принесите ножницы.

Через минуту двухпалая рука его уже опробовала большие ножницы, те, которыми на селе стригут овец.

— Ну, кто первый?

Охотников что-то не объявлялось.

Петр Михайлович ловко подхватил цепкими, хорошо натренированными пальцами холщовую рубашонку Саньки и стащил племянника с печки. Санька пронзительно завизжал. Не обращая никакого внимания на этот непонятный ни женщинам, ни деду протест, Петр Михайлович усадил мальчишку на табуретку, зажал, точно тисками, между своих ног и, пощелкав ножницами, начал стричь. Ножницы были тупые и не стригли, а выдергивали из головы по волосинке, так что было очень больно.

Санька не выдержал и укусил Петра Михайловича за ляжку. Тот вскрикнул от неожиданности, а затем, ослабившись и удерживая племянника, серьезно осведомился:

— Что? Не лю-у-убишь?

И, наградив в заключение Саньку подзатыльником, оттолкнул его, наполовину остриженного, от себя.

Оказавшись на свободе, Санька юркнул под кровать, где уже сидели, посапывая, Егорка и Любаша.

Не обнаружив сыновей на печи, Петр Михайлович облегченно вздохнул, оделся и вышел из дому, сопровождаемый руганью женщин и укоряющим взглядом отца.

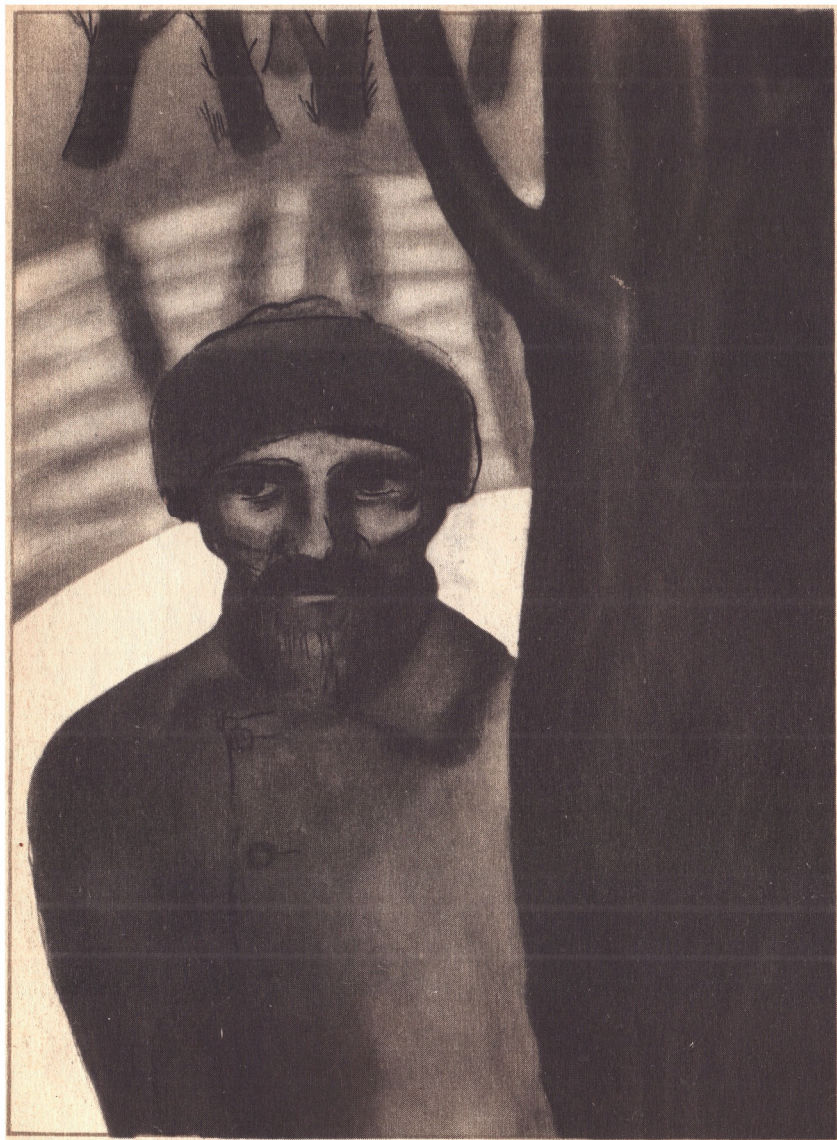
— Эх, Петро, Петро! Нашел, на ком зло срывать! Что с тобою? — вздохнул Михаил Аверьянович и вслед за сыном вышел во двор.

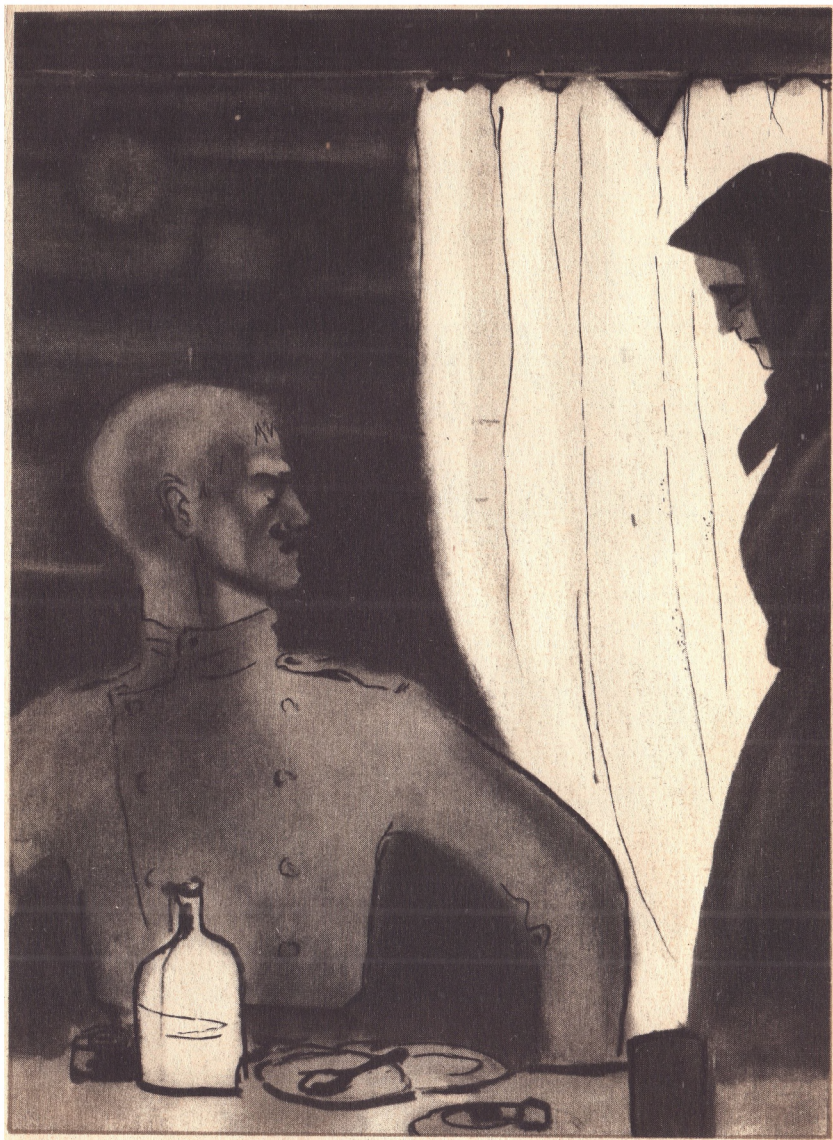
Вскоре из дому выскочила шустрая Настенька. Она держала в руках только что вынутого из печки, горячего еще, подрумяненного, надувшегося и потерявшего прежнее изящество жаворонка и сияла безмерным счастьем.

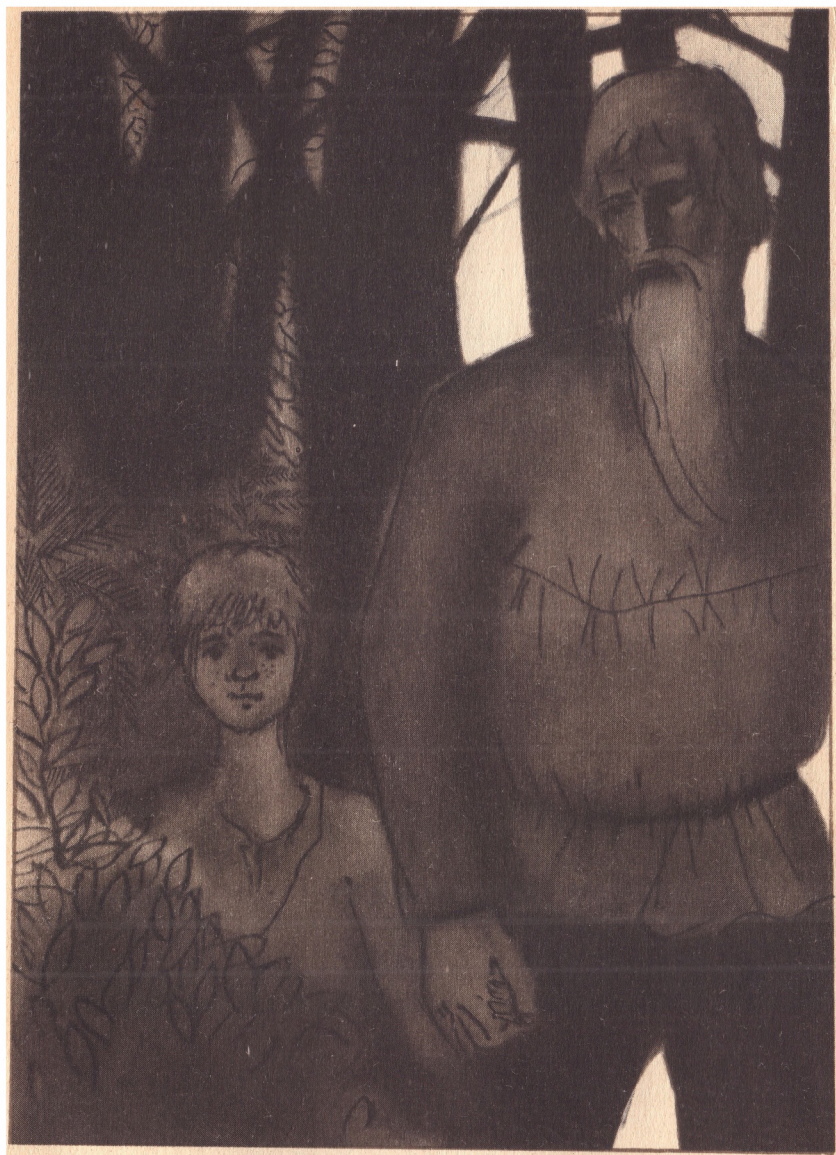
— Дедушка, подсади меня на поветь.

Михаил Аверьянович поднял ее и подбросил на плоскую, белую от снега крышу навеса, с которой чуть ли не до самой земли свисали сосульки. Вытянув руки с птицей, Настенька затараторила частым речитативом:









— Жаворонок, прилети,
Красну весну принеси:
Нам зима-то надоела,
Весь хлеб у нас поела,
Зима, зима,
Ступай за моря —
Там пышки пекут,
Кисели варят,
Зиму манят...

Кши, полетела!..

Настенька подпрыгнула и выпустила жаворонка из рук. Бедная птица упала прямо в свежий курящийся коровий блин. Увидя такое, Настенька залилась слезами. На ее плач из дому выбежала мать, приняла дочь на руки и, смеясь и утешая, понесла в дом.

— Бог с ним, доченька! Не плачь. Я тебе еще испеку. Не плачь, моя золотая!

Вскоре Фрося и Настенька опять вышли во двор. Настеньку дед снова подбросил на поветь, а Фрося пошла в хлевушок за киззяками. Она не пробыла там и трех секунд, как выбежала обратно и, бледная, насмерть испуганная, со стоном юркнула в избу.

— Что с тобой, родимая? На тебе лица нет, — спросила бабушка Настасья, привыкшая первой встречать любую беду в доме и первой же отражать ее, насколько хватало сил.

Но Фрося не успела ответить: в дом торопливо вошел Михаил Аверьянович.

— Батюшка, что же это? — кинулась к нему Фрося.

— Знаю, видал. Успокойся...

Михаил Аверьянович выпроводил всех детей из кухни в горницу, встал на колени против образов и долго молился. Потом поднялся, покосился на окна, на дверь и сообщил, обращаясь к самой старшей из женщин:

— Беда, мать. Сын-то Павло дезертиром оказался. Ступай полюбуйся на сукина сына. В хлеве сидят с Иваном Полетаевым. Митрий Савельич поди не знает. Ванька, подлец, боится отцу-то на глаза показаться. У нас укрылся...

Пиада и Дарьюшка заголосили.

— Тише вы! — прикрикнула на них Настасья Хохлушка.

— Чтоб ни звука, — поддержал ее Михаил Аверьянович. — За такие дела головы сымают...

Он закрыл лицо руками и сидел так долго-долго. Потом резко поднялся и, огромный, принялся ходить по избе. Наконец остановился, сказал:

— Баню протопите, да пожарче. Вшей небось привезли эти герои — не оберешь. А ночью в старый погреб перейдут. На задний двор. А коли обнаружат, воля божья...

Фрося оделась потеплее и первой вышла на улицу. Пиада и Дарьюшка переглянулись, но ничего не сказали.

До позднего вечера Фрося пробыла у Рыжовых, или у «своих», как она обычно говорила, вернувшись от матери и отца. Там помогла по хозяйству Авдотье Тихоновне: перестирала белье, установила ткацкий стан, вымыла полы, сменила на бывшей своей кровати постель и прилегла на ней. Авдотья Тихоновна, все это время пристально наблюдавшая за дочерью, материнским сердцем своим поняла, что у Фроси не все ладно, что она что-то скрывает. Старуха, с минуты на минуту ожидавшая возвращения мужа, уехавшего на гумно за кормами для скотины, боялась заговорить о своей догадке вслух: она опасалась выдать дочь перед строгим Ильей Спиридоновичем. И все-таки спросила:

— Ты что же, доченька, домой-то не идешь? Вон уже и солнце скрылось...

Фрося ждала этого вопроса, ответила быстро, нервно и дерзко, с горькой обидой в голосе:

— А разве я не дома? Что вы меня гоните?

— Да кто ж тебя гонит, глупая? По мне, хоть все время живи с нами. Да ведь дети у тебя там малые. И что подумает сват Михаил-то Аверьянович?

Авдотья Тихоновна не сказала «сваха» и не назвала еще кого-нибудь из большой харламовской семьи, а сказала «сват Михаил» не потому только, что он был главою этой семьи, а прежде всего потому, что он был нравственным ее наставником, мерилом, по которому определялось как благополучие, так и неблагополучие в жизни семьи.

— Батюшка и слова не скажет, ежели я у родной матери одну ночь переночую. А за детьми Дарьюшка после-

дит. Она часто у матери остается, — отозвалась Фрося из горенки.

Она, как и старшая сноха Харламовых, звала Михаила Аверьяновича «батюшкой», подчеркивая этим особое почтение и уважение к свекру.

— Я ведь у вас не была с той поры, как от мужа вернулась, — добавила Фрося.

— Оставайся, оставайся, чего уж там. Да разве я...

— Как это оставайся?

У порога стоял Илья Спиридонович. Одною рукой обметая снег с валяных сапог, а другою стряхивая его с куцей бороденки, он подозрительно глядел колючими глазами на испуганно примолкнувшую жену.

— А ну, сказывай, что вы тут надумали? — резко спросил он, отворяя дверь в горницу. — Я вот вам «останусь!» Одевайся, да живо!

В ответ раздался такой дружный, согласный рев женщин, что Илья Спиридонович сам испугался, пробормотал в растерянности:

— Да замолчите вы и растолкуйте по-человечески, что случилось!

Женщины почуяли слабинку в его голосе и залились еще громче, а потом вдруг перестали плакать и, перебивая одна другую, обрушились на Илью Спиридоновича.

— Изверг ты, а не отец! — кричала Авдотья Тихоновна.

— Дочь родную гонит на ночь глядя. В кои веки собралась к вам! — вторила Фрося.

— Ну, ну, поорите тут, а я подожду маленько. — Илья Спиридонович хлопнул дверью и выскочил во двор.

Минут через пять он вернулся в избу, и прежней нерешительности его как не бывало. Заговорил, как всегда, твердо, зло и отрывисто:

— Поддался старый воробей ночным кукушкам. Они тебе накукуют — только растопыривай уши. Еще поорите мне! — и потряс перед Авдотьей Тихоновной свернутыми в восьмерку вожжами, прихваченными им на всякий случай из саней. — Ишь раскудахтались! А ты, раскрасавица, не хлюпай там носом! — обратился он к дочери. — Я из-за твоих фокусов-мокусов не хочу ссориться со сватом. Одевайся — и марш! Днем — милости прошу,

приходи, а ночью — домой, домой, разлюбезная моя дочь! А хошь, провожу до сватьев-то?

— Нет уж, тятенька, как-нибудь и сама дойду. Волков-то нынче поменьше стало, — приглушенно ответила Фрося, торопливо одеваясь.

— Что... что ты сказала? — грозно зарычал старик, почуявший в словах дочери обидный для себя намек. — Я тебе, тварь ты этакая, язык вырву за такие речи! Я тебе покажу волков!.. Вон из моего дома, мерзавка!

Авдотья Тихоновна хотела было вступить за дочь, но вовремя удержалась: в самое последнее мгновение она вспомнила, что старик уже крикнул два раза...

Фрося метнулась из избы и оказалась на улице в тот момент, когда во всех трех церквах ударили колокола. Кто-то рядом закричал:

— Пожар!..

Из домов выскакивали люди и бежали куда-то с ведрами, с лопатами, с топорами, баграми и вилами.

Фрося торопилась домой. Охваченная ужасом, она даже не могла плакать. У самой избы Харламовых оставилась: сердце зашлось, дышать было нечем. На улице от пожара светло. У ворот, в колеблющемся этом свете, стояли, скрестив руки на груди, Настасья Хохлушка, Пиада и Дарьюшка. Они тихо и тревожно переговаривались:

— Завидовка горит.

— А не в Поливановке ли?

— Нет, аль не видишь — в Завидовке.

— Никак, Савкиных дом. Пламя-то оттель вымахивает.

— Батюшки мои, а «галки»-то, «галки»!..

В освещенном пламенем ночном воздухе летали, кружась, «галки» — пылающие клочья соломы, сена, горящие щепки; метались потревоженные звоном колоколов голуби, красные в отсветах пожара.

Прикрывшись шалью, чтобы не видеть лиц свекрови и бабушки, Фрося шмыгнула через открытую калитку во двор, пробежала по-над завалинкой, на которой сидел старый Жулик и, вытянув морду, жутко выл.

— Жулик, молчать! — крикнула Фрося и тут же попятилась, увидев возле сеней человека. «Он!» — вздрогнула она, удивляясь тому, что он встречал ее тут, а

еще больше тому, что всего лишь за минуту до этого она знала, чувствовала, что обязательно встретит его, и потому-то прятала глаза перед родными.

«Уходи, уходи, уходи!..» — шептала Фрося, уже приближаясь к нему и инстинктивно разводя руками, как делает человек, который идет в темноте по лесу и боится натолкнуться на что-то.

В жесткой шинели, от которой пахло конским потом, махоркой и дымом, бородатый, он преградил ей дорогу, раскинул руки, и Фрося с ходу ткнулась ему в грудь, шарахнулась вправо, влево, но он не выпускал ее, говорил:

— Фрося, милая... Ну, погодь, погодь! Скажи хоть одно словечко!..

— Пусти... Иван Митрич! Погубишь ты меня! Пусти же! О господи!.. У тебя жена, постыдился бы...

Рядом снова завыл Жулик. Большая «галка» низко пролетела над харламовским двором, на миг осветила постройки, сани, лежащих за изгородью овец, осветила и лицо Ивана. Он зажмурился и невольно опустил руки. Фрося стремительно рванулась к двери сеней, и он услышал, как она накинула изнутри крючок, потом вбежала в избу и забарабанила в окно, зовя женщин. Иван по-волчьи скакнул в сторону и скрылся в темном заднем дворе, у погреба.

— Кто там? Это ты, Аверьяныч? — окликнули откуда-то сверху, и Полетаев узнал голос своего отца.

Митрий Резак, вооружившись лопатой, стоял на самой макушке сарая, прибившегося вплотную к харламовским хлевам, и следил оттуда за пламенем, боясь, как бы на его крышу не упала «галка». Он не знал, что его сосед вместе со старшим сыном Петром убежали в Завидовку на пожар. Не дождавшись ответа, Митрий Резак начал рассуждать сам с собой, что вообще было свойственно многим затонцам:

— Савкины горят. Ну и хрен с ними — не обеднеют! Путем их, злодеев! Сколько кровушки людской попили, зверюги!

Сын его Иван и Павел Харламов слушали через раскрытую дверцу погреба эту гневную речь и тихо, беззвучно посмеивались.

— Нет, ты все-таки, Ванька, объявись перед ним.

Ничего он тебе не сделает. Ведь он, кажись, и сам увильнул от японской?

— Пожалуй, отколотит.

— А ты что же, боишься?

— Стыдно будет.

— Перед кем?

Иван не ответил.

Несколько минут было тихо.

— А хочешь, я тебе устрою свидание с ней? — вдруг предложил Павел.

— С кем?.. Ты с ума сошел!..

— А ведь она все равно придет к тебе, — спокойно объявил Павел и, помолчав, добавил: — Не любит она брательника моего. А ты «с ума сошел»! Я знаю, что говорю! Не будет у них жизни, ежели он голову с войны принесет...

Фрося тем временем уже лежала в постели, забрав к себе под одеяло детей. Настенька, Санька и Ленька жались к ней.

И чуткий Санька спрашивал:

— Мам, что ты как дрожишь? Ты захворала, мам?

— Нет, сынуля. Я озябла. Придвинься ко мне плотнее. Вот так. А теперь усни.

24

Старый дом Савкиных, простоявший в Завидовке на центральной улице села без малого двести лет, сгорел начисто. Однако имущество, все добро, накопленное долгими годами, удалось спасти: ночью, во время пожара, его вытащили прямо на снег, а под утро, когда пожар потушили и когда от мокрых головешек лишь кое-где подымался едкий дымок, перевезли в новый дом Андрея Гурьяновича, недавно отделившегося от отца. Старики поселились у сына, и теперь Савкины опять собрались под одной крышей, с той лишь разницей, что верховодил тут уже не Гурьян Дормидонтович, а Андрей, которому помогал Епифан, по-уличному Пишка. Пишке каким-то образом удалось избежать мобилизации, и хозяйство их от войны не только не пришло в упадок, а еще и приумножилось: теперь у них было шесть лошадей, из которых два рысака, около десятка дойных коров, штук пятнадцать свиней, сотни три овец,

а курам, гусям и прочей мелкой живности Савкины и счет потеряли.

— Как бы не такие хдзяева, как мы с тобой, Кондратич, солдаты с голоду подошли бы на позициях, — с тихой важностью говорил своему приятелю Подифору Короткову Гурьян. — С твоего шабра Карпушки небось, окромя вшей, ничего не получишь. А туды ж, в люди настоящие метит! Ты б, Кондратич, покалякал с ним насчет сада-то. На кой он ему! Ничего там не родится. Крапива, чертополох, дурман да осокорь. Земля зазря пропадает. А нам для Пишки сгодилась бы. Семья у него теперь своя. Отделять пора. Оперился. А еще вот что скажу тебе, Кондратич: хочется доказать энтому хохлу, что мы тоже не лыком шиты, тоже в садах кое-чего смыслим!

Карпушкин сад, а точнее — земля под ним, давненько уж не давал покоя старому Гурьяну. Не раз предлагал он Карпушке купчую и неплохие деньги давал, но Карпушка не соглашался и поступал так скорее из упрямства, из принципа, нежели по высоким экономическим соображениям. «Лучшие отрубa захватил, полный рот земли напихал — и все ему мало. До моей тянется!» — думал он про Гурьяна. А своему другу, Михаилу Аверьяновичу Харламову, говорил:

— Вот погода, Михайла. Изничтожу этот проклятый осокорь, и сад мой взиграет, взбодрится не хуже твоего и зацветет вовсю. Ведь он — лихоманка его возьми! — осокорь этот, все земные соки своими корнями выцеживает. В нем, почитай, пять охватов в толщину-то будет. Доит землю, как годовалый жеребенок матку. Яблоням моим да прочей разной калине-малине пустые сиськи достаются. Вот они и зачиврили, похварывают, бедняжки. Ну, погода же, сатана, я тебя прикончу, измором возьму, кишки из тебя вымотаю! Околеешь!.. — И Карпушка в отчаянной решимости гневно стучал кулаком по стволу

Который уж год пытается он насильственным путем умертвить гордое дерево, но ничего у него не получается. Осокорь, поживший на свете не одну сотню лет и переживший не одно царство на земле, достигший не менее тридцати метров в высоту и метра полтора в ширину, крепко держался за породившую его землю и вовсе не хотел расставаться с жизнью. Он выбросил роскош-

ную, буйную свою крону к самому небу и весело шумел ею в вышине, глядел во все стороны на раскинувшийся перед ним и исчезающий в далекой сизой дымке огромный мир. Чего только не делал с ним Карпушка, к каким только злодейским ухищрениям не прибегал, чтобы сгубить дерево, а осокорь стоит себе да стоит! Сначала Карпушке думалось, что вот он подрубит вокруг ствола кору, и осокорь засохнет. Но не тут-то было! Осокорь и не помышлял сдаваться. Назло человеку он зацвел еще гуще, земные соки, спеша на выручку своему детищу, не удержиимо рванулись к ветвям прямо по древесине, а через месяц зарубцевалась и рана, оставив после себя только бугристое, узловатое кольцо.

«Ах, нечистая сила!» — дивился Карпушка, стоя у подножия непокорного великана, задирая голову кверху и соображая, что бы еще придумать такое и все-таки умертвить осокорь.

Однажды ранней весной, незадолго до того, как распуститься листьям, когда ветви деревьев были еще голые и только подернулись тончайшей зеленоватой дымкой пробуждающихся почек, Карпушка приволок в сад дюжины три бороньих зубьев и заколотил их все в ненавистное ему дерево, полагая, что осокорь захворает, почохнет-почохнет, да и помрет. Из пораненных мест обильно заструился прозрачный, как слеза, сок, и это обрадовало Карпушку. «Шабаш! Крышка!» — решил он, а через месяц не мог найти даже тех точек, где забивал зубья: ранки зажили, затянулись, а дерево зеленело, как всегда, буйно, весело.

Однако и Карпушка не отступал, проявив редкостную настойчивость. Изощряясь в своей мстительности, он придумал для осокоря новую пытку: выдолбил в стволе глубокую нишу, насыпал в нее древесного угля, того самого, которым на селе разогревают утюг и самовар, поджег его и стал ждать, что будет. С каждым днем ниша расширялась, она походила уже на маленькую черную пещеру, из которой днем дымило, а по ночам выпархивали красными бабочками искры. Но когда огонь добрался до питающих дерево жил, по которым из земли подымалась влага, он сразу же погас и не загорался более, что бы ни предпринимал хозяин сада.

— Ну, черт с тобой, живи! — молвил тогда Карпушка. — Люблю упрямых!

В конце концов он мог бы пригласить мужиков и спилить дерево, но в этом случае осокорь неизбежно упал бы на яблони соседей, за которые пришлось бы держать ответ.

Проходил год за годом. Сад хирел. Во дворе у Карпушки — шаром покати, в доме тоже. Правда, с помощью Михаила Аверьяновича он кое-как огоревал лошаденку: купил старого меринка на осенней ярмарке в Баланде, купил по сходной цене — за три красненькие, но поправить дела не смог. Корму хватало лишь до крещения, таскать по вязанке с чужих гумен — стыдно и небезопасно. К весне Огонек — так окрестил Карпушка меринка — отощает до того, что уже не может стоять на ногах. Тогда хозяин подвязывает его веревками к перерубу хлева, и Огонек висит этак до тех пор, пока на лужайке возле Кочек не зазеленеет травка — тогда Карпушка, Михаил Аверьянович, Петр Михайлович да Митрий Резак волокут его, полуживого, на эту лужайку воскресать. К тому времени, когда лошадь оклемается, подыметесь на ноги и ее можно запрягать в соху, земля уже высохнет, брошенное в нее семя даст скуднейший урожай.

Затонцы подсмеиваются над незадачливым хозяином, подсмеивается над собою и сам Карпушка, а на сердце бывает порою так-то муторно, что хоть волком вой.

«За что же, за какие грехи маюсь так? За что же ты, жисть, мучаешь меня? Да неужели я хуже других?» — спрашивал он себя по ночам. Иногда вскакивал с кровати, падал на колени и истово молился, а потом, горько усмехнувшись, безвольно опускал руки: в избе его и иконы-то не было...

На пожаре у Савкиных, в общей суматохе, Улька прихватила для своего соседа и схоронила под шубой маленькую иконку с изображением строгого Николы Чудотворца. Карпушка принял этот подарок от слабоумной, подивился в душе тому, как Улька обрадовалась и просияла вся. «Глупая, а помнит все хорошее!» — подумал Карпушка и чуть было не прослезился, растроганный. Он полагал, что Савкины не спохватятся такой мелочи, а ему, Карпушке, она впрок будет: как ни говори, а неудобно, когда в доме нет иконы, перед людьми стыдно.

Но Савкины спохватились. На третий день Гурьян, его сын Андрей, внук Пишка и урядник Пивкин, захватив

в качестве понятого Подифора Кондратьевича, в глухую полночь явились в Карпушкину хибару.

— Вот она! — хрипло и ликующе заорал Гурьян, едва переступив порог и освещая фонарем передний, правый угол комнаты.

Урядник, страшно серьезный, приготовился снимать допрос по всей форме. Но в этом не было никакой необходимости: Карпушка и не собирался отпираться — все рассказал, как было. При этом он лишь попытался найти хоть малое оправдание своему поступку, а заодно и сочувствие ежели не от Савкиных, то хотя бы от урядника. Заговорил горячо и совершенно искренне:

— Ваше благородие... господин урядник! Конечное дело, виноватый я. Чужая вещь и прочее... Но войдите в мое положение, гляньте: изба как изба, ничего себе, как у всех христиан, а углы пустые — помолиться не на хрен...

Карпушка примолк, испуганный оглушительным хохотом урядника. Тем временем Пишка стаскивал икону.

— Ну что ж, Карп Иванович, — тихо и как бы даже сочувственно заговорил Пивкин, борясь с разрывающим грудь смехом и вытирая мокрые глаза рукавом полушубка. — Придется судить тебя, а сейчас взять под стражу. Ничего не поделаешь — закон. Он требуется, чтоб было все как есть, по порядку.

Карпушка, понурившись, молчал.

— Зачем же судить, ваше благородие? — неожиданно вступился Гурьян Дормидонтович, посверкивая из густой и сивой волосни крохотными, лютыми своими глазками. — Сознался же человек. Судить не стоит. А вот проучить маленько не мешает. Ежели ваше благородие дозволят...

Далее уж Карпушка ничего не помнил. Очнулся он на рассвете у себя на полу в луже крови. Запекшиеся сгустки ее были у него во рту и в горле, и он долго еще выплевывал их на пол, силился подняться и не мог...

В ту же ночь урядник Пивкин и Гурьян Савкин наведались к Харламовым. Пивкин вошел прямо в избу, а Гурьян некоторое время оставался еще во дворе, и все

это время Жулик заливался неистовым лаем и, должно быть, очень удивился, что никто из хозяев не спешил к нему на помощь, чтобы или вдохновить, или, напротив, укротить его. Гурьян Савкин был в числе тех немногих затонцев, которых не любили в доме Харламовых. Жулик это хорошо знал и потому встретил Гурьяна Дормидонтовича крайне неприязненно, можно сказать, даже враждебно. Как бы там ни было, а Жулик нуждался в том, чтобы хозяева своим появлением одобрили его несомненно правильные действия, а потому лаял все с большим одушевлением.

Урядник же хоть и уверял, что забрел просто так, на огонек — Дарьюшка к тому часу поднялась замесить в квашне хлебы и зажгла коптилку, — ему никто не поверил, однако и не подал виду, что не поверил. Напротив, все старались проявить всяческое удовольствие в связи с неожиданным появлением важного гостя и опасались лишь того, как бы не пересолить в выражении радостных чувств, что могло усилить подозрение.

В доме сразу же проснулись все, в том числе и дети. Последние быстро перебрались на печь и в отличие от взрослых постреливали оттуда сердитыми, любопытствующими и вопросительными взорами. Егорка и Ленька потихоньку хныкали, Санька, Настенька, Любаша и Машутка почесывались, а Ванюшка, старший из детей, поглядывал на урядника откровенно злыми глазами. Очевидно, это было тотчас же замечено, потому что Ванюшку немедленно стащили с печки и спровадили в переднюю со строгим предупреждением, чтобы не высывал оттуда носа. «Не то выпорю!» — для верности пообещал Петр Михайлович, наградив сына легким предварительным подзатыльником.

Взрослые опасались не одного только Ванюшкиного взгляда. Все они знали, что старший сын Петра Михайловича был у беглых солдатиков, укрывшихся в старом заброшенном погребе, вроде бы как связным и выполнял какие-то поручения, иногда для этого ему приходилось бегать в соседние селения Панциревку, Салтыково, Кологриевку и Чаадаевку. Дедушка и отец то ласками, то уговорами, то угрозами пытались выведать у мальчишки, что это за поручения, но так ничего и не добились. Деду и отцу было обидно, что ничего не узнали, но и радостно за Ванюшку. «Кремень», — со скры-

той гордостью думал про него Михаил Аверьянович. «Молодчина!» — взволнованно шептал про себя герой Порт-Артура. И тем не менее Ванюшку удалили, помня золотое правило: предосторожность никогда не повредит делу.

Пока хозяева принимали эти нужные, с их точки зрения, меры, Пивкин продолжал разыгрывать роль безобидного гостя. Он охотно согласился пропустить предложенную чарку и, священнодействуя, обнюхивал корочку ржаного хлеба, не забыв подмигнуть заплывшим глазом харламовским снохам, молчаливо стоявшим у судной лавки. Чувствовалось, однако, что и урядник, и хозяева дома напряженно прислушивались к тому, что происходило во дворе. По удалявшемуся и приближавшемуся лаю собаки они определяли, где сейчас ходит оставшийся во дворе человек. И будь урядник более внимателен, он заметил бы, как лицо маленькой и робкой Олимпиады, сидевшей с детьми на печи, покрывалось мертвенной бледностью, когда собачий лай удалялся в сторону заднего двора; и в это же самое время Петр Михайлович начинал беспокойно стричь воздух двумя своими пальцами, что у него всегда было признаком большого душевного волнения; а Михаил Аверьянович подходил к двери, как будто для того только, чтобы прикрыть ее поплотнее, а на самом деле для того, чтобы лучше различить, что творилось во дворе; невестки у судной лавки прижимались друг к другу, крепко сцепившись руками у себя за спинами; старая Настасья Хохлушка выказывала излишнее усердие по части гостеприимства, подсовывая поближе к гостю закуски.

Но и урядник неплохо знал свое дело. Как бы между прочим, он осведомился о служивых, спросил, пишут ли письма и скоро ли обещают быть дома. При этом он не преминул ругнуть «проклятую войну», германского кайзера Вильгельма, австро-венгерского императора Франца-Иосифа и прочих зачинщиков кровопролития. Круглое, лоснящееся лицо его светилось добродушием и сочувствием к хозяевам дома. Он похваливал их сыновей за верную службу царю и отечеству и даже пожелал глянуть на их портреты. Так что Михаилу Аверьяновичу пришлось повести слегка охмелевшего блюстителя порядка в горницу, где на стене, рядом с образами

святых, висели в самодельных рамках фотографии Николая и Павла Харламовых.

Николай Михайлович снялся в мундире, очень важный, на погонах его четко выделены ретушером две лычки.

— Унтер-офицер, стало быть, — с завистью молвил Пивкин и невольно приподнял подбородок, точно находился в строю.

Дольше рассматривал он карточку другого сына Михаила Аверьяновича — Павла. Тот сфотографировался хоть и в полный рост, но в позе его ничего не было воинственного. Снят он не один, а вместе со своим земляком и соседом Иваном Полетаевым. Лицо последнего было захватано чьими-то пальцами, по шинели расплзлась большая капля — брызнул ли кто неосторожно, поливая герань на окне, или то была чья-то оброненная слеза — поди теперь узнай. Руки служивых лежали на эфесах сабель — кавалеристы.

— Экие молодцы! — похвалил Пивкин, а глаза его уже скользнули куда-то вбок, за голландку, потом за перегородку спальни, за шкаф.

Возвратившись в кухню, или заднюю избу, как зовется она в Савкином Затоне, урядник сделался еще оживленнее, поднялся на приступку печи и постращал детей вонючими, пропитанными сивушным духом усами, справился о здоровье у совсем оробевшей и онемевшей от страха Олимпиады; спустившись на пол, еще раз подмигнул невесткам и только после этого, заслышав близкий лай собаки и приближающиеся тяжелые шаги за дверью сеней, торопливо поблагодарил хозяев за угощение и поспешно вышел.

Во дворе к нему присоединился Гурьян, направлявшийся было в избу.

— Ну как, Дормидоныч?.. Да цыц ты, холера! — шумнул на Жулика, который уж хрипел в избытке ярости, Пивкин. — Нет?

— Нет, ваше благородие. Должно, у Митрия. Можя, зайдем?

— Не, лучше потом. Спугнули зверя...

Они вышли за ворота. Постояли там, о чем-то еще посоветались. Затем направились куда-то. В доме слышно было, как все глуше скрипел снег под их удаляющимися шагами.

В избе Харламовых долго еще стояла тревожная тишина, которую никто не решался нарушить.

— Батюшка, дайте я пойду проведаю, как там, — наконец сказала Фрося и, испугавшись собственной решимости, примолкла, опустила глаза, очевидно, для того только, чтобы не видеть, как отнесутся к ее намерению все остальные.

— Пойди, доченька, да осторожнее, — согласился Михаил Аверьянович и сурово поглядел на мать, жену и старшую сноху, как бы заранее пресекая возможное осуждение с их стороны поступка младшей невестки.

Но ни мать, ни жена, ни Дарьюшка даже виду не показали, что они знают о Фросе нечто такое, за что бы можно и должно ее осуждать.

— Поди, поди, милая, — отозвалась с печки Олимпиада Григорьевна, — да горшок молока отнеси им. На окне есть неснятое.

И тем не менее старая Харламиха, Настасья Хохлушка, накинув шаль, собралась сопровождать сноху.

— Не ровен час... — пробормотала она невнятно, первой выходя в сени.

Минут через десять они вернулись.

— Слава те, господи, шукав той антихрист, да усе напрасно! Живы и здоровы наши хлопцы! — сообщила старуха.

А Фрося прямо от порога подлетела к свекру, обняла за шею, принялась целовать его, а потом, как бы вдруг опомнившись, нахмурилась, смутилась, сказала:

— По селу мирской бык гуляет, Гурьян, страх как ревет... Я как услышала, прижалась к бабушке... Ужас как боюсь его!

Не скоро еще в доме Харламовых погасили свет.

А наутро Савкин Затон обежала новость: мирской бугай по кличке Гурьян насмерть забодал прежнего своего хозяина — восьмидесятипятилетнего Гурьяна Дормидонтовича Савкина. Его обнаружила Подифорова Меланья, вышедшая пораньше к Кочкам за водой для стирки белья. Он лежал весь измочаленный в крошеве красного от крови снега.

Никто не знал подробностей гибели затонского неко-
ронованного владыки. Говорили разное, отыскивались
«очевидцы», которые плели черт знает что. Бабка Со-
рочиха, например, уверяла, что покойнику накануне при-
снился вещий сон, из коего он узнал о близкой своей
смерти и не захотел ждать, а сам пошел ей навстречу, и
смерть явилась к нему в образе бугая.

В действительности же было вот как.

Проводив урядника до его дома, Гурьян Дормидонто-
вич, по своему обыкновению, не пошел сразу к себе, а
начал бродить по улицам и тихим проулкам, приглядыва-
ваясь к чужим дворам, приюхиваясь к чужой и всегда
подозрительной для него жизни. Такой обход он считал
для себя обязательным и совершал его каждую ночь, не-
смотря на свой преклонный возраст.

Мирской бык тоже иногда по ночам шлялся по селу,
но только по крайней необходимости. Поскольку он нико-
му в отдельности не принадлежал, то в зимнюю пору
его никто и не кормил и вообще не давал приюта на сво-
ем дворе. Больше того, всякий считал своим долгом про-
гонять Гурьяна подальше от своего подворья, и бедному
животному приходилось самому добывать себе кров и
пищу. То и другое Гурьян в достатке находил на гум-
нах, где и проводил большую часть времени. О нем вспо-
минали лишь тогда, когда чья-либо коровенка настойчи-
во попрашивала жениха. Гурьяна пригоняли в село, пу-
скали для свидания с Буренкой или Лысенкой во двор,
а ночью выпроваживали; причем делали это не совсем
вежливо, нередко пуская в ход не только кнут, но и ду-
бину, так как Гурьян решительно не изъявлял никакого
желания по доброй воле расставаться со своей под-
ругой.

Встреча со старым хозяином у Гурьяна случилась
именно в тот момент, когда бугай был грубо изгнан со
двора Подифора Кондратьевича и возвращался со сви-
дания в самом дурном расположении духа. Гурьян не
скрывал своего состояния и время от времени издавал
предупреждающие грозные октавы. Рев его сопровож-
дался треском повергаемых плетней и заборов, к кото-
рым Гурьян, по понятным причинам, не мог питать дру-
желюбных чувств. И не приведи господи человеку столк-
нуться с ним в такую минуту! От переполнявшего гнева
в утробе Гурьяна воспалилось, его одолевала жажда, и

бык спускался с пригорка к Кочкам, где над черной прорубью подымался холодный пар.

Гурьян же Дормидонтович тем временем взбирался на пригорок, направляясь к Карпушкиной хижине, чтобы послушать у окна, что там и как...

Бык, завидев человека — существо, крайне для него враждебное, — остановился, угнул темную лобастую голову и, трубя, начал выбрасывать копытами снег — возле него взметнулось белое колючее облако. Острые снежинки ударили в лицо Савкину, и старик тоже рассвирепел.

— Уходи, Гурьян! — крикнул он быку.

Гурьян не свернул с тропы, а быстро темной страшной громадой двинулся на человека. Савкин не дрогнул, не отбежал. Под шубой знакомо и могуче ворохнулись, вспухли, взбугрились мышцы, к пальцам, вискам и глазам прихлынула кровь. Ноги сами собой раздвинулись, сделали стойку, колени чуть подогнулись, пружиня. И в тот короткий миг, когда борода старика шевельнулась от горячей струи воздуха, вырвавшегося из красных ноздрей зверя, он успел ухватить железными своими пальцами за толстые короткие рога, а потом неимоверным усилием мышц резко перекосил руки, крикнул, свернул бычьей шеей, и огромная бурая туша рухнула у его ног.

Но тут потерял равновесие и Гурьян Дормидонтович — подвели, видать, старые ноги, не выдержали напряжения, ослабли, надломились, и Савкин опустился на колени. Бык взревел, мгновенно поднялся, попятился и, разбежавшись, вонзил в сбитого им навзничь старика оба рога.

Гурьян Дормидонтович сумел еще сорваться с рогов и, вытягивая по красному от крови снегу кишки, побежал от бугая, но тот настиг его, опять поднял на рога, подбросил раз и два и, стряхнув на снег, принялся месить ногами...

Так закончился этот поединок.

Хоронили Гурьяна Дормидонтовича только его многочисленные родственники. Поминки длились три дня. Черный крест везли до кладбища три пары лошадей, и теперь он, высоченный, толстый, виднелся далеко отовсюду.

Бык Гурьян по настоянию наследника загубленного им старика был приговорен обществом к смертной казни, но его спасло событие, куда более важное и громкое, чем описанное выше.

На пятый день после похорон Савкина-старшего в дом Харламовых прибежал запыхавшийся и белый как снег Илья Спиридонович Рыжов и, крестясь и не зная, с чего начать, насилу вымолвил:

— Свадь.. слышь-ка... царя, вишь, спихнули!.. С чего бы это, а? Сват, что же теперь будет, а?..

Михаил Аверьянович и все, кто был в доме, ничего на это не ответили, а стояли с раскрытыми ртами, и никто из них не обратил внимания, как из дому опрометью метнулся Ванюшка и с торжествующим криком: «Дядя Пашка, дядя Пашка!» — побежал на задний двор, к погребу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

С того дня, как Илья Спиридонович принес свату небывалую новость, в доме Харламовых не стало покоя. С самого утра в него набивалось полно народу, в основном молодых мужиков из беглых солдат, которых оказалось гораздо больше, чем можно было предположить.

И в этот день они собрались еще до рассвета. Сидели кто на лавках, кто на невесткиных кроватях, кто прямо на полу у порога, примостившись на собственной ноге, ловко подогнутой под себя. Говорили, курили — дым густым слоем висел в комнате, так что нельзя уже было распознать лиц.

Тут находились Михаил Песков и его дружок гармонист Максим Звонов, еще раньше Павла Харламова и Ивана Полетаева оставившие по доброй воле своей боевые позиции; Федотка Ефремов и Максим Мягков, изрядно хлебнувшие германских газов и отпущенные с богом домой; сыновья Михаила Аверьяновича, Павел и шумевший больше всех Петр; молчаливый и лукавый Иван Мороз; Иван Полетаев, который тоже не вступал в спор, а сидел задумавшись, и по всему было видно, что мысли его далеки от того, что тут говорилось; сидел по соседству с Федотом Ефремовым и Карпушка, бесцеремонно разместившись на мягкой и высокой Фросиной постели, — он еще не совсем оправился от недавних побоев и тем не менее был чрезвычайно активен; явился и сельский учитель Иван Павлович Улимов, по прозвищу

Кот; маленький, усатый, лобастый, с быстрыми, круглыми, зеленоватыми глазами, он показывал мужикам портрет человека, низко подстриженного, с длинным, как лошадиная морда, лицом, тонкими поджатыми губами, оттопыренными ушами и согнутой рукой, засунутой за френч, и горячо убеждал, что человек этот «спасет Россию, выведет исстрадавшееся наше отечество на широкий путь цивилизации и прогресса» и потому-де надо вести войну до победного конца.

Мужички, казалось, готовы были согласиться с учителем, что на портрете изображен именно тот, кто самим господом богом ниспослан на землю для спасения их несчастного отечества, но вот только никак не могли взять в разум, почему же для этого нужно продолжать войну.

— На кой хрен твое отечество, коли меня в живых не будет, а семья моя с голоду подохнет? — вполне резонно заметил Федотка Ефремов.

— Тебя, Иван Павлович, видно, германцы еще газами не потчевали. Глотнул бы этого гостинца — небось не стал бы кричать: «Война до победного конца!» — поддерживал Федота Максим Мягков, на землистого цвета лице его белым накалом светились злые глаза.

— Пускай Пишка Савкин воюет, а нашим ребятам хватит этой войны по горло! — кричал Карпушка.

Учитель гневался на непонятливый народ, принимался убеждать снова и, теряя самообладание, начинал уж покрикивать на своих слушателей, а потом, вскочив, и вовсе удалился, но, видать, уж потому, что в комнату тихо вошел Федор Гаврилович Орланин. Он посторонился, пропуская мимо себя Ивана Павловича, проводил его долгим насмешливым взглядом и присел у порога, подогнув, как и другие, под себя ногу.

Вскоре Федор Гаврилович тоже показывал портрет, с которого на мужиков глядел лысый человек с прищуренными глазами и маленькой бородкой. В отличие от Ивана Павловича Федор Гаврилович не называл «спасителем России» этого человека, а сообщил только, что возглавляемая и созданная им партия стоит за то, чтобы немедленно заключить мир, заводы и фабрики отдать рабочим, а землю — тем, кто ее обрабатывает, — крестьянам. Это было ясно и понятно, хотя недоверчивому и подозрительному по природе своей мужику и нелегко было в это поверить, и вопросы сыпались на Орланина, как из мешка.

- А кто будет отбирать землю у помещика?
- А что будет с такими, скажем, как наши Савкины?
- Будут ли делить отрубца?
- А ежели вернется сызнова царь — тогда что?

Федор Гаврилович терпеливо отвечал. Под конец он, вытирая рукавом полушубка выступившую на лбу испарину, взмолился:

— Хватит, ребята! Умаялся — сил больше нет.

— Довольно. Замучили человека. Пушай Карпушка теперь говорит! Он больше всех мешал! — подал вдруг свой голос Иван Мороз.

Карпушке это не понравилось.

— Кому ж это я мешал? — гневно спросил он Мороза. — Уж не тебе ли? Да ты все одно ни хренинушки не слыхал, тетеря ты глухая, пенек с глазами! Тебя б только с бабушкой Сорочихой спаровать, вот бы вы накалякались! Ее спрашиваешь про Фому, а она тебе, анафема, про Ерему. Так же вот и ты... А что касается Федора, так пускай уж попотеет нонче, коль пришел к нам. Растеребил душу — пусть и лечит... Вот у меня к тебе вопрос, дорогой ты наш Гаврилыч. Царя, стало быть, спихнули. Могу теперь я, скажем, в суд подать на Савкиных за увечье, какое они мне, звери, за поганую икону — будь она неладна! — учинили? Могу ай нет?

— Можешь. Но обожди маленько, — тихо сказал Федор Гаврилович.

— И сколько же я должен ждать?

— Сказано: маленько, — повторил Федор Гаврилович. — Найдется и на Савкиных управа. Они своего дождутся. И очень даже скоро. И не только они. Шабра твоего, Подифора, не минует... Маланья не убежала еще от него? Не вернулась к тебе?.. Дура баба! Чего нашла в старике?

— Кусок хлеба, чего еще? — хмуро выдохнул Карпушка. — Показал ломоть, поманил — побежала...

— Да и то верно: что с голодного человека спрашивать? — Федор Гаврилович тяжело вздохнул. — Голод разум мутит.

— А я на нее сердца не имею. Сам виноватый: не сумел накормить досьта.

— Нет, Карп, и ты не виноватый. Погоди чуток — найдем виновников... И Маланье твоей глаза откроем...

Федот Ефремов, обнимая Карпушку и заранее похотывая, попросил:

— Ты бы, Карп Иванович, рассказал нам, как ее на ярмарку в Баланду возил?

Мужики засмеялись, стали тоже просить:

— Валяй, Карпушка, рассказывай!

— Как ты ее, голубушку, на Подифоровой кобылке прокатил!

— Хо-хо-хо!

— Что ржете? — шумел на них обиженный Карпушка. — Маланья давно уж не моя, а Подифорова. Пущай он ее и возит по ярмаркам.

— Но ведь то давно и было. Потешь, расскажи, голубок, как ты ее уважил!

— Чего пристал как банный лист к одному месту? Тебе смешно, ну, а мне?.. Сам поди знаешь: не повезло нам в совместной жизни. Как сошлись, так и повалились на наш дом разные беды-напасти. Стоило нам обвенчаться с Маланьей, сразу же, в первую, значит, нашу брачную ночь, когда б только ласкаться да миловаться, на беду, домовый в трубе поселился...

Мужики примолкли в ожидании потехи и только посверкивали в махорочном чаду веселыми глазами.

Карпушка — серьезный-пресерьезный — продолжал, придавив носком сапога окурочку на грязном полу:

— Поселился, нечистая сила, и цельными ночами воеет, душу выворачивает наизнанку. Маланья ворчит, боится. «Плохая, говорит, примета. Без тебя, мол, никаких домовых и прочих чертей в избе не было. Лучше уж нам, милый Карпушка, дорогой муженек мой, поврозь». Так и образовалась в нашей супружеской жизни трещина, которая потом в настоящую пропасть превратилась. А тут, как на грех, бирюк прилачился в хлев к нам нырять. Последнюю козу утащил, холера его возьми! Вышла как-то Маланья доить Машку, а там веревка с рогами козьими болтается, а самой козы нету. Ну, Маланья моя и запела!.. Неделю житья мне никакого не было... У меня с одним волчишкой вот какой случай был...

По избе прошелестел негромкий ожидающий смешок.

Карпушка угнездился поудобнее, под шумок потянулся к Федоткиному кисету за «золотой жилкой», как тот именовал махорку собственного производства, и, подогревая нетерпение слушателей, стал не спеша свертывать

козью ножку, которая размером своим лишь самую малость уступала настоящей козьею ногой. Федот Ефремов покосился на своего бесцеремонного соседа, потемнев лицом, горестно вздохнул, но, похоже из уважения к рассказчику, промолчал. Карпушка, как бы и не заметив этого многозначительного вдоха хозяина, прикурил от его же самокрутки, глубоко затянулся и снова заговорил:

— Овечки, сами знаете, вдились у меня тогда. Ну, он, волчишка, и повадился каждую ночь похаживать. Да что придумал, шельмец! Просунет в духовое окно хвост и давай махать им туда-сюда, как, скажи, метлой. Овцы шарахнутся в дверь, выломают ее, а ему только того и нужно: сцапает во дворе одну, на спину — и поминай как звали! Я выследил эту его уловку и однажды засел возле самой дыры. Проторчал до полуночи, замерз, как собака, и хотел было уж уйти спать, как вдруг вижу перед самым моим носом — хвост. Поначалу-то немного струхнул, но набрался храбрости и ухватил разбойника... Эх, как он рванет! Да нет, не тут-то было! Вижу, однако, что одними руками мне с ним не совладать — неметь начали, я и зубами вонзился прямо в самый хрящ. А он, чертяка, как плесканет горячей жижей мне в лицо — перело мной и свет померк...

Хохот орудийным залпом громыхнул по избе. Сидевшая на коленях у Мороза кошка шмыгнула под кровать и сверкнула оттуда огненным зеленоватым глазом. В зыбке проснулся ребенок и заголосил. А Карпушка, по-прежнему невозмутимый и степенный, заканчивал:

— Опосля Маланья целную неделю гнала меня от стола. «Видеть, говорит, не могу тебя!» А чтобы там лечь на одной кровати, как полагается промеж любящими супругами, — ни, ни! Ни боже мой! «От тебя, говорит, псиной несет, черт вонючий!» — «Не псиной, говорю, а бирюком». — «Все едино, говорит, ступай вон, жить с тобой не могу больше». Так и пошло у нас все, как у норостивой лошади, под уклон. Разбилась вдребезги наша счастливая семейная жизнь... Спасибо Подифору Кондратичу — выручил, а то пришлось бы мне опять скитаться по белу свету, как бездомному кобелю.

— А что с бирюком-то? Убежал поди? — спросил, все еще обливаясь слезами, веселый Федотка Ефремов.

— С бирюком-то? А как бы вы думали, что с ним потом могло быть? — с важностью и оттенком обиды спро-

сил, в свою очередь, Карпушка. — Известное дело: издох! Отбежал с полверсты — и того, кончился. С перепугу, знать.

— Ну а как же про ярмарку? Расскажешь ай нет? — опять спросил Федот, явно сожалея, что Карпушкина побасенка пришла к концу и придется расходиться по домам.

Хорошо, если Петр Михайлович догадается раздобыть где-нибудь хотя бы одну четверть водки либо самогону, но он что-то присмирел и, кажется, не думает никуда идти.

— Нет, — на этот раз твердо ответил Карпушка, и лицо его сделалось серьезным уже без всякого притворства, так что мужики глянули на него с некоторым удивлением.

Как ни уговаривали его, как ни просили рассказать про Меланью и ярмарку, Карпушка наотрез отказался и одним из первых покинул харламовский дом.

Случай же с Меланьей был вот какой.

Со дня своего рождения Меланья из Савкина Затона дальше Панциревки, в которой у нее проживала сестра, никуда не выезжала. Да и в Панциревке-то бывала очень редко, потому что боялась Вишневого омута, мимо которого надо было проходить. Между тем постоянной ее и сокровенной мечтой было побывать в Баланде и поглядеть ярмарку, проходившую ежегодно — весной и осенью. Еще девочкой мокрыми от слез глазами, с великой завистью глядела Малаша на своих счастливых подружек, вернувшихся со сказочной ярмарки и сосущих леденцы и сладкие красные петушки на палочке, дудевших в нарядные дудочки, пускавших на длинных шнурках желтые, оранжевые, голубые и синие шары, дергавших за резинку какие-то удивительные нарядные коробочки и фонарики и без конца, захлебываясь от восторга, рассказывавших про карусели, про ученого медведя, про чумазых клоунов. Но сиротку Малашу никто не возил на ярмарку. И верно, потому она, как только вышла замуж, стала одолевать мужа просьбами, чтоб он повез ее в Баланду. Карпушка все отказывался: своей лошади у него тогда не было, а просить у Подифора или еще у кого-нибудь не хотел. Но с каждым годом просьбы жены становились настойчивее, и Карпушка согласился наконец.

Еще с вечера он привел на свой двор старую Поди-

форову кобылку вместе со всей упряжью. Меланья в эту ночь не спала — волновалась.

Выехали затемно. Утром начал моросить мелкий осенний дождик, что сразу не пришлось по душе Карпушке, предпринявшему эту поездку не по доброй своей воле. Подумав о чем-то, он прикрыл Меланью рогожиной и повез ее не в сторону Баланды, через Малые луга, а прямо мимо Кочек на гору, к ветряной мельнице. Вскоре сторож ветрянки с удивлением мог наблюдать за странной телегой, которая делала, кажется, уже сотый круг возле мельницы. «С ума спятил, не иначе!» — подумал старик про седока и стал быстро соображать, что бы ему сделать такое и остановить это подозрительное кружение. «Рехнулся!» — опять подумал сторож, медленно и осторожно приближаясь к телеге.

Между тем Карпушка был в здравом уме и только негромко понукал кобылку, потягивая за одну левую вожжу, так что лошадь двигалась против солнца.

— Скоро, что ли, ярмарка-то, Карп? — в который уж раз спросила его Меланья.

— Скоро, скоро, — ответил Карпушка. — Вон уж и видать ее. Глянь!

Он остановил лошадь, стянул с жены рогожину.

— Ба! — ахнула Меланья, щурясь от проглянувшего из-за тучки солнца и борясь с легким головокружением. — Ярмарка-то на наше село похожа. Ну, чистый Савкин Затон! Вон и церква, как у нас, и река, и луга, и гумны, и озеро посередь села и...

Тут она примолкла, озаренная внезапной догадкой. Зловеще спросила:

— Карп, это куда ж ты меня привез?

Ничего не отвечая, Карпушка во весь дух пустил кобылку под гору, а минут через пятнадцать торжественно подкатил к своему дому.

2

Весна тысяча девятьсот семнадцатого года была обманчива. Сначала она объявилась очень рано. В первых числах марта снег внезапно осел, потемнел, сделался ноздрястым, рыхлым. По санным дорогам побежали было, заструились шустрые ручьи. На буграх, на припеках обнажились и уже подсохли проталины, на которых

мальчишки играли в козны, в лапту, в чижик. Воздух сделался по-весеннему хмельным — просто выживал парней и девчат из домов, манил на улицу, за село. Прилетели скворцы. И тут же оказалось, что они совершили роковую ошибку и только одно утро могли вволю попеть над своими домиками, а уж к вечеру ударил мороз, ночью валом повалил снег, поднялась метель, завьюжило по-зимнему. Люди укрылись в домах, скотина — по хлевам, а скворцы забились в хворост, привезенный из лесу для топки печей, прятались вместе с воробьями, на время заключив перемирие, в соломенных крышах, а молодые, неопытные или просто беспечные, недогадливые замерзли либо на лету, либо в холодных скворечнях. Во всех трех церквах круглосуточно звонили колокола, чтоб не заблудился путник где-нибудь в степи.

Оказалось, что это была вовсе не весна, а всего-навсего ее разведка, высланная, очевидно, затем, чтоб только узнать, как крепки еще боевые рубежи зимы и как скоро собирается она оставить их.

И лишь через неделю, собрав все силы и видя, что зима и не думает уходить добровольно, весна по всему фронту двинулась в широкое общее наступление, а затем на решительный штурм. Сопротивление зимы было упорным, но непродолжительным — в две недели она сдала большую часть своих укреплений: снег растаял, по многочисленным оврагам, затопляя луга и долины, устремились бурные потоки, сперва прозрачные, чистые, а потом желтые, мутные.

Дольше всех держался лед на реке и озерах. Но вот однажды ночью — а это почему-то случается непременно ночью — послышались сначала отдаленные и глухие, затем все накатывавшиеся и все более громкие и грозные, трескучие, точно раскаты грома, взрывы, и первые льдины — чки, как зовут их в здешних краях, — торопясь, шипя, перегоняя одна другую, устремились вниз по Игрице. Скоро их соберется так много, что им станет тесно в узких берегах реки, тяжесть льда и хлынувшие с гор потоки резко, как бы одним мощным усилием невидимого великана, подымут уровень воды, и река затопит все окрест: лес, сады, огороды, низко стоявшие избы сел и деревень. Льдины, столпившись в узком горле у Вишневого омута, не найдя места, с шумом и грохотом на-

ползая одна на другую, побегут в разные стороны, ломая, обдирая и кромсая затонувшие наполовину деревья...

Каждую весну Михаил Аверьянович с тревогой ожидал такой ночи и не спал иногда по несколько суток; Игрица могла взломаться в любой час, и по ней пойдет лед, который, не прими мер, может если и не уничтожить вовсе, то сильно покалечить сад, особенно молодые деревца.

С появлением первых, редких еще льдин на Узеньком Местечке, самом близком к Савкину Затону коленице Игрицы, Михаил Аверьянович садился в лодку, доплывал до сада, и тогда начиналась удивительная схватка. Она происходила ежегодно. И как ни слаб был с виду человек рядом с разбуянившейся стихией, в конце концов он, а не она, выходил победителем, и наступал срок, когда спасенные им яблони, как бы в награду, зацветали буйным, шальным, животворящим цветом.

В тот год Михаил Аверьянович, заслышав на рассвете треск льда и шум задеваемых им деревьев, опять, как и в прежние весны, собрался в сад: захватил топор, лопату, пешню, багор. Возле Ужиного моста, перекинутого через Узенькое Местечко, его ожидала небольшая лодка. Он уже вышел за ворота, неся на плече большое снаряжение, когда услышал позади торопливые шаги. Оглянулся. К нему, вытянув вперед руки, то бледнея, то краснея, бежала Фрося.

— Батюшка, возьми меня с собой! Возьми! Я помогу тебе! Возьми!..

Михаил Аверьянович недоуменно посмотрел на невестку.

— Что ты? Не бабье это дело. За детьми доглядывай. Норовят на льдине покататься. Утонут еще. А я уж один. Не впервой.

— Батюшка! — закричала опять Фрося, но, видя, что свекор удаляется, опустила руки, постояла так, а потом слабой, старческой походкой пошла в дом. «Видно, чему быть, того не миновать», — решила она и, утвердившись в этой мысли и как бы найдя в ней оправдание тому, что творилось в ее душе, тому, что было с нею в эти последние недели и что еще — она знала это — будет, выпрямилась и, спокойная, вернулась в избу.

По селу прошел слух, что повсюду началась облава на беглых солдат и отправка их либо прямо на фронт, либо в запасные полки, либо в штрафные роты. Этому не особенно верили, однако дезертиры решили на всякий случай укрыться.

— Береженого и бог бережет, — сказала старая Настасья Хохлушка, провожая Павла на задний двор, к погребу.

Его товарищ, Иван Полетаев, на этот раз спрятался на Малых гумнах, в своей риге. О месте убежища он предупредил только мать, отца да Фросю, которая обещалась прийти к нему, когда стемнеет и когда Савкин Затон малость уgomонится.

Фрося обещала твердо, но уже через час ей стало страшно, и она начала лихорадочно придумывать предлог, который избавил бы ее от этого свидания и в то же время не очень бы обидел Ивана.

Поездка со свекром в сад и могла быть таким предлогом, но Михаил Аверьянович, не ведая, что творилось в душе невестки, отказался взять ее с собою. И Фрося решила, что от судьбы не уйдешь: видно, самому богу угодно, чтоб она отправилась на Малые гумны. Решив так, ушла к детям и провозилась с ними до сумерек. А в сумерки, в то короткое время, когда в избе уже совсем темно, но когда не зажигают еще лампы и все взрослые заняты во дворе уборкой скотины, она оторвала маленького Леньку от хорошо отсосанной груди, уложила его в зыбку, раскрыла свой нарядный сундук и вытащила толстое стеганое одеяло. Закуталась в овчинную шубу, сунула одеяло куда-то под одежду и остановилась посреди комнаты в раздумье. Потом запахнулась, хорошенько глянула на себя в осколок крохотного зеркальца, вклеенного в стену над ее кроватью, молча поцеловала детей, следивших за нею тревожно-вопросительными глазами.

— Ты куда, мам? — спросил Санька, ткнувшись лицом в шубу.

— К бабушке, сыночек.

— И я с тобой.

— Нельзя, Санюшка. А кто ж за Ленькой поглядит? Ты у меня уж большой. Полезь-ка, сынок, на подволоку

и достань для бабушки свежего яблока. Только от медовки, слышь! Беги, милый! Не забудь — от медовки! — повторила она и, покраснев, испуганно покосилась на дверь: «Боже мой, что я делаю!..»

Санька скоро вернулся и подал матери большое яблоко. Фрося и его торопливо спрятала за пазухой. Еще раз расцеловала детей и быстро вышла из дому. По двору, от сеней до калитки, она пробежала бегом и была очень рада тому, что никто не видал ее.

Село миновала глухими проулками, задами и огородами.

Иван ждал ее, стоя на току, у приоткрытых ворот риги, и, заслышав шаги, выбежал навстречу, поднялся на гребень старой канавы, окружавшей гумно. Вздогнув от внезапно раздавшегося винтовочного выстрела в Савкинском Затоне, Фрося коротко вскрикнула и взбежала на бугор. Он хотел поднять ее на руки, как делал это раньше, когда Фрося была девчонкой, но сейчас она с досадой и обидой вырвалась из его рук и первой вошла в полупустую ригу, где было тихо, темно, пахло мякиной, мышами и паутиной. Иван вошел вслед за нею, прикрыл ворота, замкнул их изнутри и ощупью отыскал ее, молчаливо стоявшую тут же, у ворот. Молчал и он. Обнял за плечи и осторожно повел в дальний, еще более темный угол, где в пещере, проделанной в овсяной соломе, у него была постель — отцов тулуп да собственная старая шинель. Присели. В ушах Фроси все еще не угас звук винтовочного выстрела. Она спросила:

— В кого это они?

— Что?

— Стреляли в кого?

— Не знаю.

Опять надолго замолчали.

— Что же ты ничего не скажешь мне? — спросила она, ежась, и прибавила почти враждебно: — Доволен ай нет?

— А то! Очень даже довольный! — охотно и прямодушно признался Иван, не расслышавший в ее голосе непонятной для него неприязни. — Знаешь поди, как ждал тебя!..

— «Ждал!» — передразнила она. — А зачем? Зачем я тебе, чужая жена?!

— Фрося!

— Вот уже и Фрося. — Она горько усмехнулась, пытаясь высвободить плечи из его рук. — Обрадовался, довольный! Эх, кобели вы, кобели!.. Хотя б постреляли вас там всех! Чему ж тут радоваться-то, а? Прибежала к тебе, женатому, дура беспутная, бросила, сучонка гуляющая, трех малых детей и прибежала. Этому, что ль, рад? — Голос ее был сух, холоден, гневен.

А ведь за минуту до этого она с трепетной радостью ждала встречи с ним и шептала про себя самые ласковые, самые нежные слова, которые хотела сказать ему.

— Ну, вот и осерчала. Не силком же я тебя сюда...

— Молчи уж! «Не силком»! Ишь какой святой отыскался!

Подходя к гумнам, Фрося не думала о том, какие слова скажет ей Иван, для нее было важнее то, что скажет ему она сама. Обида возникла неожиданно, и последние слова Ивана только объяснили причину этой обиды. Да, ей было бы куда легче, если б он силой или обманом заманил ее сюда или если б эта встреча была случайной, как тогда в хлевушке, а не сама она, по доброй своей воле, бросила дом, детей и пришла. И то, что он назвал ее Фросей, а не Вишенкой, как называл всегда, лишь усилило ее обиду, и она уже порывалась встать и убежать от него поскорее домой. Туда, где в теплой просторной зыбке поспывает, шевеля пухлыми губкамъ, Ленька, жалостливый Санька прислушивается к скрипу калитки, не идет ли его мамка, а шустренькая плакса Настенька забилась где-нибудь в самый угол на печи и тоже ждет, когда откроется дверь, войдет мама, примет ее, Настеньку, доченьку свою ненаглядную, на руки и, притворившуюся спящей, отнесет к себе на кровать.

Как только Фрося подумала о детях, ей сейчас же представился весь ужасный смысл ее поступка, и она заплакала навзрыд.

Иван, растерянный, бормотал что-то, но от бессвязных, глупых слов его она чувствовала себя еще большей преступницей.

— Уйди, уйди от меня! Не трожь! — кричала она сквозь рыдания, хотя Иван и не пытался ее удерживать.

Неизвестно отчего: оттого ли, что слезы облегчили, или оттого, что ей стало жалко Ивана, в сущности ни в чем перед нею не повинного, но Фрося вдруг смягчилась,

постепенно успокоилась и, притягивая к себе его большую кудрявую голову, заговорила:

— Прости меня, Иван Митрич. Дура я — вот и все тут, — и засмеялась тем необыкновенно счастливым и легким смехом, какой бывает только после слез у детей да у женщин. — В самом-то деле, что это я разревелась? Бегла, бегла к тебе — и вот тебе на, в слезы! Ну и дура! Было б отчего... На-ко, вот, Вань, яблочка тебе принесла. Возьми! — И в темноте она ткнула ему в нос что-то круглое, душистое.

— Спаси тебя Христос! — взволнованно сказал он, захватив яблоко рукою вместе с ее холодной и влажной от слез ладошкой.

— Нет уж, Христос не спасет меня... — И Фрося посмотрела на далекую звезду, видневшуюся через проходившую крышу.

— Спасет. Разве мы виноватые?

— Ладно. Будя об этом. Ешь.

В наступившей тишине раздался сочный и звонкий хруст. Брызги рассыпались в темноте. В воздухе запахло далеким и неповторимым. У Фроси сладко заныло в груди.

— Помнишь, Вань?..

— Чего?

Она обиделась: как же он мог не переживать того, что переживала сейчас она! Решила подсказать:

— Ну, сад, медовку...

— А что? — опять не понял он.

Ей стало зябко.

— Ничего, так я... Вань, а что же теперь будет... с нами, с тобою?

— Не знаю.

— А почему ты меня Фросей назвал?

— Да потому, что не молоденькие уж мы.

— Правда. Куда уж... — согласилась она, помолчав и подумав о чем-то. Вздохнула и, глядя в темноту, прибавила: — Как же я теперь Наташке твоей в глаза буду глядеть? Ведь мы с ней подружки?

Иван начал было что-то говорить, но Фрося перебила его:

— Молчи. Не надо об этом. — Она долго всматривалась в него и вдруг утопила пальцы в мягких его кудрях.

— Приласкал бы, пожалел. Лежит, как чурбан...

Потом она сидела рядом с ним, тихим, присмирившим, и решала для себя трудную задачу: как сделать так, чтобы домашние ничего не узнали. Конечно, проще и лучше всего было бы вот прямо сейчас подняться, пойти в село, забежать на минутку к матери, а оттуда — сразу же домой, никто бы ничего плохого и не подумал о ней. Но теперь, после того, что случилось, Фросе очень не хотелось оставлять его одного, и в конце концов она решила, что ничего страшного не произойдет, если останется еще на час — всего на один час, ни капельки дольше. Однако прошел и этот час, и еще один, и еще, а она не уходила.

Фрося теперь уже знала, что беды не миновать, и сознание этого наполняло ее безрассудной, отчаянной решимостью, для которой давно уж придумано людьми глубоко точное определение: семь бед — один ответ. Должно быть, она испытала сейчас очень похожее на то, что испытывает человек, заглянувший в питейный уголок. Он заглянул в него с железной внутренней установкой выпить одну-единственную стопку и немедленно уйти. Однако после выпитой стопки он уже был не он, а совершенно другой человек, и этому другому требовалась тоже стопка, после чего являлось третье лицо, куда более отважное, чем его предшественники. Чудесное превращение стремительно продолжается, и вот уж за тем же самым столом сидит не прежний робкий и рассудительный малый, а прямо-таки герой — он небрежно выбрасывает из кармана скомканные ассигнации и громко возглашает: «Была не была!..» Отрезвление и возвращение на исходный пункт, то есть к прежнему пугливому, расчетливому и благоразумному человеку, начнутся с того часа, когда подгулявший будет подходить к своему дому, где его ждет не дождетя совсем не робкая жена...

Да, Фрося пьянела от ласки, от поцелуев, от переполнявшей ее любви и, пьянея, делалась храбрее. Счастливо пришедшая в ее голову мысль, что можно на зорьке забежать к Аннушке Песковой, предупредить ее обо всем, а дома сказать, что ночевала у подруги, окончательно успокоила ее, и Фрося решила остаться на всю ночь. Она посвятила и Ивана в свой план и очень осердилась, когда тот не выказал особого восторга от ее затеи. Напротив, он даже осторожно намекнул, чтоб она все-

таки вернулась домой сейчас, ночью, что было бы для нее лучше, но Фрося взбунтовалась:

— Вот вы всегда так... Добьетесь своего, а потом гоните...

Иван пробовал утешить ее, но безуспешно.

Где-то недалеко, должно быть в овраге, грозно и сердито рокотал водяной поток. Далекая звезда, засмотревшаяся было сквозь дырявую крышу риги, испугавшись чего-то, исчезла. Стало еще темней.

Фрося резко повернулась лицом к Ивану, глянула на него испуганно блеснувшими глазами.

— И долго вы еще будете прятаться?

— А кто ж его знает?

— А вдруг тебя...

— Что?

— Андрей Гурьяныч Савкин к вам вечер заходил. Я видала.

— Нюхает, пес...

Фрося промолчала.

Под самым коньком крыши дважды прокричал сыч и вспорхнул в непроглядной черни ночи. Вверху замелькали, забегали зеленоватые точки его круглых фосфорических глаз.

Фрося развернула стеганое одеяло и укрыла им Ивана. Сама сидела рядом, сидела до тех пор, пока он не притянул ее к себе.

Утром вопреки первоначальному своему намерению Фрося не пошла к Аннушке, а направилась прямо домой, даже не пытаясь придумывать предлогов своего отсутствия. Сейчас она лицом к лицу встретится с Харламовыми, которых, за исключением свекра и своих детей, — ведь они тоже Харламовы! — в ту минуту ненавидела лютой ненавистью. О, сколько бы она отдала за то, чтоб только не видеть откровенно осуждающих взглядов тихой Пиады и бабушки Настасьи, вопросительного, сочувствующего и испуганно-недоуменного взгляда Дарьюшки, хитрого подмигивания Петра Михайловича, которому, кажется, на все наплевать, удивленных, умных, жалеющих и все понимающих глаз Дарьюшкиного Ванюшки!

Спроси ее сейчас, за что же она их так ненавидела, она, вероятно, не вдруг бы поняла, о чем ее спрашивают, а поняв наконец, обвинила бы во всем только самое себя. И все-таки, войдя в избу, она посмотрела на них всех

сразу твердым, долгим и нескрываемо враждебным взглядом. Да, она ненавидела этих, в сущности-то, очень добрых к ней и даже любящих ее людей. Ненавидела за одно то, что испытывала большой страх, грех и вину перед ними, за их несомненное право презирать ее, за те великие душевные муки, которые причиняли ей эти хорошие люди уже одним тем, что существовали, что встреча с ними была для нее жестокой нравственной пыткой, что не будь их, не было бы и половины ее страданий.

— Эх, паря!.. — услышала Фрося за своей спиной, когда быстро уходила в переднюю.

Это сказала свекровь. Олимпиада Григорьевна умела вкладывать в этот свой вздох множество оттенков разнообразнейших чувств. Когда, бывало, ее младший сын Павел возвращался с гулянки очень поздно, она тоже, выйдя на крыльцо, всплескивала руками и говорила: «Эх, паря!..» Тут были и удивление, и сожаление, и незлобивый выговор, и бесконечная любовь, неумело маскируемая ворчливостью и внешним осуждением. Павел легко и безошибочно распознавал всю эту маскировку, отбрасывал ее прочь, и на его долю доставалась только любовь, преданная и вечная любовь матери к своему ребенку. Теперь же Фрося отчетливо различала во вздохе той же тихой Пиады нечто совершенно иное — тут прозвучали одновременно любовь и ненависть: любовь к сыну Николаю, особенно сильная и острая оттого, что его не было дома, рядом с нею, матерью, и столь же острая ненависть к изменившей ему невестке.

— А вот и Вишенка наша объявилась! — приветствовал ее деверь, забавлявшийся с детьми в горнице и, очевидно, страшно скучавший без мужичьих сходок, неожиданно прекратившихся.

Фрося и на него посмотрела все тем же прямым, твердым, презрительно-холодным взглядом. Сказала с ледяной дрожью в голосе:

— Какая ж вам Вишенка? Была Вишенка, да птица склевала. Фроська, Фросинья — вот кто я теперь!.. Ушел бы ты, Петро, отсюда. Тошно мне!.. Дал бы с ребятишками одной побыть...

Петр Михайлович удивленно посмотрел на нее. Пожевал губами, почесал в затылке и тихо, на цыпочках, вышел.

Фрося подняла из люльки ребенка и дала ему грудь. Ленька, жадно припавший к ней, захлебнулся, молоко потекло по его круглым розовым щекам. Он на минуту оторвался, прокашлялся и опять принялся бурно сосать, сладко зажмурившись и причмокивая губками. По мере того как убывало молоко из груди, убавлялась и боль в сердце — делалось ровнее, покойнее и ясней. Вот, оказывается, где было все ее счастье — в этом теплом, крохотном, довольно покряхтывавшем живом комочке, и Фрося знала, что больше уж никогда не решится снова подвергать себя таким тяжким испытаниям — просто у нее не хватило бы на это душевных сил...

В тот же день к вечеру вернулся из сада Михаил Аверьянович.

По испуганным лицам женщин, бросившихся раздевать и разувать его, он мог бы догадаться, что выглядел неважно, но и их лиц он не увидел и не понял слов жены, которая говорила что-то про младшую сноху, — а Олимпиада Григорьевна говорила, что Фрося не ночевала дома, и что люди на селе сказывают худое про нее, и что ему, как главе семьи, давно уж следовало бы хорошенько поговорить с невесткой, что-то еще такое твердила жена, — но он и этого не понял. Ему помогли взобраться на печь, он лег там, сперва все силился уяснить себе, что же такое могла натворить любимая его сноха, но то ли оттого, что случившееся в доме было все же не столь значительным в сравнении с тем, что он испытал за эти сутки, то ли оттого, что смертельно устал, но он скоро погрузился в долгий, длившийся более двадцати часов сон хорошо потрудившегося человека.

4

Голодно было в большой семье Харламовых. Михаил Аверьянович и Петр Михайлович часто уходили с обозом в Саратов, продавали там яблоки — свежие, сухие и моченые — и на вырученные деньги покупали немного муки, немного пшена и как можно больше колоба — спрессованного подсолнечного жмыха. Случалось, что на обратном пути, где-нибудь в поле, на «большой дороге», на Харламовых нападали бандиты и отнимали всю поклажу, и Михаил Аверьянович и Петр Михайлович возвращались в Савкин Затон ни с чем — ох, как муторно им

было, знающим, с каким нетерпением дома ждет их голдная семья!..

Когда же поездка заканчивалась благополучно, они чувствовали себя счастливейшими людьми на свете.

Колоб почти полностью поступал в распоряжение детей и был их главной радостью. Нужно было видеть, с какой жадностью набрасывались они на него, в кровь обдирали губы и десны, и до чего ж вкусна была эта железобетонная макуха, из которой тяжкий пресс маслобойки, казалось, выжал все, что можно было выжать! Дети отчаянно дрались из-за малейшего кусочка, а потом жестоко страдали от запора, часами коченея где-нибудь под плетнем или в заброшенном сараюшке. Сад и тут приходил на помощь: взвар из терна и сливы заменял слабительное.

Лишь самый малый из Харламовых, Ленька, оставался равнодушным к колобу: ему почему-то больше нравились гречневые блины, помазанные густым темно-зеленым и душистым конопляным маслом. Блинами Леньку угощали у соседей, в доме Полетаевых, куда парнишка с неких пор зачастил. Вот и сейчас, закутанный бабушкой Пиадой в какое-то тряпье, он собрался в очередной свой поход к шабрам. Фрося, вздохнув и обращаясь к свекрови, сказала:

— Куда вы его! Надоел поди людям-то, как горькая редька.

— Ничего, потерпят. — И Олимпиада Григорьевна, пряча что-то на своем веснушчатом лице, зашаркала заслонкой печи.

Фрося покраснела, часто задышала, чувствуя, что ей не хватает воздуха, но удержалась и промолчала.

Ленька же громко уверил:

— Не надоел я им. Дедушка Митрий велел приходить. Я ему песню пою.

— Какую же, сыночка?

— А вот эту. — И Ленька, шмыгнув носом, запел:

Как у нашего Зосима
Разыгрался скотина!
И коровы и быки
Разинули кадыки..

— Ладно. Хватит. Иди уж, да недолго там...

На этот раз Ленька вернулся подозрительно быстро.

Фрося спросила, почуяв неладное:

— Что, выгнали, сынок?

— Нет, — беспечно и весело возразил Ленька. — Тетя Наталья сказала: «Ступай домой!»

Взрослые рассмеялись. Улыбнулась и Фрося, но какой-то измученно-вялой улыбкой.

— Говорила, не ходи. Глупый ты у меня. Беги-ка разыщи дедушку, он привез тебе гостинца.

Ленька выскочил во двор, а через минуту уже застучал в дверь:

— Мама, мам! Дедушка помирает!

Все, кто был в доме, выбежали из избы.

Михаил Аверьянович лежал под поветью, на только что привезенной им с гумна овсяной соломе в глубоком обмороке. Очнулся он уже в доме, куда втащили его Петр Михайлович и женщины. Ни в тот день, ни позже никто так и не узнал, отчего случилось такое с могучим мужичищем. Никто почему-то не заметил, что вот уже около недели, боясь оторвать от семьи хотя бы маленький кусок хлеба, Михаил Аверьянович ничего не ел. Как только домашние усаживались за стол, он незаметно выходил из избы, запрягал лошадь и уезжал либо на гумно, либо в лес за дровами, либо в сад — поглядеть, не набедокурили ли зайцы в молодых яблоньках. Ему все думалось, что сам-то он выдюжит, что голод не сломит его. — только бы вот спасти семью.

Все ждали лета: и люди и животные.

Особенно дети. Еще задолго до того, как испекут хлеб из нового урожая, тот самый хлеб, слаще и вкуснее которого ничего нет на белом свете, ребятишки выходят на подножный корм. Подножный — в самом прямом и буквальном смысле. Выходят гораздо раньше того праздничного дня, когда после мучительно долгой и опустошающей закрома и гумна зимы выгоняют на пастбища скотину, когда Савкин Затон наполняется нетерпеливым мычанием коров и телят, ржанием лошадей, бляением овец и коз, когда над всем этим гомоном властвуют басовито-отрывистые, подобно короткому весеннему грому, звуки пастушьих бичей.

«Хохлята» — Егорка, Санька и Ленька, объединившись со своими товарищами в небольшой отряд, как

только сойдет полая вода, бегут в лес, к Дальнему Переезду, где возле Горного Озера, на небольшой поляне, теперь уже взошел раст, луковицы которого упоительно сладки и сочны. Сверху, то есть по своим листьям, растение это похоже на лесной пырей, но цветы у него ярко-желтые, тюльпановидные. Важно, однако, прийти раньше, чем раст зацветет, когда луковица еще жестка, плотна и сахариста. Для этого ребятам приходится брести по колено в грязи, а то и прямо по пояс в воде, которая к тому времени еще держится в низинных, пойменных местах. Во главе отряда почти всегда был Санька, хотя по возрасту такая роль полагалась бы Егорке. Но тот добровольно отказался от нее в пользу двоюродного брата — мальчишки более смекалистого, а по части лесных промыслов настоящего следопыта. Никому не хотелось брать с собой Леньку, так как то и дело приходилось таскать его на спине. Но уже за день, а то и за два до похода он начинал хныкать и хныкал до тех пор, пока братья не смягчались и не обещались взять его с собой.

Раст!

Вслушайтесь-ка в это слово, произнесите его еще и еще, и вам почудится сочный хруст, ослепительная белизна сахара и даже холодная сладость во рту: раст!

В пору ранней весны, когда земля щедро одаривает детей первыми своими плодами, еще щедрее цыпками, в лесу то там, то тут раздаются звонкие клики:

— Раст! Раст! Раст!

Извлекать его из земли не так-то уж просто. Хорошо, коли земля еще сырая и рыхлая — тогда тяни за листья, и луковица легко вынырнет на поверхность. А ежели грунт подвысох, почва залубенела, покрылась сверху жесткой корочкой, — что и бывает вскорости после половодья, — стебель уже не выдержит, оборвется, и сладкий пупырышек, одетый в желтую распашонку, останется глубоко в земле. Ребята знают это и потому приходят в лес, вооружившись палками, заточенными с одного конца под лопаточку. Опершись грудью или животом на другой, тупой конец палки, кряхтя, они долго подпрыгивают, пока палка не погрузится на достаточную глубину и когда можно будет вывернуть пласт с тысячами травяных корней и обнаружить в них искомое — ту самую луковицу.

Растовая страда длится недолго. И, как всякая страда, она требует от ребят полной отдачи сил. Они подымаются с рассветом и, полусонные, бегут в лес, где и копошатся до позднего вечера. И нельзя сказать, что добыча их была очень уж богатой — один, от силы два кармана в день.

Вслед за растом тут же пойдут слезки.

Доводилось ли вам видеть луга либо поляну, еще затопленные водой, но уже сплошь покрытые темно-бордовыми тюльпанами? Они склоняют свои нежные, пронизанные солнцем и золотыми тонюсенькими жилками головки-колокольчики, поднятые высоко над теплой, прогретой щедрым весенним солнцем, шелковисто затравенной водой на длинных и хрупких ножках без единого, кажется, листочка. Но это не тюльпаны — это именно слезки. Почему названы они так? Потому ли, что светятся на солнце, как слеза, потому ли, что промышлявшим тут детям не раз приходится ронять слезу: сунет торопливо в рот цветок, а в цветке-то пчелка, раньше ребят проснувшаяся в то утро и отправившаяся за сладкой добычей, — пострадавший скорехонько выплюнет красную жвачку, но уже поздно: пчела сделала свое дело. Вот они и слезки...

Слезки, как и раст, сладки и сочны. Разница только в том, что у раста съедобные корешки, а у слезок — вершки, а тут уж известная пословица насчет вершков и корешков утрачивает свой изначальный лукавый смысл, потому что то и другое вкусно. И еще есть разница: если в набеге за растом верховодят мальчишки, то слезки — это в основном девчачье дело. В самом их названии уже звучит нечто сентиментально-лирическое, чуждое мужской грубоватой гордости ребят, хотя это обстоятельство несколько не мешает им поедать слезки ну прямо-таки целыми вязанками. В такое время в каждой избе — на столе, на лавках, на кровати, на полу — везде слезки, слезки, слезки... И всюду слышится сочный хруст, и отовсюду светятся, как молчаливая благодарность земле, довольные рожицы ребятишек, а в воздухе густо стоит дивный аромат...

За слезками наступает очередь косматок — примерно за две недели до сенокоса.

Растут косматки на поле, на залежах, но большей частью, конечно, на лугах — Малых и Больших. Наверно,

это какая-нибудь разновидность молочая, потому что, как только откусишь очищенный от густого оперения (отсюда — косматки) стебелек, из него, как из вскрытого вымени, брызнет густая белая струя, но не горькая, как у молочая, а вкусно-сладкая, напоминающая сливки. Белым это косматкино молоко остается недолго, всего лишь одну минуту, потом тускнеет, застывает, делается сначала желтым, затем шоколадным и, наконец, темно-коричневым. В этот-то цвет на весь косматкин сезон — а он довольно продолжительный — окрашиваются и детские лица, и их холщовые рубахи: да платья.

За косматками ребят ведет уже Егорка: ему лучше всех известны хорошие места. Считалось, что самые вкусные и сочные растут на Больших лугах, и туда-то чаще всего и отправлялись харламовская детвора и ее товарищи. Было много косматок и на кладбище. Но рвать косматки на кладбище никто не решался: грешно поди, да и страшновато...

Почти в одно время с косматками, но только чуть раньше, собирают щавель. Потом дети опять устремляют свои взоры к лесу: подоспели дягили, борчовка.

Ну, дягиль — это и есть дягиль. А борчовка? Это растение с резными, широкими и шершавыми, как наждак, листьями, стебель его, освобожденный от такой же шершавой кожицы, кисло-сладок и пахуч, пахнет он немного дягилем, немного чернобылом, который, как известно, тоже съедобен, немножко свирельником, а в соединении всего этого — просто борчовкой и ничем иным. Когда дети напичкают ею свои животы, в животах начинается отчаянно бурчать. Так, вероятно, бурчовка, несколько видоизменяясь, стала борчовкой. Но как бы там ее ни называли, она вместе с другими травами и корнями не давала ребятишкам помереть с голоду, за что и ей великое спасибо!

А потом еще будут столбунцы, чернобыл, лук дикий, чеснок дикий, ну, а затем уж вообще наступит благодать: поспеют ягоды — земляника, вишня дикая, малина дикая, черемуха, костяника, ежевика, да мало ли еще чего найдется у природы для человека, ежели он с нею дружен.

В конце концов дети насыщаются и не прочь пофилософствовать. Санька, например, все чаще пристает к

деду со странными вопросами. Видя, что тот сажает яблоню, недоумевает:

— Зачем ты это делаешь, дедушка?

— Что? — переспрашивает Михаил Аверьянович, не прекращая своего занятия.

— Зачем яблоню сажаешь? Ты ведь уж старый, помрешь скоро, и тебе не придется есть от нее яблоки. Зачем же ее сажать?

— Ах, вот ты о чем! — Михаил Аверьянович делается необычно серьезным и задумчивым. — Глупый ты, Санька. Ведь будешь жить ты и у тебя будут дети. Им ведь тоже нужен будет сад. Вот для вас и сажаю. Помру я — вы будете сажать.

Санька удивляется его словам, думает о чем-то, потом опять спрашивает:

— Ты, значит, нас любишь, дедушка?

— А как же!

— И мы тебя любим. Очень-очень!.. — признается Санька и подходит к матери, которая занята тем же, что и свекор.

— Мам, а почему ты не пускаешь нас к Полетаевым?

Фрося вспыхивает и, глянув на Михаила Аверьяновича, торопливо шепчет:

— Отвяжись ты от меня, ради Христа. Что ты пристал? — Губы ее дрожат, она морщится и сердито кричит на сына: — Поди, поди отсюда! Не мешай!

Санька уходит озадаченный и немного обиженный. Он уже смутно начинает понимать, что мать утаивает что-то от него, а это ведь нехорошо: мать на то и мать, чтобы ничего не скрывать от детей, думает он.

5

В конце мая совершенно неожиданно объявился Николай Харламов.

Фрося и Михаил Аверьянович находились в саду и узнали эту новость от прибежавшей из Савкина Затона Настеньки. Девочка так запыхалась, что не скоро от нее добились, что же случилось.

— Пап... папаня... папаня...

— Что, что, говори же, глупая, толком! — Фрося торжила дочь и, когда Настенька выговорила наконец «приехал», почувствовала головокружение и одновремен-

но приступ страшной тошноты, мучившей ее всегда в первые месяцы беременности. Оттолкнув дочь, она кинулась в терновник и минут через десять вернулась оттуда бледная, с опухшими, мокрыми глазами. Она подняла эти вялые, скорбные глаза на задумавшегося свекра, прислонившегося спиной к зерновке, и жалко, обреченно поморщилась.

— Ну, ничего, ничего. Надо идти. — Михаил Аверьянович глядел на нее добрыми, сочувствующими глазами.

Ему было и больно оттого, что известие, принесенное Настенькой, нисколько не обрадовало ее мать, и в то же время он хорошо понимал ее состояние, понимал, как тяжела, как страшна для нее эта встреча; еще неизвестно, какое сообщение было бы для Фроси ужасней — то, с каким прибежала сейчас Настенька, или то, из которого Фрося узнала бы, что муж ее убит...

— Мам, мам... Дедушка!.. Идемте же скорее! — звала их Настенька, и это вывело свекра и его невестку из минутного оцепенения.

Они быстро пошли лесной дорогой в село.

Возле Ужиного моста Фрося остановилась.

— Передохнем маленько. Сердце зашло что-то. — Она прислонилась спиной к перилам и часто, трудно дышала. На белом, как мрамор, лбу ее выступила испарина. Губы непроизвольно, сами собой шептали: «Господи, спаси меня, грешную!»

Дальше, до самого дома, Михаил Аверьянович вел ее под руку. Настенька крепко вцепилась в материну юбку, да так и вошла в избу.

Сияющая Олимпиада Григорьевна носила от печки в переднюю какие-то закуски. Дарьюшка помогала ей. Старая Настасья Хохлушка, очевидно чувствуя приближение грозы, сидела на длинной лавке, облепленная детьми, сидела, как клушка, готовая укрыть, защитить своих птенцов. Николай, Петр, Карпушка и еще несколько затонских мужиков в передней пили водку. Николай — при мундире, в синих брюках, рыжие усы закручены черт знает как — был хмелен и весел. Однако при виде жены белые глаза его еще больше побелели, усы задержались. Все, кто был в комнате и громко разговаривал, ожидающе примолкли. Петр Михайлович принялся стричь воздух двумя своими пальцами. Иван Мороз, раньше всех из Фросиной родни прослышавший о приезде Николая

Харламова, не донеся стакана до раскрытого уже в готовности рта, так и застыл, как бы внезапно чем-то пораженный.

Фрося подгибающимися, плохо слушающимися ее ногами робко приблизилась к столу, низко поклонилась:

— Здравствуй, Коля. С приездом тебя...

Злая усмешка шевельнулась в усах. И он крикнул-скомандовал, особенно нажимая на благоприобретенное им в тыловых городках, чуждое затонцам «а»:

— Атставить!

Фрося вздрогнула и выпрямилась.

— Коля...

— Атставить!

Унтер-офицер по воинскому званию и ротный писарь по должности, Николай Михайлович в армии не имел своих подчиненных, и по этой причине ему никогда не удавалось командовать, — с тем большим удовольствием он делал это сейчас, когда перед ним стоял один-единственный человек, который полностью в его власти и который к тому же тяжело провинился перед ним. И, упиваясь и этой властью, и возможностью беспрепятственно чинить суд свой, он на малейшее движение ее отвечал этой глупой и злой командой: «Атставить!»

Он не глянул на отца и потому не видел, как темнел лицом Михаил Аверьянович, не слышал, как хрустнули пальцы, скрученные в железный кулак за его спиной. Михаил Аверьянович неслышно подошел к столу и глыбищей навис над служивым, сделавшимся вдруг опять маленьким и беспомощным. Отец спокойно осведомился:

— Скажи, Микола, там, откуда ты заявился, все такие дураки али ты один? — И, уже не в силах сдержаться, грозно выдохнул: — Мерзавец! Запорю сукиного сына!.. — Переведя взгляд на Олимпиаду Григорьевну, приготовившуюся было заступиться за своего любимца и теперь, под этим его тяжким, как кувалда, взглядом утратившую всю решительность, спросил: — Ты, глупая баба, сболтнула?

Пальцы за спиной вновь звучно и обещающе хрустнули. И, как бы только и ожидая этой минуты, в переднюю темным и мягким шаром вкатилась Настасья Хохлушка.

— Що ты надумав, батька? — накинулась она на сына. — Господь с тобой! Молодое дело — помиряся!—

И заговорила и забегала по избе, наполнив всю ее крупным своим, не по летам подвижным телом и певучим, воркующим, странно успокаивающим всех голосом: — Фрося, детынька, а ты б в ноги, в ноги ему, он и того... трохи охолонет, отойдет, простит тебя. С кем греха не бывает!..

Фрося послушалась и встала на колени:

— Прости меня, Христа ради, Коля!

— Атставить!

И, как бы обожженная этим обидным словом, Фрося метнулась к двери. И нельзя было понять, отчего — оттого ли, что случилось уж слишком неожиданно, оттого ли, что все были поражены тягостной этой сценой, но только никто не попытался удержать ее, а когда опомнились, было уже поздно: Фрося пропала...

Фрося и сама не сумела бы рассказать в точности, где была, где пряталась остаток дня, прежде чем оказалась в этих зарослях на берегу Вишневого омута. Был поздний вечер, пели, захлебываясь, соловьи. Круглый глаз омута светился тихо и загадочно. Теплынь. Фросю, однако, била лихорадка. Камень, который она должна была повесить себе на шею, лежал у ее босых ног, касаясь их своим холодным и острым краем. И от этого острого холода у нее стыло все внутри, губы леденели, тряслись.

Фрося не знала, что всюду за нею по пятам шла Улька, и потому чуть не умерла от страха, когда позади послышался шорох раздвигаемых ветвей.

— Кто там? — вскрикнула Фрося и, оглянувшись, узнала Ульку. — Ульянушка, тетя Ульяна, ты?

Улька стояла уже рядом и глядела на Фросю осуждающе своими светившимися в темноте и вроде бы уж и не безумными глазами.

— Доченька, не надо, — хрипло говорила она, вцепившись в Фросины плечи сухими, жесткими пальцами. — Пойдем отсюда, пойдем!..

Фрося подчинилась.

На маленькой, давным-давно выдолбленной Михаилом Аверьяновичем лодке они переплыли через Игрицу, недавно вошедшую в свои берега после весеннего половодья, и оказались в харламовском саду.

Здесь соловьи пели еще яростнее. Яблони отцветали, укрывая землю белой и бледно-розовой душистой порошей не успевших еще увянуть лепестков.

Фрося, подойдя к медовке, обняла ее, точно самую близкую свою подругу, и опять, как тогда в риге, сладко дрогнуло у нее внутри: она застонала. Соловьи примолкли, испуганно прислушиваясь: где-то неподалеку проснулся лесной петушок и дважды уронил свое тревожно-сердитое: «Худо тут, худо тут!» Коростель заскрипел, как всегда, надсадно и неприятно громко. Из-под нависших над рекою тальников снялась пара уток — разрезаемый их крыльями воздух тоже застонал, будто раненый.

Фросю по-прежнему била лихорадка. Дрожь ее тела передавалась яблоне, и медовка так же судорожно вздрагивала, осыпая стоявших под нею женщин дождем нежных своих, невесомых лепестков.

Вдруг Фрося качнулась, как от внезапного удара, и, замерев, стала напряженно слушать что-то. Лицо ее тотчас же осветилось под скупыми лучами молодой луны такой непередаваемой и вместе с тем такой простой и земной радостью, для определения которой не придумано еще слов и которую знают лишь матери, потому что только их природа одарила самым великим и бесценным даром — услышать однажды под своим сердцем нетерпеливое и властное движение новой жизни. Фрося и Улька крепко обнялись и бормотали что-то бессвязное, рожденное только сердцем, им же одним и понимаемое. Потом они присели под яблоней и просидели почти до рассвета. Лишь под утро ушли в шалаш и, убаюканные птичьим пением, заснули там наконец крепким сном.

А поутру в сад потянулась харламовская семья.

Первым появился там Михаил Аверьянович, разбудивший Фросю и Ульку. Позже пришли женщины — Настасья Хохлушка, Пиада и Дарьюшка, затем звонкоголосой ватагой ворвались ребятишки, предводительствуемые Ванюшкой.

Должно быть, никто из этих людей не думал об одной удивительной вещи: стоит только над семьей появиться темному облаку, Харламовы, не сговариваясь, ищут убежища в саду и делают это инстинктивно, подсознательно, подчиняясь какому-то особому чувству. И сад действительно либо вовсе отвращал беду, разгоняя сгустившиеся тучи, либо смягчал удары грозы. Люди, сами того не замечая, делались тут добрее, покладистее, внимательнее и предупредительнее друг к другу, все мирские тревожнения на время как бы вовсе оставляли их. Мужчины, рас-

положившись где-нибудь в холодке, под яблоней, курили, тихо беседовали, толкуя о том о сем; женщины либо занимались прополкой малины, либо, если это случалось в воскресенье, пили чай с медом, чаще же всего «искались» в тени дуба, у шалаша; последнее занятие действовало на них почему-то особенно благотворно — мирило, сдружало. Ну, а о детях и говорить нечего: Игрица, сад и примыкавший к нему лес на целый день поступали в их распоряжение, там они могли дать полную волю безграничной своей фантазии, там уж им не до драк, не до междоусобиц — в пору только защищать друг дружку от водяных, русалок, леших да разбойников...

Олимпиада Григорьевна, которая раньше и близко не подпускала к своему дому Ульку — для этого у нее были свои соображения и доводы, — сейчас, увидев ее в саду, не накричала на нее, как прежде, а только сказала мягко, по-доброму:

— А ты, Улюшка, шла бы домой. Ступай, родимая. Старик, отец-то твой, ищет поди тебя.

— Не гони ты ее. Что она тебе! — глухо и как-то неуверенно сказал Михаил Аверьянович и потупился.

Олимпиада Григорьевна сделала вид, что не услышала мужа, и взяв Ульку под руки, повела из сада.

С Фросей все разговаривали так, будто ничего и не случилось. А она все ждала, когда в сад придет Николай, и очень обрадовалась, узнав от Дарьюшки о том, что служивый загулял и вместе со всей компанией, с Петром Михайловичем и Карпушкой во главе, перекочевал в Варварину Гайку — догуливать.

6

Домой, к Харламовым, Фрося не пошла, как ни уговаривал ее свекор, а, захватив с собою детей, в тот же день перебралась под родительскую крышу. Прожила у отца с матерью до поздней осени, до того дня, когда четвертому ее ребенку, названному в честь деда Михаилом, исполнился один месяц и когда Харламов-старший, истосковавшийся душою по невестке и внукам, сам пришел в дом Рыжовых.

Илья Спиридонович, завидев свата, обрадовался ему необычайно, потому что в последние дни пребывал в страшном смятении.

— Что же теперь будет, Аверьяныч, а? Царя спихнули, а теперь и Керенского под зад... Конец свету? — завопил он, едва Михаил Аверьянович переступил порог. — Как же это без царя, а?

— Не знаю, сват. Мои вон, Петро да Павло, митингуют все...

Жизнь сделала резкий, непонятный поворот, и старые люди не знали, что же им надо делать, к чему все это: к добру ли, к худу ли. Скорее всего к худу, потому что сваты уже знали: что бы ни совершалось в жизни, по крайней мере на их памяти, то все почему-то только к худу, а не к добру. Так им казалось. А вокруг творилось нечто совершенно удивительное и небывалое. И что касается Ильи Спиридоновича, то он чувствовал, что никуда от всего этого не уйти, не укрыться, тут уж, пожалуй, не поможет и его давнее средство, когда можно было погрузиться в трехдневную спячку, отгородившись таким образом хоть на малый срок от всех людских забот, — средство это было слишком слабым перед лицом надвинувшихся и потрясших все до основания событий. И Илья Спиридонович судорожно силился понять, что же такое содеялось, куда все пойдет, куда выведет и как ему самому-то отнестись ко всему этому. От поповского дома, где теперь разместился сельсовет, слышалась какая-то музыка. По улице, мимо Рыжовых, плотной толпой торопливо шли люди; многие несли красные флаги и пели. Илья Спиридонович не вытерпел и открыл окно. В его уши тотчас же ударило разноголосое, незнакомо-волнующее и грозно:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!

Впереди толпы шли Федор Гаврилович Орланин, Петр и Павел Харламовы и, чуть приотстав от них, Карпушка. Илье Спиридоновичу показалось, что он даже различил его тенорок, затерявшийся в рокоте других голосов.

— Господи, святитель... — закрестилась Авдотья Тихонова.

— Нишкини ты! — прикрикнул на нее Илья Спиридонович, торопливо прикрывая створки окна.

Но и через плотно закрытое окно в избу вторглись

эти тревожные, грозящие кому-то и словно требующие голоса:

Это есть наш последний
И решительный бой...

— Сват, ай ты оглох? Что же это, а? Все вверх тор-машками, а? Сват!..

Илья Спиридонович поднял глаза на свата и удивленно раскрыл рот.

Михаил Аверьянович держал в пригоршне, точно го-лого птенца, радостно гыкавшего внука Мишку, щекотал его своей бородой и сам улыбался, как малое, неразум-ное дитя, счастливейшей улыбкой. Рядом стояла Фрося и вся светилась, и была сейчас прежней, румяной, круг-ленькой, свежей Вишенкой, и в избе вроде бы стало вдруг просторней и светлей.

7

Спроси своих товарищей, с каких лет помнят они себя, и один вам скажет, что с пяти, другой — с шести, тре-тий — с восьми, а четвертый вдруг объявит, что с трех лет. В это трудно поверить, но такое бывает со многими. Весьма возможно, что человек не вспомнит, что было с ним в семь, восемь и даже в десять лет, но он хорошо за-помнил то, что случилось с ним или с близкими для него людьми, когда самому ему было не более трех лет. Ми-хаил, младший из харламовских внуков, помнит себя именно с трех лет.

Вот он, еще не Михаил, просто Мишка, Мишатка, Ми-шанька, сидит на печи, свесив босые ноги, и наблюдает за прабабушкой Настасьей, которая готовится поить только что появившегося на свет теленка молоком-моло-зивом. Мишка голоден, как были голодны все в том ты-сяча девятьсот двадцать первом, но он уже знает, что молоко это людям нельзя еще пить—оно слишком густое, солоноватое, по цвету напоминает куриный желток, про-низанный тончайшими, еле видимыми нитями кровенос-ных сосудов зародыша. Его и сдаивают не в обычную до-енку, а в ведро, которое почему-то называют «поганим». И ведро это все в жирных, клейких потеках. Его долго отмывают кипятком, но и после того поверх зачерпнутой им воды мерцают тысячи золотых монет-звездочек. Нуж-но ждать дня, когда — после восьмого или девятого удоя — молоко побелеет, утратит излишнюю солонова-

тость и вязкость. Тогда его можно будет пить не только телку, кошке, но и людям, в первую очередь, конечно, ребятишкам. О, как ждут они этого дня! Для них это великий праздник, для теленка же — скорей первый день великого поста: он уже не получит молока в чистом, натуральном, так сказать, виде — теперь придется довольствоваться разбавленным. Поначалу он ничего не поймет и, не подозревая, какую шутку проделали с ним люди, доверчиво окунет прямо с ноздрями, до самых глаз, свою морду, жадно потянет в себя содержимое таза и только уж потом резко подымет голову и, недоуменно глядя на стоявшую рядом старуху, взмыкнет, как бы спрашивая: «Это что же вы со мною делаете, люди?» С его губ сорвутся жидкие синие капли, и кошка, которая всегда тут как тут, начнет слизывать их с пола, тоже удивляясь: «Почему так невкусно?».

— Не нравится? — обратится к ним Настасья Холушка. — Что же поделаешь? Нам тоже хочется молочка. Одна у нас с вами кормилица.

Кормилица — это Пестравка. Скоро ее введут в избу, чтобы подоить. Пестравка ждет этой минуты и уже стоит у сеней, легонько трогая крутым отполированным рогом дверную щеколду: пора, мол, пускайте! На примятом потемневшем снегу, под большим брюхом коровы, перекатываются серые комочки воробьев, расхаживают куры и, разгребая ногами, клюют что-то. Белоглазая галка, воровски косясь то в одну, то в другую сторону, длинным и острым, как шило, клювом выдергивает из Пестравки шерсть, набирает ее целый пучок и улетает к церкви. Но вот, почуяв что-то, воробьи вспархивают, куры отбегают. Отворяется дверь — и Пестравка входит в избу. Входит быстро, смело, с достоинством, как и полагается кормилице. В избе сразу же становится тесно, и сама изба, до этого такая просторная, делается маленькой, игрушечной: коровий хвост где-то у порога, а рога — впереди, у самого окна, и нелегко потом будет развернуть Пестравку на выход.

Перед тем как впустить ее в избу, ребятишек — всех до единого — загоняли на печь, чему они не сопротивлялись: оттуда, с высоты, удобнее было глядеть на корову, стряхивать с ее острой хребтины разные соломинки, былки, воробьиный и галочий смерзшийся помет. Пестравке нравилось это, и она, блаженно зажмурившись,

вроде бы подремывала, лениво жуя серку. Настасья Хохлушка, закончив дойку, брала скребницы и чесала начинавшую линять Пестравку, оставшуюся в скребнице шерсть отдавала Любашке, Машутке и Настеньке. И те с помощью мыла, клея и еще каких-то ими же изобретенных растворов скатывали из этой шерсти маленькие аккуратные мячики и по весне играли в лапту и просто в свою девичью игру — в мячик.

Итак, Мишка сидит на печке и наблюдает за тем, как прабабушка, или «старая бабушка», как звали ее внуки и внучки, принимается поить теленка, — теленок прожил на свете всего несколько часов, ночью его принесли вон в той, еще не просохшей, покрытой зеленой слизью дерюге, которая сейчас лежит у вздрагивающих, расползающихся, неуверенных, голенастых ног новорожденного. Приучить теленка пить из таза — дело нелегкое, требующее терпения и особой сноровки. Этими-то как раз качествами в полной мере и обладала Настасья Хохлушка. Другая в подобных случаях поступает очень просто: сунет в рот теленку один или сразу два пальца, предварительно окунув их в теплое парное молоко, и подводит теленка к тазу: рука вместе с мордой животного опускается в таз, и теленок, повиливая хвостом от удовольствия, самозабвенно сосет палец, всасывая заодно и молоко. К этому он так привыкает, что уж потом, сколько ни бейся, ни за что не станет пить самостоятельно. Но и это еще не все: теленок приобретает дурной и вредоносный порок — начинает жевать все, что попадется ему на глаза и к чему может дотянуться своей обслюнявленной мордой: шубу, поддевку, утиральник, варежку, одеяло, судомойку, шаль. И порок этот почти неизлечим, как, скажем, алкоголизм или курение табака у человека.

Потому-то Настасья Хохлушка и придумала свой способ кормления теленка. Она избрала для этого путь на первых порах даже тернистый, но единственно правильный: теленок сразу же должен пить сам. Она подталкивает животное к тазу, крепко-крепко обнимает его шею и тычет мордой в поило. Теленок фырчит, бодается, пробует вырваться, но Настасья Хохлушка неумолима — не отпускает и нисколько не сокрушается оттого, что ее питомец поначалу не отхлебнет ни капельки.

— Хай будэ так! Не околеет. Завтра як миленький зачнет пить.

Голод есть голод. Не только людей заставляет он быть сообразительнее и предприимчивей. На следующий день, как и предполагала старуха, теленок, как бы уразумев вдруг что-то чрезвычайно важное в жизни, сам подходит к тазу и начинает пить молоко, да так, будто делает это по меньшей мере в сотый раз. И, глядя на него, довольная им и в особенности собою, Настасья Хохлушка скажет:

— Давно бы так, голубок. Добре!

На этот раз, однако, Пестровка «принесла» бычка с небывало упрямым характером.

— Вылитый Гурьян! — сказала про него старуха.

Он наотрез отказался пить молоко. Вот уже второй день мается с ним Настасья Хохлушка. Последняя ее попытка образумить непокорного телка закончилась для нее трагически: вырвавшись из рук, бычок так боднул крутолобой своей головой, что в кровь разбил бабушкино лицо и содрал с левой ее щеки большую, с двумя длинными черными волосинками родинку, придававшую лицу Настасьи Хохлушки какую-то особую доброту и привлекательность.

Завидев кровь, Мишка пронзительно заорал. На его крик из другой комнаты выбежали Фрося, Дарьюшка, Пиада и самая молодая из снох, жена Павла, высокая красавица Фея. Они подняли старуху, подвели к умывальнику, умыли. И тогда кто-то из них, кажется Дарьюшка, сказала:

— Вот напасть-то! Рак еще приключится.

Последние слова на всю жизнь врезались в Мишкину память.

В ту пору он не мог понять, как это рак, которого Санька много раз ловил в Грачевой речке и Игрице, как это он может «приключиться» к старой бабушке?..

Однако с Настасьей Хохлушкой стало твориться неладное. Вскоре на месте сшибленной родинки появилось большое темно-коричневое пятно, потом пятно это сделалось дырой, через которую вытекало молоко, когда старуха пила его из кружки. Михаил Аверьянович приносил из лесу и сада разные травы, но так и не напал на целебную для такой болезни.

Настасья Хохлушка умерла весной. Перед самой смертью она подозвала младшего правнука и попросила.

— Мишанька, полезь-ка, риднесенький, на подволоку и достань яблочко...

Фрося, услышав это, добавила от себя:

— От медовки, сыночка, слышь?

Настасья Хохлушка не съела яблоко. А долго нюхала его, прижимая к обезображенному страшным недугом лицу. Потом вроде бы даже улыбнулась и тихо вымолвила:

— Хорошо...

Сама сложила руки на груди, сама прикрыла глаза и через минуту была уже мертвой.

Похороны назначены были через два дня. За это время Михаил Аверьянович, надеялся отыскать младшего сына Павла и внука Ивана, гонявшихся где-то со своим небольшим отрядом за бандой атамана Попова, чудом уцелевшего при разгроме антоновщины и учинившего зверскую расправу над баландинскими коммунистами и комсомольцами. Отыскать сына и внука Михаилу Аверьяновичу не удалось, так как к тому времени их отряд, преследуя бандитов, ушел далеко за пределы Саратовской губернии. О Николае Михайловиче пока что вообще не было ни слуху ни духу: как уехал после той побывки из Савкина Затона, так и след его простыл.

Копать могилу вызвалось чуть ли не все мужское население Савкина Затона. Мужики пришли, не дожидаясь, когда их попросят: поминки сулили какую-то еду и, может, даже чарку водки, от которой они тоже не отказались бы. Все хорошо знали, что Михаил Аверьянович не поскупится, зарежет последнюю овчонку, а помянет мать как следует, по-христиански, со всеми возможными почестями. Что же касается Карпушки и Ивана Мороза, явившихся с лопатами на харламовское подворье ни свет ни заря, то им-то доподлинно было известно, что Михаил Аверьянович зарезал ту овчонку, а заодно и виновника гибели Настасьи Хохлушки, прозванного было Гурьяном-младшим. Карпушка и его приятель, или кум, Иван Мороз не могли сдержать счастливого глотательного движения.

Но еще раньше Карпушки и Мороза со всего села сбежались ребятишки. Они хорошо знали, что за поминальный стол их посадят в последнюю минуту, вместе с нищими да разными странницами и болезными вроде Пани Страмника, и все-таки пришли затемно. Чтобы как-то скоротать время, которое в таких случаях идет ужасно медленно, ребятишки затеяли игру, а точнее — драку,

состязаясь в силе, ловкости и смелости. К ним вскоре присоединились и «хохлята» — Егорка, по прозвищу Егор Багор, Ленька, по кличке Лизуй, так как при игре в козны, целясь в кон, он всегда высовывал набок язык, как бы помогая им себе; выскочил из избы и маленький Мишка, который не скоро еще сообразит, почему это его все зовут Челябинским. Судя по всему, «хохлята» не были особенно огорчены смертью старой бабушки, потому что тотчас же включились в веселую баталию и на прavaх хозяев дома, к которому так или иначе привлечены сейчас взоры затонцев, чувствовали некое превосходство над своими сверстниками, а потому и настроены были по-праздничному.

Вместе с мужиками на кладбище пришла и Фрося. Ее послал сюда свекор, которому все казалось, что Петр Михайлович и Карпушка, возглавившие команду могильщиков, не сумеют отыскать подходящего места и что Фрося, по природе чуткая и сердечная, сделает это лучше их: ведь мужики отправлялись копать могилу для самой старшей из Харламовых, а сколько их потом ляжет вблизи от нее! И Фрося выбрала лучшее, как ей казалось, место — на склоне, у кромки лугов, против высокой и кудрявой ракиты, роняющей в знойные солнечные дни густую тень. В этой-то тени за каких-нибудь полчаса была выкопана глубокая и просторная яма. Мужики, усевшись на свежей, сыроватой насыпи, закурили и принялись рассказывать разные истории.

Вскоре в сопровождении попа, певчего церковного хора и большой толпы затонцев принесли покойницу. Отец Леонид, сын недавно скончавшегося отца Василия, года два тому назад вернувшийся в село по окончании семинарии, торопясь, начал служить панихиду, бесцеремонно отталкивая локтем мешавших ему старух. Отцу Леониду прислуживала монахиня Прасковья, дальняя родственница Савкиных, приехавшая несколько лет тому назад из подмосковного монастыря. Женщины причитали. Михаил Аверьянович стоял сгорбившись, и с его щек время от времени срывалась медленная скупая слеза. Гроб на веревках спустили на дно могилы. Спрыгнувшие туда Карпушка и Мороз подсунули его в нишу, а потом с необычайным проворством, словно бы боясь, что и их закопают вместе с покойницей, выскочили наверх, бледные и малость растерянные. Тотчас же застучала бросаемая гор-

стями земля. Мужики взялись было за лопаты, когда прямо к краю разверзшейся темной ямы протиснулся человек. Все узнали Михаила Сорокина, единственного сына древней Сорочихи. Он был худ, еле держался на ногах и срывающимся голосом просил:

— Михаил Аверьянович... Христом богом!.. Разреши и мою старуху похоронить в вашей могиле. Не в силах я вырыть свою. Моченьки моей нету, отошал... Не откажи!..

Тут все оглянулись и увидели гроб, а в гробу Сорочиху.

— Что ж, хорони, Михайла. Пускай лежат рядышком. Как-никак подруги. Вдвоем небось повеселее будет...

Минут через десять вырос свежий холмик, а над холмиком бессменными часовыми встали два креста.

Петр Михайлович расплатился с отцом Леонидом за панихиду. Протянула свою руку и Прасковья, но стоявший рядом Карпушка пресек ее домогательства не слишком вежливым, но вполне резонным вопросом:

— А тебе за какой хрен! Иди на поминки, лопай сколько твоей душе угодно, а за рублем не тянись, бесстыдница!

Прасковья сердито поджала губы и нехотя удалилась.

Поминки продолжались до поздней ночи. Многие побывали на этих поминках. Многих сумел накормить харламовский дом.

Пришел помянуть Настасью Хохлушку и сад — он принес свои дары: жирную еду люди запивали кисло-сладким холодным грушевым и терновым взварами, а черная смородина, каким-то образом сохраненная покойной старухой во всей неповторимой свежести, пошла заместо изюма в кутью да в пироги; от вишневой настойки отец Леонид едва нашел дорогу к своему дому. Карпушка же и Иван Мороз — те и вовсе не пытались искать этой дороги, а, приползши на карачках за голландку, улеглись там в обнимку и проспали до утра.

8

Маленькому Мишке, перекочевавшему в дедушкин сад, захотелось однажды непременно увидеть и подержать в руках птичку, которая так хорошо поет.

— Пойдем, Мишуха, я покажу тебе все наше богатство.

Михаил Аверьянович поднял внука на руки и вышел из шалаша.

Осторожно приблизились к кусту крыжовника... Михаил Аверьянович опустил внука на землю, предостерегающе приложил два пальца к губам — молчи! — наклонился над крыжовником, уже отцветшим и сверкавшим под солнцем изумрудными бусинками только что завязавшихся плодов. Соловей-самец еще раньше вспорхнул и теперь без особой, казалось, тревоги наблюдал из соседнего куста. Самка продолжала сидеть в гнезде и, скосив голову, следила за рукой Михаила Аверьяновича черной живой крапункой глаза. Она не взлетела и тогда, когда рука коснулась ее. Михаил Аверьянович поднял птицу и кивнул внуку в сторону гнезда: «Глянь-ка, сынок!» В круглом гнезде лежали четыре голубые горошины. Мальчик судорожно потянулся было к ним, но дед тихо, настойчиво остановил его руку, сказал:

— Этого делать нельзя, Мишуха. Уронишь яичко — оно и разобьется, пропадет. А из него скоро птичка народится и будет так же хорошо петь. Понял? Ну и умница, молодец. Теперь пойдем, я тебе еще что-то покажу...

Михаил Аверьянович положил соловыху на гнездо, поглядел, как она, легко оправив перья, отряхнувшись, уселась, замерла в мудрой неподвижности, и, взяв внука опять на руки, направился в дальний угол сада, к кусту калины. Там, внутри куста, на сучьях, похожих на человеческую ладонь, лежало крест-накрест несколько палочек, и было странно и боязно видеть на ветхом сооружении два нежно-белых яичка.

— Это горлянка снесла. Лесная голубка. А вон она и сама. Видишь? — Михаил Аверьянович указал на плетень, где сидела серая, с бело-дымчатым брюшком птица с маленькой точеной сизой головкой. — Ну, а теперь пойдем проведаем сороку-воровку. Как она там поживает, шельма? Только ты в терн-то не лезь, уклешься. Я принесу и покажу тебе ее яичко.

Сама великая мошенница, сорока была недоверчива и подозрительна. Чуть заслышав людские шаги, она неслышно скользнула из большого своего, сооруженного из сухих веток и отороченного колючим терновником гнезда и, чтобы отвлечь внимание человека, затараторила, загалдела далеко в стороне, перелетая с дерева на дерево.

Михаил Аверьянович долго искал отверстие, куда бы можно было, не уколовшись, просунуть руку, и, найдя наконец, нащупал на теплом, усталом чем-то мягким дне гнезда шесть горячих яиц. Взял одно и вернулся к внуку.

В маленькой ладошке Мишки оказалось продолговатое серо-зеленое, кое-где усыпанное золотистыми веснушками яичко. Мишка просиял, весь, покраснел и торопливо вернул яйцо деду. Тот зажал его между большим и указательным пальцами правой руки, приложил к глазу и посмотрел на солнце. Яйцо не просвечивалось, было непроницаемым.

— Насижено, — глухо и виновато сказал Михаил Аверьянович и поспешил к гнезду.

Потом они вышли за пределы сада и углубились в лес. Черемуха отцвела, но лес весь еще был полон настоящего, терпкого ее запаха. Туго гудел шмель. Порхали разноцветные бабочки. У старого, полуистлевшего пенька горкой возвышался муравейник. Его хозяева сновали туда-сюда, таскали крупные желтоватые яйца, каких-то паучков, букашек, а одна муравьиная артель всем миром волокла гусеницу. От муравейника пахло парным кисловатым зноем.

На поляне, куда они вышли, цвел шиповник, и дед с внуком как бы погрузились в медовую душную яму, пчелы и шмели гудели тут особенно густо и озабоченно.

Пошли дальше. Лес становился все темнее. Приходилось идти, пригнувшись, одной рукой все время обороняясь от гибких веток, норовивших больно хлестнуть по лицу. В частом подлеснике, увитом ежевикой и хмелем, заросшем пахучим дягилом, борчовкой, дикой морковью, волчьей радостью и папоротником, они остановились, и Мишка ликующе закричал:

— Деда, варезка, варезка!

— Нет, сынок, то не варезка. Вот погодь-ко...

На тоненькой гибкой лозине бересклета висело нечто очень схожее с рукавичкой или с детским валяным сапожком. Напоминало это нечто и глиняный рукомоичек с небольшим краником, выведенным вбок и немного книзу, — для того, видать, чтобы не затекала вода. Привязано оно было к ветке той же крапивной, либо конопляной,

либо еще какой, добытой из волокнистого стебля пенькой, которая составляла основу всего сооружения.

Михаил Аверьянович тихо притронулся пальцем к жилию. Из мягкого горлышка вынырнула совсем крошечная, с мизинец величиной, пичужка и вмиг пропала, сгнула в зарослях. Михаил Аверьянович наклонился, заглянул в горлышко, но ничего не увидел: гнездо было глубокое, а боковое отверстие, вытянутое трубочкой, не позволяло посмотреть на дно.

— Дедушка, давай возьмем с собой этот домик.

— А зачем? Разве можно обижать птичку! Глянь-ко, сколько трудов она положила!

— А ты мне еще что покажешь? — спросил Мишка и вдруг закричал: — Вон, вон она, вижу, вижу! — Острый детский глаз увидал неподалеку от гнезда ту самую птичку, которая только что выскочила из своего домика, потревоженная людьми. — Дедушка, как ее зовут?

— Ремезом ее величают... Ну, пойдем, пойдем! Я тебе, Мишуха, еще и не такое покажу, дай срок. А сейчас пойдем, яблони пить захотели. Напоить их надо.

Они вернулись в шалаш, чтобы захватить ведра, и тут увидели ужа.

— А у нас с тобой, Мишуха, гость. Бачишь, какой? А венец-то, корона-то — прямо царская! Как бы это нам его назвать, а? Должно же быть у него имя... Может, Царем? Пускай будет так: Царь! Пускай правит у нас всеми лягушками-квакушками, ящерицами-ползушками и другой разной тварью.

Царь лежал, свернувшись на подушке, в том месте, куда падал, просунувшись сквозь дырявую крышу, солнечный луч. Заслышав шаги, ползучий государь поднял золотую коронованную голову, монарше-сердито пошипел, постриг воздух раздвоенным, похожим на ласточкин хвост язычком и, волнисто извиваясь, не спеша пополз к краю кровати. Михаил Аверьянович поймал его и, к великому ужасу и ликованию внука, положил себе за пазуху.

— Вот так. Погрейся трошки, ваше величество. Ну как? Добре? То-то же. Ишь ты, притих, понравилось, видеть. Ну, правь своим царством-государством. Да поумнее правь, не обижай подданных-то своих. Хорошо?

Михаил Аверьянович внезапно помрачнел, подумал о чем-то другом, постоял минуты две неподвижно, затем

осторожно вынул ужа из-за пазухи и так же осторожно положил на землю.

Царь высоко поднял голову и, покачивая ею, страшно важный, величественно пополз под кровать.

— Видишь, Мишуха, мы не одни с тобою в саду. Пускай живет! Всем места хватит на земле. Добре?

— Добре! — подтвердил Мишка солидно.

— Ну, пошли. Яблони кличут нас. Чуешь?

И, повеселев, Михаил Аверьянович засмеялся, счастливый.

Мишка очень любил ходить в лес с дедушкой. Он давно заметил, что при дедушке лес не то чтобы преобразался, но делался как-то светлее и странно похожим на самого дедушку. Мишка чувствовал в нем себя так, словно бы его обнимал кто-то большой и ласковый. Дубы добродушно улыбались, широко раскинув могучие руки-сучья, будто и в самом деле собирались заключить мальчишку в свои объятия. Осины весело лепетали на непонятном языке, радостно хлопали ладошками — трепетными даже при полном безветрии своими листьями приветствуя старых знакомых. Ближе к осени на узкую лесную дорогу то в одном, то в другом месте высовывались тонкие и цепкие руки ежевики с пригоршнями спелых ягод: нате, добрые люди, угощайтесь! Стволы молодых лип наперебой выставляли перед ними свою атласную прочную кожицу: раздевайте меня, лучшего лыка вам не найти!

Михаил Аверьянович шел и мурлыкал себе под нос какую-то песенку, похожую на «Во саду ли, в огороде». Мишка вспомнил, что дедушка почти всегда поет какую-нибудь песню и вообще в семье Харламовых любят петь и взрослые и дети. Отчего бы это? Ведь не так уж сладко живет им на свете, а поют? Мишка не вытерпел и спросил деда. Михаил Аверьянович ответил не вдруг. Подумав, он приподнял внука на уровень своего лица и, заглянув, кажется, прямо в Мишкину душу, сказал очень памятно:

— Мы, Мишанька, почесть все лето проводим в саду. А в саду-то птицы. А птицы поют песни. Знать, от них это у нас...

Сдирая с дерева лыко, Михаил Аверьянович морщился, словно ему самому было больно, и, как бы извиняясь

за причиненные дереву страдания, виновато бормотал:

— Ну что ж поделаешь? Нужны вы нам...

Однажды они увидели по дороге юный ясенек, по которому какой-то прохожий, забавляясь, беспечно тюкнул тспором. Тюкнул и пошел себе дальше, а раненое дерево хворает, и алый сок, стекающий из ранки, напоминает живую кровь.

Михаил Аверьянович нахмурился, нашел в кармане у себя тряпку и туго перевязал рану, сказав при этом в адрес прохожего:

— Болван!

Мишка же, молча наблюдавший за дедом, думал о своем. Теперь, кажется, он начал — не столько, правда, разумом, сколько детской душой своей — понимать, почему дедушка почти никогда не говорил людям грубых слов и вообще старался не обижать, хотя самого-то его и били — старая бабушка рассказывала об этом, — а обижают и по сей день...

Не далее как вчера в сад к ним забрел пьяный и страшный, как бирюк, Андрей Гурьяныч Савкин и наговорил Михаилу Аверьяновичу много постыдно-пакостных слов, угрожал расправой над его сыном Павлом и старшим внуком Ванюшкой, дравшимися за Советскую власть. Думалось, дедушка, который был вдвое сильнее Савкина, избьет его до смерти и выбросит в канаву, как выбрасывают туда дохлых собак, а вместо этого он только сказал глухо и внушительно — так говорил всегда, когда внутри у него подымалась буря:

— Не балуй, Андрей Гурьяныч... — и добавил еще внушительнее: — Власть-то ваша, кажись, кончилась. Не ровен час — могу и отколотить, давно пора...

Савкин от этих слов мгновенно отрезвел. Пощупал крохотными угрюмыми глазками стоявшего против него бородатого великана, повернулся и молча пошагал из сада.

— Так-то вот лучше! — удовлетворенно вздохнул Михаил Аверьянович, разжимая кулаки и как бы радуясь тому, что не пришлось пустить их в дело: он, похоже, чувствовал, что недалек был от этого...

Другой случай был тоже недавно.

Михаил Аверьянович почти никогда никого не бил. Тем не менее затонские и панциревские ребята не часто

отваживались совершать свои набеги на его сад. Лишь Митька Кручинин, давний приятель Ванюшки Харламова, парень исключительно отчаянный, решился наконец навеститься со своими дружками в сад к Михаилу Аверьяновичу. К тому времени он и его сподвижники были уже здоровенными ребятами, организовавшими в Савкинском Затоне первую комсомольскую ячейку. Но так как воровство яблок на селе вообще не считается воровством, то обязывающее со многими звание комсомольца нисколько не смутило ни Митьку, ни его приятелей и не заставило их отказаться от намеченного вторжения.

На правах Ванюшкиного друга Митька нередко бывал в харламовском саду и хорошо знал его расположение, но все же в канун «операции» сделал дневную разведывательную вылазку в соседние сады, принадлежащие Карпушке и старику Рыжову. По несчастью, сразу же наткнулся там на самого Илью Спиридоновича. Было это уже под вечер. Илья Спиридонович сидел на берегу Игрицы, подстелив сухого душистого сенца, удил рыбешку и, видать, пребывал в отличном расположении духа, потому что рядом с ним валялся некий сосудец, уже опорожненный.

Митька осторожно подошел сзади и спросил воркующим, голубиным голосом:

— Клюет, дедушка?

— Да что-то не того, — невольно поддавшись Митькиному тону, миролюбиво ответил Илья Спиридонович, не оглядываясь: наверное, он боялся оторвать свои очи от поплавок, которые вот уже более двух часов торчали над водной гладью в полной неподвижности.

— Ну, а яблочишки-то в саду есть? — осведомился Митька все тем же добрейшим, располагающим голосом.

— Отчего ж им не быть? Были.

— Ну и что же?

— Были, говорю, да сплыли, — продолжал старик уже менее миролюбиво. — Посшибали почесть все. В особенности одолел Митька Кручинин, Марфы-вдовы сын, ни дна б ему, ни покрывки! Донял, нечистая сила! Спасу от него нету! Разбойник с большой Чаадаевской дороги, а не кысымолец. Ну, попадетсЯ он мне..

Илья Спиридонович хотел было уже оглянуться и узнать наконец, кому изливает гнев свой, да не успел. Получив энергичный пинок под зад, он, выпучив в страшном

испуге глаза, уже барахтался в воде среди удочек, а на берегу, корчась от смеха, стоял Митька и давился приторно-гневными словами;

— Я тебе покажу, старый ты дурак... Я тебе покажу «кысымольца», рыжая ты кочерга! Хлебай теперь водицу да, смотри, на крючок не подцепись, как подлещик. Я вытаскивать тебя не намерен — удилище не выдержит. В тебе одного дерьма, поди, два пуда наберется... Тони, тони, черт с тобой! Одним скопидомом на свете будет меньше. Советской власти от тебя все одно толку мало!

Сказав это, Митька заложил руки в карманы штанов и, беспечно насвистывая, пошел вдоль берега, вспугивая купающихся в Игрице девчат.

И неизвестно, что случилось бы с Ильей Спиридоновичем, — может, утонул бы старикашка, — не случись поблизости Карпушки, который в тот день как раз, односторонне и вероломно нарушив перемирие с осокорем, возобновил с ним смертельную войну. Заслышав бульканье и жалобные крики: «Спасите! Спасите!» — он подбежал к тонущему, но вместо того чтоб немедля, ни секунды не теряя, начать спасать, вступил с ним в длительные переговоры. При этом сам Карпушка стоял на берегу, а Илья Спиридонович бултыхался в воде, ныряя, точно селезень: его огненно-рыжая голова то показывалась над поверхностью реки, то вновь исчезала под водой.

— Как это тебя угораздило, кум? — перво-наперво спросил Карпушка, улучив момент, когда старик вынырнул из воды.

В ответ Илья Спиридонович выпустил из ноздрей две длинные, вспыхнувшие под косыми лучами закатного солнца струи и забормотал невнятно:

— Да пом... пом... Христа...

— Да ты никак рыбу-кит изображаешь, кум? — продолжал допытываться Карпушка, когда старик вынырнул во второй раз. — Ишь какие фонтаны пускаешь, вылитый кит в окиян-море!

В ответ опять: — Пом... пом... Хри... Христа...

— Да не хрюкай ты, черт те побери! — разозлился Карпушка. — Говори толком, кто тебя спихнул?

И только после этого до Карпушкиного уха долетело совершенно отчетливо:

— Помоги ради Христа! Стоит как истукан! Не видишь — тону?..

— Вижу, но все ж интересно, как это ты, кум, туда?

— А тебе не все равно — как? Помоги, говорю! Гибну же!..

— А можа, ты, кум, того... смеешься надо мной, а? — спросил недоверчивый Карпушка.

И лишь после того, как кум хлебнул очередную и притом чрезмерно великую порцию воды и снова стал погружаться на дно, на этот раз с явным намерением остаться там навсегда, только после этого Карпушка торопливо сбросил с себя штаны и бухнулся в воду.

Илья Спиридонович был вытасчен наконец на сушу.

Они долго сидели в саду Рыжовых, дружно кляня нынешнюю молодежь и на все лады расхваливая старину, когда, если верить их словам, люди купались в масле, а парни по крѣтости своей могли соперничать с ангелами. О кулачных баталиях, при которых им обоим не однажды «щупали» ребра, что-то не вспоминали...

Как бы там, однако, ни было, а верно говорится в пословице: «Нет худа без добра». Вспомнив про эту самую половицу, Илья Спиридонович предложил Карпушке дружбу, и тот охотно принял ее. Расчувствовавшись, Илья Спиридонович сходил к себе в шалаш, где у него была схоронена еще одна бутылка водки. Вдвоем они ее быстро «усидели». С той поры и в самом деле очень сблизились, навсегда, казалось, забыв о прежних своих неладах.

Что же касается Митьки Кручинина, то он в ту же ночь в условленное время привел свою дружину в харламовский сад.

Михаил Аверьянович уже засыпал в шалаше, когда послышался треск плетней, шум встряхиваемых деревьев и drobный, гулкий стук падающих на землю яблок.

Захватив большую дубовую палку с толстым, круглым, величиною с человечесью голову набалдашником — единственное оружие, которым он располагал, — Михаил Аверьянович вышел из шалаша. Он сейчас же понял, что в саду орудуют далеко не дети, а потому и заговорил громко и вполне серьезно, тоном весьма решительным и достаточно убедительным:

— Не балуйте, хлопцы. Стыдно небось. Худо будет... Я-то уж пожил на свете и смерти не боюсь, но ведь и вам не поздоровится. Хоть двоих, а все-таки убью. Слышите?!

Хлопцы, конечно, услышали. А так как они хорошо знали, что Михаил Аверьянович не бросает слов на ветер, то призадумались, затихли, затаились. Очевидно, никто не пожелал оказаться в числе тех двоих, которых старик обещал отправить не дальше и не ближе как на тот свет, потому и сочли за лучшее поскорее убраться из его сада.

— Бежим, ребята! — скомандовал Митька. — Прибьет чертов хохол!

С деревьев дружно посыпались, но теперь уже не яблоки, а парни.

Через минуту все стихло. Птицы, разбуженные этим ночным нашествием, одна за другой вернулись в свои гнезда и дупла. Некоторое время они еще перешептывались, чулюкали, возились, потом успокоились вовсе, и вокруг все смолкло. Лишь там, в темноте, чудилось сонное дыхание Вишневого омута.

Михаил Аверьянович не мог заснуть в ту ночь. Он лежал на своей постели вверх лицом, подложив руки под голову, и неподвижными, широко распахнутыми глазами смотрел через прохудившуюся крышу на далекие звезды, усеявшие черный свод неба, и беспокойно думал о людях, о том, какие же они все-таки глупые, хотя и считаются разумнейшими существами на земле:

«Ворвались, как дикари, в сад. Поломали сучья, пошибали яблоки, которые в темноте-то и собрать не смогли бы. Калечат, кромсают живое тело земли, вечную красу его... Да пришли бы ко мне да попросили — накормил бы досыта, и с собой берите сколько угодно. Но не калечьте сад, ведь вы же люди, а не звери! Земля ведь теперь вся ваша, вы хозяева земли. Так почему же не бережете ее, почему не учат вас любить родную природу? Не научившись любить ее, вы не научитесь и по-настоящему любить родину свою, а человек без родины — не человек, а так, тля, букашка...»

На следующий день обо всем, что мучило его ночью, рассказал старшему внуку Ивану, не так давно вернувшемуся в Савкин Затон и организовавшему вместе с Митькой Кручининым комсомольскую ячейку. Слова старика взволновали Ивана, и он попросил деда:

— Завтра у нас комсомольское собрание. Приходи и скажи все это нашим ребятам. А, дедушка?

Михаил Аверьянович усмехнулся:

У вас с Павлом каждый день собрания. Об чем же будете балакать? Опять о полах? Религия — дурман и прочее... Так, что ли?

— У нас лекция «Религия — опиум и дурман для народа». Ты что, читал наше объявление у нардома?

— Да нет. Догадываюсь. Об чем же вам еще балакать? По-вашему, выходит, что в церковь идут одни верующие. Ведь так?

— Ну, так. А что?

— Стало быть, и ты, и твой отец, и твой дядя Павел, и Карпушка — все вы верите в бога? А?

— Нет, не верим.

— А зачем же в церковь ходите?

— По привычке.

— Брешешь, Ванюшка, не потому. Я, признаться, и сам не шибко верю в бога, а пойду, к примеру, ко все-нощной и простою на ногах с вечера и до самого аж утра. А в нардоме и одного часу не вытерплю. В церкви не замечу, как и ночь пролетит, — во как интересно! Идешь домой, будто тебя в Игрице выкупали, и легко и светло на душе-то, хоть умом-то и соображаю: все это выдумка поповская, никакого Христа на самом деле нету. Вот оно и опиум! Там и огни паникадил, и картины разные, нарисованные, наверное, самими лучшими рисовальщиками. А хор? Поют-то в нем знакомые все люди, наши же затонские мужики да девчата. А как поют!.. На глаза слезы навертываются, а за спиной вроде бы крылья вырастают. А коли рявкнут Яжонковы, батька с сыном, «Волною морскою», мурашки по спине побегут, а внутрих что-то так и дрогнет и оборвется...

Старик, задохнувшись от волнения, умолк, обождал маленько и продолжал необычно горячо:

— Я бы и рад пойти не в церковь, а в нардом, да ведь это же сарай. У вас там накурено — не продохнешь. И слушай в этом-то чаду, как твой дружок Митька ча-стушки горланит. Может, и разумные речи там говорят, в нардоме, а нет охоты идтить туда. Пусть бы он был, ну, ежели не храм, нардом тот, а похожим на него. И не в иконах, не в паникадилах тут дело, Ванюшка! А чтобы было в том нардоме всегда светло, чисто, чтобы, подхо-дя к нему, самому захотелось снять шапку. А ведь у вас там и шапок-то не сымают. Зачем же я, старик, туда пой-ду? А в церковь не войдешь в шапке, сдерешь ее с голо-

вы еще в ограде. И на пол не плюнешь, как в нардоме, а ежели и плюнешь, сват Иван Мороз такую затрещину залепит, что век помнить будешь...

— Закроем мы эти церкви, чтоб вы, старики, не очень-то заглядывались на них, — мрачно сказал Иван.

— Закрывать все можно. Это нетрудно. А вот что вы придумаете взамен? — Михаил Аверьянович поглядел на внука сузившимися глазами. — Подумай-ка ты об этом со своими дружками, а потом уж и агитируй против религии... Ну, а что касаемо сада, то это уж, Ванюшка, потом... Вижу, не до садов вам сейчас. Придет время — сами спохватитесь. Дуб растет сотни лет, а спилить его можно за десять минут, придумаете же какую технику — и за один миг спилите. Дело не очень-то хитрое. Только скушно будет вам жить на голой-то земле. Социализм, о котором вы так много балакаете с твоим дядей Павлом, без сада не дюже красен. Так я думаю...

Мишке нравилось наблюдать за дедом, когда он плетет лапти. Плел он их в одну, в две и в три лычки. При этом единственным его инструментом была плоская, загнутая железяка — таким вот бывает собачий язык, высунутый в знойную погоду. Штука эта называлась весьма странно: кочедык. Она доставляла Мишке немало неприятностей, потому что дед любил донимать внука:

— Скажи, хлопчику: «Вывернулась лычка из-под кочедычка».

У Мишки же получалось: «Вывернулась лычка из кадычка».

Михаил Аверьянович радовался, как ребенок, и предлагал повторять за ним скороговорку про того самого грека, который ехал через реку.

Мишка повторял, и, как ни следил за языком своим, у него все-таки выходило:

Сунул грека
В руку реку...
Видит рака —
В реке грек.

Старик хохотал от души и предлагал новое присловье:
— А ну-ка, хлопчику, вот еще такое: «Раз дрова, два дрова, три дрова».

— Это я мигом, дедушка! — храбро объявлял Мишка и громко декламировал:

Раз дрова, два двора...

— Ха-ха-ха! «Два двора»! Эх ты, а говорил — мигом! — ловил его на ошибке дед, и синие глаза его смотрели на внука ликующе и победно. Не задумываясь, он выкрикивал следующую присказку и заставлял повторять ее:

На дворе трава,
На траве дрова,
На дровах двора
Не растет трава.

Мишкин язык, конечно, не мог продраться сквозь эти словесные дебри и быстро запутывался в них, что приводило Михаила Аверьяновича в неопишуемый восторг. Воодушевляясь, он подбрасывал внуку одно присловье за другим, ловко расставляя хитроумнейшие сети из обыкновенных слов, и, похоже, испытывал удовольствие птицелова, видя, как внук барахтается в этих сетях. Присказки-ловушки были, как правило, безобидными, но были и коварные. Михаил Аверьянович обычно приберегал их под конец своей забавы.

— Слушай, хлопчику, внимательно и отвечай мне, — обращался он в таких случаях к внуку, а затем начинал:

Гришка, Мишка и Щипай...
Ехали на лодке,
Гришка с Мишкой утонули —
Кто остался в лодке? \

— Щипай! — тут же отвечал ничего не подозревавший мальчишка.

А Михаилу Аверьяновичу только того и надо было:

— Щипать, значит? Ну, так что же, это можно. Вот тебе, вот! — Бесконечно довольный тем, что и на этот раз хитрость его удалась, он легонько щипал внука за усыпанную цыпками икру.

Мишка визжал. Не столько, разумеется, от боли, сколько от досады, что так-то легко околпачен дедуш-

кой. Обидевшись, он убежал от Михаила Аверьяновича в глубину сада, ложился на траву и глядел вверх. Над ним склонялись ветви, отягощенные яблоками. «Как овечий хвост», — повторял он слова бабушки, который любил говорить так, когда на яблоне уж очень много плодов. Мишка вспоминал, какой у овцы хвост, но никакого сходства с яблоневою веткой не находил. Все: и яблони, и яблоки, и сливы, и смородина, и терн — весь сад сейчас был похож на бабушку точно так же, как похож был на него и лес, когда Михаил Аверьянович входил в него. Сад тоже добродушно подсмеивался над Мишкой. В шелесте листьев ему чудилось:

Гришка, Мишка и Щипай...

— Ну и щипай! А тебе-то какое дело? — кричал Мишка на анисовку, под которой лежал и которую вообще-то очень любил: по анисовке хорошо лазить, сучья ее упруги, не ломаются, а главное — без колючек, не то что у бергамотки или даже у медовки, которая только с виду тихоня и недотрога, а сама вся покрыта мелкими иголками. Полезь-ка на нее — исцарапает, как кошка.

«Отчего это, — думал Мишка, лениво откусывая от яблока, подкатившегося прямо к его голове, — отчего, когда в саду бабушка, сад похож на него, а когда придет дядя Петруха, то сад похож на дядю Петруху?»

9

Случалось, Мишка ходил в лес и с дядей Петрухой. И всегда поход этот заканчивался для хлопчика плачевно. Петр Михайлович не мог отказать себе в удовольствии подшутить над племянником. Была у него эта непонятная страсть — довести мальчишку до слез. Нельзя сказать, чтобы Петр Михайлович не любил детей. Напротив, он любил их и, может быть, даже больше, чем кто-либо другой в доме Харламовых, но какой-то уж очень странной любовью. Дети для него — что-то вроде живых игрушек. И, забавляясь ими, он на время забывал о той острой боли, какая навсегда, кажется, поселилась в сердце его со времен ляодунской катастрофы. При ребятишках, словно щадя хрупкие их и восприимчивые души, Петр Михайлович не пел надрывной своей

песни, которую певал почти ежедневно в пьяной компании:

От навших твердынь Порт-Артура...

Больше всех почему-то доставалось от дяди Петрухиных проделок самому малому из Харламовых — Мишке. Петр Михайлович то острижет племянника наполовину, и Мишка бегает по улице с просекой ото лба до затылка, терпя злые насмешки товарищей; то подговорит похитить у бабушки Пиады банку с вишневым вареньем и потом долго держит под угрозой разоблачения; то с этой же целью в последний день великого поста, в канун пасхи, надоумит окунуть палец в горшок со сливками и таким образом разговеться раньше, чем это полагалось; то в зимнюю пору заставит лизнуть принесенную со двора пепельно-сизую от мороза пилу, к которой язык так прикипит, что его не отдерешь; то, подзадоривая, сравит с каким-нибудь мальчуганом и наблюдает за потасовкой, словно бы это дрались молодые кочета.

А однажды Петр Михайлович вдохновил племянника на подвиг прямо-таки богохульный.

Как-то, причастившись в церкви, Мишка решил, что ложка, которой причащают, слишком мала, а церковное вино слишком вкусное, чтобы можно было удовлетвориться такой мизерной дозой.

— А ты встань в очередь второй раз, — быстро посоветовал Петр Михайлович.

— А не побьют? Иван Мороз, поди, знает меня?

— Да где ему знать! — уверил Петр Михайлович. — Много там сейчас таких, как ты. А коли и узнает, так не выдаст: сродственники мы ему. Иди, не бойся. Я в ограде обожду.

Соблазн велик, и Мишка, поколебавшись чуток, снова вошел в церковь и пристроился к длинной очереди, вытянувшейся от паперти до алтаря, на котором стояли отец Леонид с серебряным кубком, маленькой серебряной ложкой и помогавший ему сторож, он же ктитор, Иван Мороз с шелковой тряпицей в руке — ею он вытирал губы верующих после того, как они примут внутрь «кровь Христову». С замиранием сердца подходил к ним Мишка. Лик отца Леонида был торжествен и красен,

таким же было и плутовское лицо Ивана Мороза. Судя по всему, они, принимая причастие, не ограничились одной ложкой. На Мишку священнослужители обратили внимание не больше, чем на рыжего мальчишку, которому кто-то из приятелей уже успел подпалить волосы свечкой и закапать пиджачишко воском. Отец Леонид поднес к Мишкиным губам ложку и, невнятно пробормотав, «Причащается раб божий»,—вылил в рот ему сладкий напиток. Иван Мороз обтер губы раньше, чем Мишка успел их облизать, и, видя, что парнишка задерживается, легонько оттолкнул его в сторону. «Раб божий», однако, настолько обнаглел после такой удачи, что, на бегу перехватив четверку просфоры, протолкался к паперти и встал в очередь в третий раз. Но, видно, не зря говорится: душа меру должна знать. Вспомни Мишка в ту минуту о мудром изречении — все обошлось бы благополучно, ходил бы он среди дружков героем, вызывая в них превеликую зависть. Кончилось же все полным конфузом.

— Ты ж, мерзавец, причащался? — зловеще прошипел Иван Мороз, воззрившись на примелькавшуюся физиономию мальчишки дымчатыми от хмельного, жутко вытаращенными глазами. — А ну, марш отсюда, щенок! — заорал он на всю церковь и, попирая родственные чувства, на которые, естественно, мог рассчитывать Мишка, наградил кошунствующего редким по своей звонкости подзатыльником.

Оскорбленный до глубины души «словами и действиями» Мороза, Мишка с диким ревом выскочил из храма, а поджидавший его в ограде Петр Михайлович пресерьезно спросил:

— Ну как?

— Ника-ак! Вот скажу дедушке, он тебе да-а-аст!..— завопил Мишка.

Петру Михайловичу удалось, однако, по дороге задобрить племянника, и домой они вернулись друзьями.

Потом они долго придумывали, как бы отомстить Ивану Морозу. Сошлись на том, что Мишка украдет у него новую узду, только что купленную в Баланде.

Мишка узду стащил и ею же был жестоко выпорот отцом на глазах торжествующего Мороза, который все время приговаривал:

— Так его, так его, Николай Михайлыч! Учить надо

негодая. Не то вырастет конокрадом. Добавь еще! Вот так, так!

В общем, у Мишки было достаточно оснований не очень-то доверять дяде Петрухе. Но таково уж детство: оно незлопамятно. Мишка быстро позабыл о своих обидах и по-прежнему слушался Петра Михайловича. С ним все-таки было куда интереснее, чем, скажем, с отцом, который, вернувшись в Савкин Затон, вот уже третий год работает секретарем сельского Совета. Домой отец приходит поздно, всегда выпивши, придирается к матери, дебоширит, и Мишке вместе со старшими братьями, Санькой и Ленькой, приходится бегать в сад за бабушкой, чтобы тот усмирил сына. А усмирить Николая Михайловича могли только три человека: Михаил Аверьянович, Павел Михайлович — секретарь партийной ячейки и Иван — старший сын Петра Михайловича. Но Павла и Ивана почти невозможно было застать дома, целыми ночами напролет просиживали в нардоме, все митинговали да агитировали, так что, кроме Михаила Аверьяновича, помочь Фросе никто не мог. Тот появлялся в избе, большой и суровый, как сама совесть, молча брал буяна за руку и, покорного, уводил к себе в сад. Оттуда Николай Михайлович возвращался на рассвете и, виноватый, ласковый, просил у жены «что-нибудь полопать». Фрося торопливо подавала на стол еду, стараясь предупредить все желания мужа, и, когда он, насытившись, ушел, облегченно вздыхала. Ночью же повторялось все сызнова. Николай Михайлович появлялся в избе, оглушительно сморкался — первый признак подымающейся в нем бури, а также того, что он успел уже где-то «клюнуть», и прямо от порога кричал:

— Молока!

Фрося бежала во двор, лезла в погреб, приносила полный горшок.

Николай Михайлович брал его в обе руки и, чуть раскорячившись, приняв удобную стойку, запрокидывал голову и медленно, долго выливал молоко в себя. Перед тем лицо его было бледным, потом начинало краснеть и под конец делалось багровым. В этот-то миг, будто налившись до краев лютейшей злобой, он со всего размаху бросал опорожненный горшок об пол. Брызги битых черепков разлетались во все стороны, словно осколки разорвавшейся бомбы. Они ударялись в стены, в печь, в

скна. Попадали и в Николая Михайловича, накаляя его еще больше. Раздувая ноздри и шумно дыша, глядел он на оцепеневшую от страха жену белыми от ярости глазами и кричал:

— Снятым угощаешь?

— Да что ты?.. Опомнись!.. Только вечер подоила...

— Ма-а-а-лчать!

— Николай!..

— Атставить!

Заслышав такое, дети вылетали из избы и мчались в сад за дедушкой.

С той поры в семье Харламовых все чаще стали поговаривать о разделе сыновей Михаила Аверьяновича. Первым пожелал отделиться от отца и младших братьев Петр Михайлович: дети его подросли и уже могли вполне самостоятельно вести хозяйство.

Мишке очень жаль было расставаться с двоюродными братьями и сестрами, среди которых он рос и к которым очень привык. И в особенности почему-то не хотелось отпускать дядю Петруху, которому теперь Мишка готов был простить все его проделки, в том числе и ту, прошлогоднюю, наиболее стыдную для племянника. В доме и по сию пору помнили о ней и посмеивались над Мишкой.

Как-то Петр Михайлович предложил ему:

— Поедем, брат, с тобой за арбузами. В Лебедку.

Мишка, конечно, ужасно обрадовался, да и кто на его месте не обрадовался бы путешествию, сулившему столько совершенно удивительных и приятных минут. Прокатиться на телеге в Лебедку, которая находилась в трех верстах от Савкина Затона, а потом обратно — ведь это же здорово, черт возьми! А если еще учесть, что, закуривая, однурукий и двупалый дядя непременно передаст вожжи Мишке, то уж совсем нетрудно представить, как велико будет его счастье. Однако и это еще не все. Главное — впереди. Главное — сама бахча. Чье мальчишеское сердце не дрогнет от одного только этого слова: бахча! Дыни, желтые, как солнце, арбузы — их словно бы нарочно накатали так много: полосатые, пестрые, темно-зеленые и светло-зеленые, белые в зеленую крапинку и просто белые; разрисованные чудной мозаикой, стоят они перед Мишкиными глазами; там, на бахче, ты можешь их есть сколько твоей душе угодно, и сторож —

гроза сельской ребятни — не гонит тебя в шею, не грозит берданкой, заряженной солью, а улыбается совсем по-доброму.

— Ешь, Мишка, ешь! — весело поощрял Петр Михайлович, раздавливая коленкой один арбуз за другим.

Мишка жадно ел, запивая арбузным соком. Красный, как кровь, он скапливался в выдолбленной половинке, и Мишка пил из нее, как из кубка.

— Ешь, пей, Мишка! — кричал Петр Михайлович, нагружая с помощью старика сторожа арбузами телегу. — Скоро поедем!

Мишка ел и пил, и живот его уже вздулся, как барабан, и так же, как барабан, звенел, когда проходивший мимо дядя Петруха делал по нему щелчок.

— Ешь, пей, Мишка.

Перед тем как тронуться в обратный путь, Петр Михайлович усадил племянника на самом верху, на арбузах. Не успели отъехать и полверсты, как Мишка подал свой голос:

— Дядя Петруха, останови.

— Зачем?

Мишке стыдно было признаться, и он промолчал.

Петр Михайлович между тем «шевелил» полегоньку лошады:

— Но-но, старая, ишь ты!..

Мишка повторил настойчивее:

— Дядя Петруха, останови!

Но и на этот раз Петр Михайлович не внял его просьбе.

— Останови же!!! — отчаянно заорал Мишка.

А дядя даже ухом не повел.

— Но-но, старая, ишь ты!..

— Останови-и-и, — пропищал Мишка уж как-то совершенно безнадежно и вдруг надолго умолк.

Молчание племянника могло означать лишь одно, а именно то, на что и рассчитывал озорной дядя. Петр Михайлович натянул вожжи:

— Тпру, старая...

— Поезжай! — взмолился Мишка.

— Ты же просил остановиться?

— Не-е-е...

— А ну-ка, привстань. — Петр Михайлович заставил племянника приподняться и внимательно осмотрел его

мокрые штанишки. — Ай-ай-ай! Ну, брат, плохи наши дела. Придется свалить арбузы. Вот сейчас доедем до Орлова оврага и свалим. Испортил ты их, Мишуха. Влетит нам от дедушки...

Мишка, конечно, не выдержал до конца этой пытки и дал такого реву, что сам великий насмешник порядком струхнул и принялся утешать племянника:

— Да шучу я, дуралей ты этакий! Вот глянь-ка!

Достав арбуз, на котором сидел Мишка и который, стало быть, больше всего пострадал от Мишкиной беды, Петр Михайлович расколол его и начал с видимым наслаждением есть. Предложил половинку и Мишке, но тот решительно отказался. Однако плакать перестал и, как это часто бывает со всеми людьми, утешившимися после слез, сделался не в меру словоохотливым и всю дорогу болтал без умолку. И только у самого дома опять затих: «А вдруг дядя расскажет?» Дядя, разумеется, рассказал, но не в тот день, а позже, но это было уже не так страшно.

Петр Михайлович, как, между прочим, и все Харламовы, любил бродить по лесу. Нередко брал с собой и Мишку. Однажды они забрались в самую глушь, остановились у болота, прозванного Штаниками, на небольшой полянке. Было это в полдень. На поляне солнечно, а от деревьев и кустов уже медленно выползали предвечерние тени, уворовывая у солнца вершок за вершком.

— Ты тут побудь, Мишка, а я сейчас...

Сказав это, Петр Михайлович нырнул под нависшие ветви паклёника и был проглочен темной пастью леса. Прошел час, другой, а Петр Михайлович не возвращался. Некоторое время его племянник держался вполне мужественно, молчал, а затем стал покрикивать — сперва тихо, потом погромче, а потом уж что было моченьки:

— Дядь Петруха-а-а!..

Отвечало эхо, поселившееся где-то в болоте: «А-а-а...»

Тени, сгущаясь, подползали все ближе и ближе. Повитые сумерками деревья темнели. Между черными стволами дубов мелькали какие-то большие птицы. Сверкнул чей-то зеленый глаз; вслед за тем раздался такой дикий, такой страшный, душераздирающий вопль, что у Мишки волосы стали дыбом. Он заорал благим матом:

— Дядь Петруха-а-а!

«А-а-а...»

И опять безмолвие. Тени, подкравшись к Мишке, поползли по его порткам, рубашке. Все тело вмиг охватило ознобом. За каждым деревом виделось какое-нибудь чудище.

— Дядь Петруха-а-а!

Мишка заплакал так уж горько и так уж жалобно, что ветви паклёника зашевелились, поднялись и из-под них вынырнул веселый Петр Михайлович. Все это время он сидел рядом, все слышал, но не показал признаков жизни.

Но удивительно не это. Удивительно то, что в присутствии насмешливого Петра Михайловича лес приобретал для Мишки какое-то особое очарование. Он как бы сразу же становился существом живым и очень веселым — с ним хотелось играть. И что с того, ежели игра эта нередко заканчивалась для Мишки слезами? Разве не так заканчиваются почти все мальчишеские игры? И все-таки почему-то никому еще из Мишкиных сверстников, да и самому Мишке, не пришло в голову отказаться от этих игр.

10

И вот что еще крепко держала Мишкина память.

Морозным утром в их дом пришел однажды Федор Гаврилович Орланин. Он, видимо, торопился и не отыскал тропы, потому что по пояс был в снегу.

Однако не это удивило Харламовых, а то, что аккуратный всегда старик Орланин не стал обметать веником снег, а сразу же направился к столу.

Поздоровался как-то странно — коротким, нервным кивком головы. Затем распахнул полушубок, и, когда рассеялся пар, вырвавшийся из-за пазухи, все, кто был в доме, увидели в руках Федора Гавриловича портрет, который когда-то уже побывал в харламовской избе.

Федор Гаврилович ничего не сказал, сидел неподвижно, и чувствовалось, изо всех сил старался быть спокойным, но пальцы выдавали — они произвольно, сами собой, вздрагивали, скользили по портрету, гладили его. Человек для чего-то еще скрывал, тянул, хотя люди, смотревшие на него, тотчас же поняли, что в их жизнь, в их мир пришла большая беда.

Разум, который в таких случаях более осторожен и потому более робок, чем сердце, еще противился, не хотел верить в то, что сейчас должно было обрушиться на них, а сердцу уже все было ясно, и оно колотилось отчаянно гулко, как набат.

— Умер...

Именно этого страшного слова и ждало сердце. Разум же пытался судорожно за что-то еще ухватиться:

— Кто... умер?

— Умер Ленин.

Никто не заплакал, не сказал больше ни единого слова. Даже женщины не заголосили по извечной своей потребности голосить об умершем. Горе, которое пришло к ним, было слишком громадным, чтобы можно было облегчить его слезами.

На похороны Ленина из Савкина Затона был отправлен в Москву Федор Гаврилович Орланин.

Утром, когда он проезжал мимо Харламовых, направляясь в Баланду на станцию, к нему выбежала с каким-то узлом Фрося. Она была без шубы — только шаль прикрывала ее голову и плечи.

— Это вот яблоки... С медовки и кубышки. Детишкам его отвези...

— Каким детишкам?

— У Ленина-то детишки малые, сказывают, остались...

— Да нет у него детей.

— Есть, есть. Я сама знаю. Возьми...

Не выдержала. Дрогнули губы, покривились. Бросила узелок в сани и, разрыдавшись, побежала в избу.

11

Крестьянин — индивидуалист. Исходя из психологии мелкого собственника, мы смело делаем такое заключение. Среди множества факторов для доказательства бесспорной истины мы могли бы указать на плетень — ветхую эту крепостную стену, возведенную затем, чтобы отгородиться не только от всего мира, но даже от соседа, коим часто оказывается родной брат. И тем не менее у крестьянина в наибольшем почете, пожалуй, слово «общество». Его вы услышите на селе в любое время и в любом сочетании. Многие совместные дела называются не

иначе, как мирские или «общественные». На деньги, собранные селянами, покупается породистый бык, и его уже именуют «общественным». Общество строит мосты, возводит плотину, выручает погорельца, судит конокрада, охраняет «общественные» лесные и прочие угодья. Всем миром-собором, а значит, «обществом», выходят крестьяне тушить пожар, рыть канаву, чтобы отвести по ней воду, хлынувшую с гор после долгих проливных дождей и угрожающую затопить огороды, луга, погубить их. Именно общество помогает отвлечь множество бед, на каждом шагу подстерегающих мужика. При всех случаях немощный и средний крестьянин обращается за помощью к «обществу». Даже нищий, чтобы немного скрасить, стусевать постыдный и унижительный характер своего существования, никогда не признается, что он нищенствует, христарадничает, а обязательно скажет: «Пошел по миру», инстинктивно перекладывая определенную долю моральной ответственности за свое падение на общество. И, наконец, не кем иным, как крестьянином придумана и пословица: «На миру и смерть красна». В последние же годы промеж слов «общество», «мирское», «мирской» и других замелькало совершенно новое и стремительно привившееся — «коллектив». Несколько предприимчивых затонцев, организовавшись, в непостижимо малый срок переселились на пустовавшие у подножья Чаадаевской горы помещичьи земли, построили там восемь домов и окрестили свой хутор именно этим самым словом — «Коллектив».

Изобретательным умом и вековым опытом крестьян придумана одна из самых, пожалуй, активных и действенных форм помощи друг другу. Она так и называется: «помочь». Люди словно бы на помочах вытаскивают своего односельчанина из беды, в которую он попал так или иначе. Крестьянин заболел, а земля лежит невспахана, высыхает, в нее не брошено ни зернинки, в избе уже пахнет голодом. И тогда собирается помочь: десяток мужиков приезжают на своих лошадях к его делянке — и к обеду земля вспахана, заборонована, засеяна. Надо срочно обмазать избу глиной — помочь; сделать назем, то есть превратить навоз в кизяки, — помочь; вырыть погреб — помочь; возвести вокруг сада или огорода плетень — помочь; поставить сруб — помочь; обмолотить застоявшуюся скирду — помочь. Всюду помочь, которая

хороша уж тем, что бескорыстна. По стакану водки на душу — вот и вся плата.

Помочи бывают разные. Есть помочь, в которой принимают участие одни мужики, и есть такая, где работают только женщины. Скажем, надо вырыть колодец — на помочь собираются исключительно мужики, а когда требуется, к примеру, обмазать глиной избу, сени, хлевы, амбар изнутри — на помочь зовутся бабы. Большинство же помочей бывают совместными, в этих случаях приходят крестьяне обоего пола. Такая помочь самая веселая, на нее идут, как на праздник. Как бы ни был велик объем работ, его надо завершить до обеда — таков уж неписанный закон, освященный традициями. На помочи люди трудятся, как на пожаре. Крики, шутки, брань, подзадоривания, хохот — все вокруг ходит ходунном, стонет, ревет, гудит, сливаясь в некую сумасшедшую, но в общем-то стройную, радостную и победную не то музыку, не то песнь без слов.

Лет пятнадцать назад Михаил Аверьянович Харламов нарубил и затесал с одного конца сотни две ветляных колышков длиною в полметра, толщиной в палец и отнес их вместе со старшим сыном к Ерику — прежнему руслу Игрицы, сообщающемуся с рекой лишь во время весенних разливов. Там, у самой воды, он воткнул колышки в сырую землю, а Петру Михайловичу сказал как-то загадочно:

— Пройдет немного годов, и тут вырастет дом.

— Что? Дом? — удивился сын.

— Да, вырастет дом, — повторил отец.

— Что с тобой? Ты, случаем, не того?.. — И Петр Михайлович многозначительно потыкал пальцем себя в висок.

— А вот побачишь. На земле и дом может вырасти, ежели ты понимаешь ее, землю.

Пятнадцать лет спустя у Ерика уже стеной стояли высокие и прямые ветлы. Вершины их были черным-черны от многоэтажных грачиных гнезд. От ранней весны до позднего лета не умолкал там птичий галдеж. Еще ветлы стоят по колено в снегу, еще только чуть приметно побурели почки на ветвях, еще зима отчаянно сопротивляется, умерщвляя по ночам начавшие оживать первые ручейки, еще с нижних сучьев до самой земли сталактитами свисают коричневые от древесного сока

сосудьки, еще зябко по вечерам и на заре, а Ерик уже оглащается далеко слышным граем — прилетевшая раньше всех из теплых неведомых стран птица хлопочет, вьет новые гнезда, поправляет старые; на макушках ветел от восхода и до захода солнца идет спаривание, справляются сотни шумных свадеб; согретые самкой, теплые гнезда уже ждут, когда в них появятся плоды любви, чтоб дать начало новой жизни...

Но вот однажды к Ерику пришли люди. Застучали, затюкали топоры, завопили, заплакали пилы; с жутким, буреломным треском рушились на землю ветлы — теперь они должны были стать гнездом для человека. Их хватило на то, чтобы построить не один, а сразу два дома, так что Петр Михайлович и Николай Михайлович справляли новоселье почти одновременно.

Новый дом Николая Михайловича был поставлен на окраине села. Двором и задами он выходил на Конопляник и теперь первым должен встречать вешние воды, когда они устремятся с гор к Кочкам, а через Кочки — на Большие луга. Окнами дом глядел на Непочетовку, беднейшую часть Савкина Затона, и на высокую кулугурскую церковь, ослеплявшую их по утрам на восходе солнца золотыми своими куполами. Глухая стена немо и слепо уставилась на Малые гумна. Перед домом простерся выгон, то есть пустое место, в летнюю пору покрывающееся подорожником, мелкой белобрысой полынью, а в яминах одуванчиками, которые по весне желтеют, лаская глаз человека, а летом пускают по ветру легчайший пушок; зимой тут разгуливают прибежавшие с полей холодные ветры да вырвавшиеся из-под снега запахи стынущей стерни и уснувших степных трав. Летом, воскресными днями, на выгоне хороводятся девчата, играют ребятишки в лапту, в чушки, в козны, а нередко и мужики располагаются с выпивкой на мягком подорожнике, чтобы пропустить чарку-другую на вольном воздухе. Тут простор, благодать. И на все это теперь глядел своими молодыми веселыми глазами новый дом Харламова Николая. Не хватало одного — крыши. И вот в канун одного воскресенья по Савкину Затону понеслось:

- У Николая Харламова назавтра — помочь!
- Слыхали, помочь у Харламовых-то!
- Самогону, слышь, нагнали восемь четвертей.

- А баб позовут?
 - Позовут. Им еще и хлевы надо обмазать.
 - Не позовут — сами придем.
 - У них, бают, яблоков моченых страсть как много!
- Мне б в моем-то положении моченых яблоков...
- Ай ты на сносях?
 - А ты не видишь?
 - Куда ж тебе на помочь?
 - А мне б только яблоков...

Наутро, еще до восхода солнца, к дому Николая Харламова потянулись люди: мужики — с вилами и граблями, женщины — с ведрами. Первыми пришли родственники: Михаил Аверьянович, Олимпиада Григорьевна, Павел с женой Феней, Петр Михайлович с Дарьюшкой и сыновьями — Иваном и Егором. Иван привел с собой комсомольцев: Митьку Кручинина, Мишку Зенкова, в прошлом году потерявшего глаз в смертельной схватке с одним парнем из-за Глаши Савиной — семнадцатилетней озорной девчухи, — но не утратившего всегдашней своей веселости; братьев Зыбановых из Панциревки, Кирилла и Алексея, голубоглазых красавцев, с которыми Иван и Митька подружились, когда гонялись за бандой Попова. Пришел Илья Спиридонович Рыжов со старшими зятьями — Иваном Морозом и Максимом Звоновым. Последний прихватил саратовскую гармонь, с которой, кажется, никогда не разлучался.

Но едва ли не раньше всех совершенно неожиданно появился Пишка Савкин, да не один, а вместе с Полинкой. Полинка была первой дочерью в роду Савкиных и, может быть, потому пользовалась особым вниманием у односельчан. Затонцы дали ей, как и всем, прозвище — Польшка Пава. Крупная, гибкая — не идет, а плывет. Стройная фигура ее как бы вся в постоянном неуловимом движении, точно так же, как и ее глаза, которые могут показаться и очень темными, даже карими, и серыми, и голубыми — все зависит от того, в каком Польшка Пава настроении: хорошо у Павы на сердце — глаза светлеют, осерчает — они темны, как Вишневый омут в непогоду. Польшка Пава со вчерашнего дня знала, что на помочи у Харламовых встретит своего возлюбленного, Митьку Кручинина, и потому была в отличном расположении духа. Она еще издали, чуть завидев знакомую фигуру, заулыбалась, засветилась вся, да так и несла

Митьке эту светлую улыбку. Натуры горячие и нетерпеливые, Митька и Польшка Пава пошли навстречу своей любви с беззаветной храбростью. Любовь их вспыхнула тотчас же, как только они впервые увиделись в харламовском саду, куда Польшку Паву привела ее подруга, Настенька Харламова, вспыхнула и развивалась столь стремительно и бурно, что уж при второй встрече они до конца изведали всю сладость любви и теперь были намного опытнее и вроде бы даже взрослее, старше своих одногодков.

Когда все уже были в сборе, не вытерпел — пришел и Полетаев Иван.

— Пришел вот... помочь тебе, — сказал он хрипло, встретившись с Николаем Михайловичем у ворот и глядя прямо ему в глаза. — Дозволяешь?

— Нет.

— Почему же?

— А ты уж помог мне. Спасибо...

И Полетаев ушел.

Работа началась. Женщины, захватив ведра, ушли к хлевам. Мужики занялись избой. Которые постарше, забрались на крышу: физической силы там требовалось немного, зато нужен был опыт. Парни и мужики помоложе встали внизу, у соломы, которая была привезена загодя и, обильно смоченная, лежала высоким, примятым ребятишками валом вокруг новой избы.

— Давай, ребята, начинай! — С этими словами Митька Кручинин, полубнаженный, в одних штанах, не глядя на Польшку Паву, но чувствуя на себе восхищенный взгляд ее, подцепил трехрогими деревянными вилами огромную кучу соломы, напряжился весь так, что по бокам, выгнувшись от напряжения и от захваченного на полную грудь воздуха, четко обозначились обручи ребер, поднял ее высоко над головой и, оскалась, понес, понес, чтобы подать прямо на перевернутые зубьями вверх грабли стоявшего наверху и с ненавистью глядевшего на него Ильи Спиридоновича.

— Давай, девчата, начинай! — точно эхо, отозвалась Польшка Пава и прямо меж горбылей простенка влепила полупудовый шматок вязкой глины, замешанной на соломе.

И с этой минуты, как в бою, когда командир либо сплеховал, замешкался, либо погиб в решающую мину-

ту, власть над людьми мгновенно сама собой перешла в руки этих двух влюбленных, первыми подавших команду к действию. От избы то и дело слышался грубоватый голос Митьки:

— Давай, давай!.. Мороз, чертов звонарь, не хитри! Ишь, полнавильника подымаешь!.. И ты, старик, — кричал он наверх Илье Спиридоновичу, — попроворней малость! Это тебе не на печи лежать и не сад сторожить!.. Давай, давай!.. Карп Иваныч, а ты чего рот разинул — галка залетит!

У хлевов — озорной галос Польки Павы:

— Девоньки, поднажми! Миленькие, поторапливайся, не то мужики нас обгонят. Вон мой Митька ворочает лопатками-то!.. Взопрел, сердешный!

Солома, будто поднятая налетевшим вихрем, желтым смерчем вилась над крышей — та, которую не успевали подхватить граблями Ильи Спиридонович и Карпушка.

Крыша, вначале чуть обозначившаяся жиденьким венчиком, с минуты на минуту росла, подымалась все выше и выше к коньку, и вот уж только этот конек и оставался непокрытым.

Теперь там священнодействовал один Илья Спиридонович — лучший кровельщик Савкина Затона. Он ходил по самой хребтине крыши среди вышних ветров, загибающих его бороду то влево, то вправо, гордый и важный от сознания своей незаменимости. Ему подавал теперь лишь Митька Кручинин, оказавшийся самым выносливым среди мужиков, и Илья Спиридонович уже не смотрел на него враждебно, а только изредка незлобиво покрикивал:

— Поменьше, поменьше, Митрий! Дурь-то свою поубавь! Не видишь, завершаю? И солому посвежей выбирай.

Остальные сидели в сторонке и, наблюдая за работой этих двоих, курили, прислушивались к хлопотам хозяйки за окнами внутри избы.

К часу дня все было кончено. Угостившись, люди разошлись по домам.

12

На новоселье пришли родственники Николая Михайловича и Фроси, а также Карпушка и Федор Гаврилович Орланин, председатель сельского Совета. Теперь

это был белый как лунь старик: печать больших забот лежала на его морщинистом лице, была она и в черных его усталых глазах.

— Власть-то мы взяли. Это хорошо. А вот как ею распорядиться? — говорил он гостям Николая Михайловича. — Раньше мы, как жуки навозные, копались в земле поодиночке и теперь, в общем-то, так же копаемся. Был, к примеру сказать, Карпушка бедолагой, таким и остался. Раньше у него хоть мерин Огонек был, а сейчас и он подох от бескормицы. А Савкины как богатели, так и продолжают богатеть. Куда же это годится? Для того ли мы кровь-то свою проливали? А? — И, вдруг оживившись, он позвал к себе ребят — Саньку, Леньку, Мишку и их друзей, находившихся в задней избе. — Ну-ка, Санек, запой, милый, нашу-то с тобой, про Ильича, а мы вот с дядей твоим Павлом подпоем. Давай, родной!

Санька — теперь это уж был юноша, хоть и невеликий ростом — покраснел, утопил рыжие конопинки на худеньком, остреньком, как у зверька, личике, глаза его увлажнились, заблестели. Прокашлявшись, он запел звонким дрожащим голосом:

Ах, какой у нас дедушка Ленин,
У которого столько внучат!

Федор Гаврилович, подоспевшие Иван Харламов, Митька Кручинин, Настенька, Санькины братья и товарищи дружно подхватили:

Я хочу умереть в сраженье,
На валу мировых баррикад.

Иван Мороз и Павел Михайлович тоже начали было петь, подтягивать, но скоро убедились, что только портят хорошую песню — первый по причине своей глухоты, а второй — по причине полного отсутствия музыкального слуха, и быстро умолкли, виновато переглянувшись и негромко, сконфуженно крякнув.

— Нету телера дедушки-то, нашего родного Ильича. Как же мы без него, а? — тихо и взволнованно сказал молчавший до этого Карпушка. — Вот ты, Федор, вчерась о колхозах толковал, сам сказывал, что дело это

очень сурьезное. Тут, как говорится, сто раз отмерь, один раз отрежь. Как бы не наломать дров без Ленина-то. Ильич, он крепко понимал нашу селянскую жисть. Рано он нас покинул...

— Но дело его живет! — воскликнул Митька лозунгом, который висел у них в нардоме.

— Дело делать надо, Митя, тогда оно будет жить. И делать в первую очередь должны вы, молодежь. Вам завещал его Ильич. — Федор Гаврилович посмотрел на гостей раздумчиво-долго. — Сообща нам жить надо, мужики. Не то погибнем. Задушат нас мироеды.

— Это как же — сообща? — встревожился Илья Спиридонович.

— Очень просто. Земля общая, лошади общие, сбруя общая и труд общий...

— Так, так, — схидно поддакнул Илья Спиридонович. — А насчет хлебава?

— Чего?

— Насчет хлебава, говорю, как будет? Из одного котла?

— Ну да... А что?

— А то, что один будет шаляй-валяй — щи хлебай, а другой за него горб ломай. Иным манером сказать: один с сошкой, а другой с ложкой. Потому как один — лодыр царя небесного, а другой — ночей не спит, трудится...

— Это ты, что ли, не спишь, Илья Спиридонович? — спросил Митька Кручинин под хохот мужиков, хорошо знавших о странностях старика Рыжова.

Илья Спиридонович ругнулся и выскочил из избы. Выбежавшей вслед за ним и попытавшейся было удержать его дочери сказал, как всегда, резко, отрывисто.

— Отвяжись, Фроська! Глазоньки бы мои не глядели на этих шарлатанов. Дурак на дураке и дураком погоняет. Как только их сват Михаил терпит — на порог бы не пустил!

Вскоре ушел и Михаил Аверьянович. Ушел чем-то встревоженный, и из окна долго еще была видна его высокая, сутулившаяся больше обычного фигура.

Присмирели, задумались каждый о своем и гости. Однако выпитая водка в конце концов сделала свое дело: люди повеселели и, повеселев, захотели песен.

Пели всё: и «Располным-полна коробочка», и «Хаз Булат удалой», и, разумеется, «Шумел камыш», а Петр Михайлович, нарушив свой обет не петь этой песни при детях, спел все же «От павших твердынь Порт-Артура». Иван и Митька «играли» самые известные в ту пору комсомольские песни: «Кузнецы», «Наш паровоз» — Иван генором, Митька давил басом, очень грозным и внушительным при блеске черных его отчаянных глаз. «Вот бы кого в церковный-то хор!» — с завистью подумал о нем Иван Мороз. А потом все стали просить хозяйку, чтобы она спела.

— Сыграй нам, Фрося! — почти умолял Максим Звонков, забросив саратовскую на кровать: он знал, что Фросю лучше послушать без гармонии.

— Да что ты, Максим! Нашел певунью!

А сама уж раскраснелась, плавным движением рук распустила длинную тяжелую свою косу и была опять Вишенкой — румяная, свежая, молодая. Глаза, в которых, думалось, навсегда поселилась покорность, озорно блеснули, засветились, ожили.

— Ну что ж, слушайте, коль просите. — И Фрося почему-то бросила короткий взгляд в сторону мужа.

Прижав к груди Мишку и глядя ему голову, она призадумалась, опять погрустнела и тихо запела тонким, немного хриплым от волнения голосом:

Из-под камушка,
Из-под белова
Там текет река,
Река быстрая.

Гости приглушили дыхание. Где-то рядом, совсем близко от них, возник чуть внятный хрустальный звон ручья, и вот он еще ближе и уже течет прямо тебе в душу:

Там текет река,
Река быстрая,
Река быстрая,
Вода чистая.

Голос Фроси по-прежнему ровен, но слушавшим ее отчего-то делается все тревожнее.

Как по той-то реке
Вел донской казак...

Фрося опять коротко глянула на мужа, следившего за ней ожидающим, беспокойным и подозрительным взглядом, лицо ее озарилось каким-то странным, предвещающим далекую грозу светом, и она почти выкрикнула — зло, враждебно:

Не коня вел поить,
А жену топить!

И опять сникла, но голос ее уже не лился ровно и спокойно, как вначале, а дрожал, бился у нее в груди и, вырвавшись на волю, обжигал сердца смолкших в сладком испуге гостей заключенной в нем острой тоской:

А жена-то мужа
Уговаривала:
— Ах ты муж, ты мой муж,
Не топи ты меня...

Теперь Фрося глядела на постепенно багровевшего Николая прямо и, храбрея под надежной защитой песни и тех, кто слушал эту песню, пела все сильнее и сильнее — это уже была не песня, а крик души:

Не топи ты меня
Рано с вечеру,
А топи ты меня
Во глухую полночь...

Мишке жарко было в объятиях матери, но он не смел шелохнуться. Фрося прижимала его еще крепче к знойному своему телу.

Руки ее знобко дрожали, дрожало все тело, и по телу Мишки пробегали мурашки. Наконец он вырвался и бросился на кровать.

Фрося пела:

А топи ты меня
Во глухую полночь,
Когда дети мои
Спать улягутся...

За длинным столом зашевелились, зашмыгали носами женщины: Олимпиада Григорьевна, Авдотья Тихо-

новна, Дарьюшка и Феня — понесли к глазам своим углы платков.

Фрося между тем допевала — опять тихо, еле слышно. И мнилось, что ручей, разлившийся в быструю реку, снова сузился, спрятался, пропал, сгинул под тем белым камушком, из-под которого вытек:

Когда дети мои
Спать улягутся...
А соседи мои
Успокоются.

Она замолчала, трудно, прерывисто дыша. Лицо было бледным. Глядела на потупившегося мужа прежними виноватыми, робкими и покорными глазами, чувствуя себя теперь совершенно беззащитною перед ним. Но вдруг губы ее поджались, лицо сделалось неприятно-решительным, она как-то выпрямилась вся и, глядя на Николая косым, мстительным взглядом, запела надрывно, вызывающе:

Тятыка, тятыка, тятыка родный,
Зачем замуж меня отдал
Не за ровню, не за пару?
Я любить его не стану!..

Мишка смотрел на мать испуганными глазами, и ему было мучительно стыдно за нее — что-то непристойное, грешное было в ее пьяном, перекошенном в отчаянной ярости лице и вместе с тем что-то жалкое, унижающее ее же в этом трусливом протесте, и он, спрыгнув с кровати, кинулся ей на шею и, целуя и зажимая ей рот, просил:

— Мама... мам, не надо!..

Николай Михайлович, взъерошенный, уже подходил к ней с кулаками и кричал:

— Атставить!

Федор Гаврилович преградил ему путь, сказал спокойно:

— Ты что, сдурел?

Но вечером, когда гости разошлись, а дочь и сыновья убежали в народ, Николай Михайлович все-таки

избил жену — бил долго и умело, чтобы и не убить до смерти, но чтобы навсегда запомнила.

Так началась жизнь в новом доме.

Так-то закончился для Фроси и этот ее бунт.

Беды не любят ходить в дом поодиночке: пришла одна, за нею жди другую.

Ровно через неделю после новоселья Николай Михайлович и все дети заболели брюшным тифом. Фрося оказалась единственным человеком, которого не свалил тиф. Едва оправившись от мужниных побоев, она принялась ухаживать и за самим Николаем Михайловичем, и за детьми. Помимо того, ей одной приходилось вести все хозяйство. А оно было не такое уж малое: обещанные на горькой ее свадьбе дары — «на шильце, на мыльце» — были наконец приведены на новое их подворье. Телка-полуторница пригнана от Михаила Аверьяновича. Появились и овцы. В подпечке захрюкал поросенок, принесенный в мешке Карпушкой. Очевидцы уверяли, что Карпушка тащил его через все село, сделав немалый крюк, и нарочно тормозил, встряхивал мешок, чтобы поросенок погромче визжал. Каждому встречному и поперечному подолгу, со всеми подробностями объяснял, где, за какую цену приобрел и куда несет это крикливое сокровище. При этом цена, конечно, была им увеличена в три раза против той, за которую «огоревал» он на баландинском базаре крохотного и тщедушного недоноска хрячка. Не появились на Фросином дворе лишь те десять курочек-молодок, что посулил Иван Мороз, на словах явивший небывалую щедрость. Когда Фрося во время новоселья напомнила ему о злополучных пеструшках, Иван изобразил на своем лице вполне искреннее удивление:

— А разве я их не принес?

— Нет.

— Ай-ай-ай! Забыл, вот те крест, забыл! Завтра же и принесу. Готовь курятник!

Курятник Фрося приготовила, но кур Мороз не притащил ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, хотя после новоселья чуть ли не каждое утро приходил к свояченице опохмелиться. Фросе помогал один лишь свекор, которому с уходом младшей невестки как-то не сиделось дома. Вскоре он привез саженцы яблонь, ви-

шен, смородины, малины, крыжовника, и вместе с Фросей они посадили небольшой сад.

— Дом без сада не дом, а скучная казарма, — сказал при этом Михаил Аверьянович. — В древности люди говорили: коли в дом больного пришли яблоки, доктор может уйти. Вот оно какое дело!..

Фрося не знала о мудром изречении древних, но она хорошо помнила одну из бесчисленных погсворок своего отца: «Яблоко в роток — хворь за порог». Свекор же заставил ее и всех в семье Харламовых уверовать в магически целительную силу садовых плодов. Поэтому она и поила мужа и детей то калиновым соком, то терновым взваром — компотом, кормила с чайной ложечки вишневым, черносмородинным и яблочным вареньем, приготовленным на пчелином меду.

Рядом с Фросей не было докторов. Но зато пришел на помощь сад. Кровотворящая, врачующая влага, добытая им из земли, словно сказочная живая вода, вступила в жестокую схватку со смертью — и смерть была побеждена. Когда кризис миновал, Фрося всем раздала по одному небольшому яблоку. Послышался хруст, в комнате запахло холодным железом, и на исхудавших, бледных лицах впервые появились слабые, робкие еще улыбки. А от кровати, на которой лежал Николай Михайлович, до Фроси донеслось отчетливо:

— Прости меня, мать...

13

Молодая республика заковывалась в броню. Из всех прочих преимуществ она располагала одним, может быть, для тех лет и в тех исторических условиях едва ли не самым важным преимуществом перед другими странами: ей не на кого было надеяться, она все должна была добывать сама и делать своими руками. Для броневго щита перед превратностями суровой к ней судьбы нужен был металл, нужен до зарезу.

Слышите, плач о металле
Льется по нашей стране:
«Стали побольше бы, стали,
Меди, железа вдвойне!»

Незамысловатое это стихотворение стало вдруг хрестоматийным. Все затонские комсомольцы и школьники знали его наизусть, а потому весть о снятии колоколов с трех церквей Савкина Затона несколько не удивила их. Мужики тоже встретили ее сравнительно спокойно. Наиболее рассудительные и грамотные говорили:

— Петр Великий сымал колокола, когда надо было.

Бабы, однако, всполошились. Собирались по домам, на улицах, у колодцев — бабы крики заглушали все остальные звуки на селе, в те дни многие из них забывали даже подоить коров, протопить печь.

— Антихристы, до колоколов добрались!

— Нехристь, безбожники!

— А слышали: Митька, вишь, Кручинин будет сымать колокола?

— Этот разбойник сымет и голову!

— Марфа... сука, народила щенков на нашу голову. Старшой-то говорят, тем же занялся в Саратове, что и этот...

— Да еще Кирюшка с Ленькой Зыбановы...

— Голь разнесчастная!

— Что же будет теперя, господи?!

— Конец свету!

— Как в «святом писании» сказано: «Сядут люди на железных коней, по небу полетят железные птицы...»

— Они уж примчались, железные те кони. Трахтурами, не то фырзонами, не то фармазонами зовутся...

— Фармазоны и есть. Сама недавно видала в «Коллективе». Трещит, нечистая сила, а глазюки у него огненные, из железной ноздри дым валит, вонища — не продохнешь!

— А третьево дни ероплан пролетал.

— Вот те и железная птица!

— Теперя жди страшного суда...

— Бабы, не дадим сымать колокола!

— Не дадим!

— Не дадим!

Через два дня в полночь над православной церковью набатно ударили колокола. Иван Мороз, раскорячившись, одной ногой нажимая на доску, соединенную веревкой с тяжелым языком большого колокола, а другою дергая за веревки, связанные в пучок и расходящиеся к трем средним колоколам, а руками вызванивая трель

крохотными колокольчиками, был похож сейчас на пляшущего дьявола — дал полную волю своему искусству старого, опытного звонаря. От басового рева большого колокола, от баритонного вопля средних, от заливистого, захлебывающегося тенора маленьких колокольчиков Мороз пьянел, глаза его горели сатанинским огнем, губы перекосились в безумной, какой-то торжествующей ярости, редкая черная борода распушилась от сквозняка, разгуливавшего по колокольне. Вспугнутые галки и голуби носились в воздухе, усиливая ощущение тревоги, сумятицы.

Иван Мороз неистовствовал, ничего не видя и не слыша вокруг себя, кроме медноголосого рева и вопля колоколов, — и так до самого рассвета, пока взобравшиеся на колокольню Митька Кручинин и братья Зыбановы не связали его и не втолкнули в темницу, на вершок устланную сухим голубиным пометом. Внизу, в ограде, столпились женщины. Они кричали, грозили комсомольцам расправой и, наконец, по чьей-то команде подхватили с одного конца привезенный из Баланды еще с вечера канат и поволокли его по улице к Ужиному мосту, а от Ужиного моста — к Вишневому омуту, где к тому времени уже была готова прорубь.

Митька Кручинин, Кирилл и Алексей Зыбановы, а также присоединившиеся к ним по пути Иван Харламов и Михаил Зенков подбежали к Вишневому омуту в ту минуту, когда толстый канат, как огромный удав, подталкиваемый десятками рук, медленно уползал под лед. Комсомольцы успели ухватиться за сдин конец каната, но на них тотчас же навалилась толпа разъяренных женщин и, избивая, стала теснить к курящейся холодным паром воде.

— Бей их, бабы, колоти проклятых! — скомандовала здоровенная старуха по прозвищу Катька Дубовка. По круглому рябому лицу ее струился, несмотря на мороз, обильный пот — умаялась, сердешная! — Под лед антихристов!

— Бог не осудит!

— Что там — бей!

— Тащи к проруби!

Иван Харламов успел выстрелить из нагана в воздух. Женщины вырвали револьвер из его рук, кинули в прорубь, в один миг в кровь разбили Ивану лицо. Митька

Кручинин, ухватившись за полу чьей-то бабьей шубы, уже по грудь был в воде. Женщины, плюя ему в лицо и страшно, по-мужски ругаясь, били по рукам, топтали их подошвами валяных сапог, норовя оторвать от шубы.

— Бабы-ы-ы, караул! Он меня за собой в прорубь тянет! Ка-ра-ул!!! — взывала Катька Дубовка.

— Дуры... Что вы делаете?.. Ведь отвечать придется, — хрипел Митька. На широкоскулом лице его металась растерянная улыбка, а черные глаза налились кровью. — Ответите, дуры...

— Он еще грозит! А ну, бабы!..

Удары по Митькиным рукам и голове обрушились с новой силой. Иван Харламов и братья Зыбановы не могли помочь ему, так как сами были сбиты с ног и жестоко избиваемы. Митька уже окунулся в воду и только одной рукой еще судорожно держался за край проруби, и когда толпа женщин неожиданно отхлынула, кто-то взял Митьку за руку и полуживого вытащил на лед.

Очнулся Митька в зимнем теплом шалаше харламовского сада и сразу же увидел рядом с собой гигантскую фигуру Михаила Аверьяновича. Тут же находились Павел Михайлович Харламов, его брат Николай, Федор Гаврилович Орланин и Митькины товарищи.

— Спасибо, дед, — сказал Митька, почему-то обращаясь к одному Михаилу Аверьяновичу.

— Не за что, — сказал тот.

— А колокола мы все-таки сыем, — сказал Митька. Михаил Аверьянович промолчал. Потом спросил:

— Старый мир разрушаете, как в песне вашей поется?

— Разрушаем.

— А построите ли новый-то?

— Построим, — сказал Митька, и на его пухлых, разбитых губах появилась совсем детская, нежная улыбка.

— Хорошо, коли так, — сказал Михаил Аверьянович и вышел из шалаша. Уже за дверью сообщил: — Снег подгребу к яблоням. Что-то мало его выпало нынешней зимой.

...Ночью все колокола были сброшены на землю, а затем увезены в Баланду на станцию, к приготовленным платформам.

Подифор Кондратьевич Коротков доживал свой век. Ему уже перевалило далеко за восьмой десяток, и он спокойно готовился к скорой встрече со своим смертным часом. Сам сколотил себе гроб, который вот уже четвертый год пылился на подволоке. На дне большого окованного сундука лежало смертное: саван, белые шерстяные носки, рубаха белая и белые штаны. Дом, двор, сад и все прочее по-прежнему оставалось крепким, потому как держалось на тугих плечах двух работников да нестарейшей Меланьи.

Дряхл и немощен телом был Подифор Кондратьевич и потому не поверил вначале, что его фамилию в числе первых занесли в список подлежащих раскулачиванию. Поверил лишь тогда, когда Меланья вдруг объявила ему:

— Кондратич, родной, не гневайся на меня. Живой думает о живом.

— О чем ты? — не понял старик.

— Не желаю с тобой на высылку. Поезжай один. Ты уж свое пожил. А я еще молодая — мне толечко шестидесят седьмой годок пошел...

Прямо на глазах у потрясенного Подифора Кондратьевича она собрала барахлишко, сняла свою икону и, поклонившись «дому сему», поблагодарив старика за хлеб-соль, вышла на улицу и решительно, почти торжественно направилась к верхней лачуге, где уже много лет обитал в одиночестве Карпушка.

В тот же день на высоких тесовых воротах Подифора Кондратьевича появился фанерный щит, на котором огромными корявыми буквами было начертано: «Бойкот». Такие же щиты были прибиты к воротам и всех остальных раскулачиваемых. Это значило, что отныне затонцы не должны были ни разговаривать, ни вообще иметь каких-либо дел с бойкотируемыми, которые лишались всех гражданских прав. Позже по щитам с надписью «Бойкот» жители Савкина Затона безошибочно определяли, чья еще участь решена, какой еще двор подлежит раскулачиванию, а поутру выйдя из дому, с опаской посматривали на свои собственные ворота, потому что щит мог появиться и на подворье «подкулачника», «кулацкого подпевалы» и «подноготника».

Подифор Кондратьевич, оправившись малость от удара, решил действовать. Первое, что он сделал, — это сорвал щит, растоптал его, а потом долго сидел на завалинке в тяжком раздумье. Вечером, как только стемнело, пошел к Михаилу Аверьяновичу Харламову. Отдышавшись у порога, сразу же приступил к делу:

— Спасай, Аверьяныч, старика. Не дают помереть спокойно... А за что? За мои-то труды?.. Спасай, милый... Сыны у тебя... Один партийный... Другой — в сельском Совете, тоже начальником, замолвили бы словечко. Можя, справку какую...

Тут Подифор Кондратьевич внезапно умолк: в глазах Михаила Аверьяновича на один лишь миг блеснуло что-то такое, от чего старому Подифору сделалось просто жутко.

— Ничем не могу помочь тебе, Кондратич. Зря ты ко мне пришел. Ты, знать, забыл...

— Кто старое помянет... Давно было дело...

— Дело давнее, то верно. А рана, какую ты мне учинил, она завсегда свежая, не заживает... Иди, Кондратич, я тебе не помощник! Один раз пожалел, да вижу: зря. Сердце — оно такое, не обманешь его. Иди!

15

Илья Спиридонович Рыжов был в числе тех затонцев, кто упорно не хотел расставаться со своим единоличным хозяйством. Он с редкостным мужеством отражал атаки многочисленных агитаторов — и местных и районных. Не желая более встречаться с ними, прибегнул было к испытанному своему средству — забрался на печь, чтобы погрузиться в трехсуточную спячку и таким образом дожждаться лучших времен. Но на этот раз совершенно неожиданно для Ильи Спиридоновича спасительное средство не сработало, дало осечку: более двух часов ворочался, кряхтел, ложился то навзничь, то вниз лицом, то на левый бок, то на правый, но сон не шел. Вконец измаявшись душою, сочно выругался, сплюнул и, слезши с печки, принялся суетно ходить по избе, тщетно выискивая предлог, чтобы поссориться с Авдотьей Тихоновной. В таком-то состоянии духа и застал его очередной агитатор. На этот раз им оказался Карпуш-

ка, поклявшийся в правлении, что непременно уговорит старика Рыжова вступить в колхоз.

— Мы с кумом Ильей бо-о-льшие друзья! — уверял он районных уполномоченных, успевших уже побывать у Рыжовых. — Он меня во всем слушает. Как скажу, так и сделает. Ведь я ему жизнь спас. Кабы не я, кормить бы ему в Игрице раков. Должен он помнить, как вы думаете?

И вот Карпушка обметает снег с валяных сапог у порога Рыжовых.

— Здорово живешь, кум?

— Слава богу. Доброго здоровьяца, Карп Иваныч. — Илья Спиридонович подозрительно глянул на гостя. — Уж и ты не агитировать ли пришел?

— Да нет. Наплевать мне на... Тю ты, черт! — запутался Карпушка. — А хотя бы и так, в колхоз? — вдруг решительно, напрямик заговорил он.

— А вот этого не хочешь? — Скривившись, Илья Спиридонович поднес к Карпушкиному носу кукиш.

— Контра ты! Несознательная белая сволочь! — взбесился Карпушка. — Белых ждешь? Знаю я вашего брата!..

— Вон из моего дому! — завизжал Илья Спиридонович, наступая на Карпушку.

Тот опешил и стал скорехонько пятиться к двери.

Оказавшись во дворе, Карпушка в крайнем смятении стоял, неловко растопырив руки.

— Вот поди ты, — бормотал он. — Сорок лет прожили с кумом Ильей душа в душу. А ныне, глянь, как дело обернулось...

Карпушка почему-то вовсе забыл о прежних своих ссорах с Рыжовым и теперь всерьез верил, что прожил с ним «сорок лет душа в душу». В страшном беспокойстве подходил он к своему дому — пойти прямо в правление не решился. Предчувствие большой беды давило его. В который раз так безнадежно рушатся его планы!

Вступив в колхоз раньше своего «друга», Карпушка в самом деле оказался в крайне затруднительном положении: Меланья, уже успевшая вновь взять власть в свои руки в доме, боялась колхоза, как черт лаdana, и теперь устраивала сызнова обретенному муженьку дикие сцены, причем все время не забывала упомянуть: «Ты, пустоголовый, один только и кинулся в этот кол-

хоз! Небось дружок твой Илья Спиридонович не вступит. Поумнее тебя, безгубого дьявола!»

Как-то уж повелось: что бы Карпушка ни делал, Меланья глянет на содеянное им, распустит губы в кислую гримасу и бросит, точно кипятком окатит:

— А у Ильи Спиридоновича не так. У него лучше.

И вот теперь Карпушка делал пока что безуспешные попытки вовлечь старика Рыжова в колхоз, чтобы сказать потом Меланье:

— Не реви, дура. Не я один, а и Рыжов.

Но Илья Спиридонович заупрямился — хоть ты лопни!

— Ширинками мы будем с тобой трясти в колхозе? Одна голова не бедна, а ежели и бедна, так одна. У себя по хозяйству я ковыряюсь помаленьку, и никто мне не указчик. — Со скрытым ехидством спросил у Карпушки: — Что там, Карп Иванович, слыхать про Попова?

Карпушка замигал глазами, насторожился и промычал что-то невнятное.

— Сказывают, опять объявился? — продолжал свою психологическую пытку Илья Спиридонович, не спуская прищуренных глаз с «кума».

— Браки. Бабушкины сказки, — вымолвил Карпушка, но в голосе его что-то не чувствовалось решительности.

В последнее время, по мере того как в колхоз вступало все больше и больше крестьян, в селе разнеслись слухи о появлении банд разгромленного в двадцатых годах атамана Попова. Слухи эти становились настолько упорными, что многие затонцы всерьез подумывали, не выйти ли им из колхоза.

Так что и Карпушке было отчего призадуматься!

Пришел он домой поздно и, чтобы не разбудить Меланью, разулся в сених. Крадучись, пробрался в избу, лег на полу. Но долго не мог заснуть. На улице свистел ветер, свесившиеся с крыши соломинки скреблись в окно. Взошла луна и, просунувшись в избу, бесцеремонно устремила на кряхтевшего Карпушку свое бледное вздрагивающее око. В хлеву жалобно заблеяла овца.

«Как бы волк опять не залез», — мелькнуло в голове Карпушки, но выйти во двор он побоялся. Ему казалось, что бандит Попов окружает сейчас село и уже отрядил несколько молодцов, чтобы прежде всего захва-

тить активистов, к которым Карпушка причислял и себя.

Между тем «молодцы» уже подходили, но только не к Карпушкиному дому, а к подворью Ильи Спиридоновича Рыжова. Это комсомольцы Иван Харламов, Митька Кручинин и Михаил Зенков, переодетые в белогвардейскую форму, приобретенную нардомом для оформления очередной постановки из времен гражданской войны. По настоянию Митьки они решили использовать слух об атамане Попове, чтобы проверить, насколько затонцы преданы Советской власти. Иван Харламов сначала заупрямился, но потом был вынужден уступить настойчивым желаниям своих товарищей.

«Атаманом», разумеется, был Митька. В синих брюках с красными лампасами, в казачьей фуражке, лихо сдвинутой набок, с приклеенной большой черной бородой из овчины, со своими черными глазами, в сапогах со шпорами, с длинной саблей и револьвером, он имел грозный вид. Его сподвижники были одеты поскромнее, но и в их белогвардейском обличье усомниться не смог бы никто.

— Пошли к Рыжову! — предложил Мишка Зенков. — Вот будет потеха!..

В тот самый миг, когда Карпушка думал о Попове, а Илья Спиридонович спал тревожным, беспокойным сном, в дверь Рыжовых сильно постучали. В одних подштанниках, всклокоченный, дрожа всем телом, старик долго не мог зажечь лампу. Потом бросился к дверям.

— Кто там?

— Открывай. Гости пришли! — раздался повелительный голос.

— Авдотья, Авдотья, вставай! — затормошил Илья Спиридонович жену, не желая, видимо, встречать незваных гостей в одиночестве.

Та встала и, не понимая, в чем дело, долго еще сидела на кровати, промаргиваясь.

Илья Спиридонович откинул крючок, и в избу с шумом ввалились «белогвардейцы». Первый — Илья Спиридонович, хоть и был перепуган насмерть, немедленно узнал в нем самого атамана — широкими шагами прошел к столу, сел на лавку, небрежно раскинув свои толстые ноги в блестящих сапогах. Двое, вытянувшись, стояли у порога, ожидая приказаний.

— Ну-с, — «атаман» окинул хозяина свирепым взглядом. — Ну-с, старик, отвечай, кто в Савкином Затоне комсомольцы? Да не подумай соврать мне!

И «бандит» положил перед собой на столе револьвер, что окончательно погубило Илью Спиридоновича. Приготовивший было ответ, сейчас он только лепетал:

— Мы... вы... пан... тов... атаман...

Видя такое дело, Митька немедленно переменял тон:

— Не бойся, старик, мы тебя не тронём, ежели, конечно, скажешь, кто у вас комсомольцы.

— А то рази не скажу! — обрадовался Илья Спиридонович и стал быстро перечислять: — Ванюшка Харламов, свата моего Петьки, однорукого хохла, сын, значит, комсомолец...

Ребята, стоявшие у порога, приснули, но под суровым взглядом Митьки тут же приняли прежний вид. А Митька невозмутимо продолжал допрос:

— Так, Ванька Харламов. А еще кто?

— Митька Кручинин, Марфы-вдовы сын, комсомолец... Мишка Зенков, кривой сопляк, тоже комсомолец, — докладывал Илья Спиридонович, кратко аттестуя каждого. — Карпушка Колунов, старый хрыч, комсомолец! — выпалил он вгорячах под дружный хохот «белогвардейцев».

— Ну вот что, дедушка Илья, — объявил «атаман», — не советский ты человек. Я уже говорил тебе об этом. Помнишь, в саду? — Он дернул себя за бороду, снял фуражку, и на ошеломленного Илью Спиридоновича глянуло губастое курносое и смуглое лицо Митьки Кручинина.

— Придется тебе, старик, ответ держать, — сказал Иван Харламов. — Выдал ты нас всех до единого атаману Попову. Даже меня, свата своего, не пощадил. Вот ты какой...

— Ванюшка, сват! Робята! — взмолился Илья Спиридонович. — Не погубите! Христом богом прошу! Нечистый попутал!..

— Ладно, ладно. Погом дашь объяснение. Вон там! — кивнул куда-то Митька.

Комсомольцы ушли, а Илья Спиридонович сидел посреди избы на соломе, оглушенный случившимся. Он не слышал ни ругани жены, ни криков петухов, ни надсадного лая собак. Ничего не слышал, кроме мятущегося в

его груди сердца. Набатов били по голове Митькины слова: «Не советский ты человек».

Ни свет ни заря отправился в правление. Шел туда, обреченно думая о том, как сейчас заарестуют его и на кулацких рысках отвезут в Баланду в милицию, а там...

Однако все обошлось. Над стариком только посмеялись. А на другой день Илья Спиридонович сам принес заявление с просьбой о принятии в колхоз.

Узнав обо всем этом, Карпушка возликовал душой и поспешил к новому члену артели в гости.

— Поздравляю, кум, поздравляю! С богом! А я было, кум, обиду на тебя заимел...

Перехватив сердитый взгляд Авдотьи Тихоновны, Карпушка смутился, но ненадолго.

— А ты не гневайся, мать! На бога гневисься...

Карпушка возвел к небесам свои очи и три раза истоиво перекрестился.

Илья Спиридонович молча наблюдал за проделками старого плута и в душе восхищался его изворотливостью.

«Ну и шельма!» — думал он, глядя, как Карпушка изливает свою душу перед всевышним.

— Грешно, говорю, Тихоновна, — перестав креститься, вновь обратился к хозяйке Карпушка. — Советская власть, она не сама пришла к нам, она оттедова ниспослана. — И он воздел к потолку пожелтевший от нюхательного табака указательный палец правой руки.

Авдотья Тихоновна молчала.

Ободренный Карпушка продолжал:

— Сообча теперя будем жить, коммунизм строить. А коммунизм — это вроде рая господнего. Земля — вся в садах. Работать никто не будет, а получай что твоей душе угодно: сахару и кренделей вволю, водка бесплатная. И то же самое прочие харчи... ~~Да~~ с твоим стариком да сватом вашим Михаилом в саду будем сторожить, вольным воздухом дышать, да разных соловьев-пташек слушать. Чем не рай!

— Откудова же все эти харчи возьмутся, ежели никто не будет работать? — с сомнением спросил Илья Спиридонович.

— А машины? Очи и спашут, и посеют, и сожнут, и пирог испекут любой — хоть простой, хоть с капустой, хоть с яблоками али там с калиной, твои любимые, — убежденно сказал Карпушка и, чтоб не углубляться в

этот сложный вопрос, в котором не мудро и запутаться, незаметно подмигнул Илье Спиридоновичу, давая ему знак выйти во двор.

Сам же продолжал вполне серьезно:

— Я к тебе по делу, кум. Ярчонка у меня захворала что-то. Знать, обкормила Маланья. Поглядел бы.

Смекнув, в чем дело, Илья Спиридонович быстро вышел вслед за ссутулившимся Карпушкой.

— Бутылку крепчайшего первака раздобыл ради такого случая, — уже во дворе сообщил Карпушка. — Пойдем, кум, хлобыстнем по малой, пока Маланья, черти ее задери, не вернулась. Зверь, а не баба. Прибегла от Подифора, думал, тише воды ниже травы будет, как никак провинилась передо мной, должна на цыпочках ходить. Как бы не так! Как чуть чего — в драку. А у нее, проклятушей, завсегда под рукой то скалка, то сковородник, то кочерга, а иной раз и рубельником огреет. Куда мне против нее с голыми-то руками! Вот и приходится позорно отступить, как в неравном бою, али самому на цыпочках возле нее, дьявол бы ее забрал совсем!

Приятели вышли на зады и, пригибаясь за плетнем, воровски, незаметно юркнули в калитку. Минут через десять они уже были в Карпушкином доме. На столе стояла литровая бутылка, наполненная мутновато-зеленой жидкостью. Карпушка извлек откуда-то луковицу, два граненых стакана, и кумовья прицались пить.

— За что же, Илья Спиридонович? — подняв стакан, Карпушка выжидающе глянул на гостя.

— За новую жисть, за твой рай! — иронически торжественно вымолвил Илья Спиридонович, и они с чувством чокнулись.

Выпили не поморщившись.

— Хорош! — с восхищением сказал Илья Спиридонович.

— Хорош! — повторил донельса. Счастливый хозяин.

С удовольствием крякнули, опрокинув по второму стакану. Лицо Карпушки сделалось пунцовым, а маленькие черные глазки сразу осовели. Он потянулся к Илье Спиридоновичу, чтобы поцеловать его, но лицо гостя вдруг качнулось перед Карпушкиными глазами, расплылось. Карпушка покорно опустился на лавку и неожиданно запел трескучим тенором:

Хаз Булат удалой,
Бедна сакля твоя...

Илья Спиридонович, распушив русую бородку, подхватил глуховатым баском:

Золотою казной
Я осыплю тебя.

Третьи выпитые стаканы еще больше подбодрили певцов. Уставясь друг в друга сладчайшими глазами, они заорали что есть моченьки:

Дам ружье, дам кинжал,
Остру саблю свою...

Охмелев окончательно, не рассчитали время. Когда весь пунцовый Карпушка усердно дотягивал:

А за это за все,
Хаз, отдай мне жену, —

на пороге, как недоброе привидение, появилась Меланья. Не стесняясь старика Рыжова, она схватила с печки мешалку и двинулась в наступление на перепуганного на смерть и вмиг протрезвившегося мужа.

— Последнюю копейку пропиваешь, вот я тебе покажу!.. Я т-те-бе покажу!!!

Карпушка, как мог, отбивался перед грозным нашествием. Он пятился назад, крестил воздух, уговаривал:

— Да окстись ты, Маланья, что ты в самом деле, белены обожралась — никак, мешалкой огреть хошь?

— И огрею! — подтвердила Меланья, тесня Карпушку к судной лавке, отрезая таким образом ему путь к отступлению.

Илья Спиридонович, не любивший бывать при чужих ссорах и каясь, что соблазнился самогонкой, поспешно вышел на улицу и, не заходя домой, зашагал в правление колхоза, чтоб договориться о сдаче своей лошади на «общественный двор».

Воспользовавшись отсутствием Рыжова, Карпушка сделал хитрый маневр, который и спас его от неминуемой расправы:

— Человека приняли в колхоз, ну, вот он и прихватил литровку — угостил меня. Откажись — обидится...

Буря понемногу стала стихать. Сначала Меланья положила на место мешалку, затем перестала и ругаться.

Довольный благополучным исходом дела, Карпушка как бы в благодарность объявил жене о своих тайных замыслах:

— Коровенку хочу купить, мать. Правление денегат пообещало. Сам председатель сказал.

— Ну, уж так и выдадут — держи карман шире! Шкуру-то вот сдерут с нас досиня, а потом иди по миру! — не поверила Меланья, но в ее голосе не было твердости.

— Выдадут, говорю!

Всю жизнь доившая чужих коров и для чужих людей (у Подифора Кондратьевича Меланья не была женой законной, а потому не была и хозяйкой его добра), она подошла сейчас к Карпушке и погладила шершавой ладонью седую его голову.

— Дай-кошь я поищу тебя. Вши, чай, развелись. Заработался, замотался ты у меня.

Они сели на лавку. Карпушка положил голову на колени жены и вскоре заснул, пугая возившихся под печкой мышей ядреным, с посвистом храпом.

Утром, направляясь на колхозный двор, Карпушка решил заглянуть к Харламовым. Застал там обоих сватов. Илья Спиридонович и Михаил Аверьянович сидели в передней и молчали. Были они явно не в духе.

Поздоровавшись, Карпушка спросил у Рыжова:

— Лошаденку-то сдал, кум?

— Сдал. А твое какое дело?

— Сдал, и хорошо, и слава богу. Чего ж тут сокрушаться? Люди по две лошади сдали, и то ничего.

— Это не ты ли сдал? — ехидно спросил Илья Спиридонович. — Тебе легко так говорить. Лошадей у тебя, кум, отродясь настоящих-то не было. Был меринок, да и тот цельну зиму на перерубе подвязанный веревками висел. Не в обиду тебе будь сказано, ты и не особенно старался, чтобы у тебя были лошади. Мотался по свету да языком, как помелом, трепал. Записался теперь в колхоз, а колхозу — шиш с маслом! В заявлениях указываешь — читал я его ноне! — что сдаешь артели сад. А что это за сад? Один осокорь да крапива у тебя там. А каково вот

свату со своим расставаться? С молодых лет спины не разгибал, ни сна, ни отдыха не ведал, а теперь отдай в чужие руки, все погубят, поломают. Это как? Ить чужие руки — крюки, они ничего не пожалеют. Не свое, скажут, чего же тут жалеть! А тебе что? Ярчонка твоя никому не нужна, а Маланью не обобществляют. Тебе, конешное дело, от колхоза одна польза выходит — слышал, коровенку тебе посулили. Чужую-то председателю не жалко— бери, активист! А нам со сватом Михаилом одни убытки. Я вот ноне кобылку отвел, а там, глядишь, и Буренку придется со двора сгонять.

Карпушка решил пойти на хитрость.

— Верю, верю кум. Нелегко со своей-то животиной расставаться. Словно душа с телом... Но и то сказать, кум, власть Советская, она наша, рабоче-крестьянская, за простого мужика стоит. Не будет же вести нас она к худому. Совместно, сообча мы любую нужду осилим. Вот ты тут меня осокорем попрекнул. А что я мог один-то поделать с ним, с этим чертом? Бился, бился, чтоб сгубить, умертвить его, да не сладил — плюнул и бросил. Помочь собирать для такого дела вроде бы неудобно, смеяться бы стали надо мною. А ведь сообча-то, всем миром-колхозом мы враз его одолеем. У Михайлы хорош сад, слов нет! И все-таки я вам вот что скажу: по нашенским пойменным местам разве это сад? Слезы горячие, а не сад! Ведь колхоз может посадить во сто раз больший — по всей Игрице протянется. Вон уже Ванюшка со своими комсомольцами начали думать о таком саде. Слышал я их разговор с председателем колхоза. И ежели ты, Михайла, подсобишь им своими советами — в десять лет будет преотличный сад! Вот оно какое дело! А один куды сунешься? Опять же к Савкиным в долги полезешь, а они с тебя три шкуры сдерут. А в колхозе, вишь, и тракторы появились. Стало быть, правду говорили. В Липнягах и у Березового Пруда старые межи сравнивают...

Но Илью Спиридоновича нелегко было убедить.

— Тракторы, тракторы! — перебил он. — Видал я вчера твои тракторы. Сам в Липняги ездил поглядеть. Ползают, как пеша вошь по... Срамота! На быках и то спорее. Всю землю нефтой попитают, осот не вырастет — не то что пшеница. Трещат, аж в ушах больно. А трактористы грязнее самого черта. Надолго ли хватит чело века! Чахотку получит — и конец! Мерижанец — он хит-

рый. Небось на свои поля не пустил эту гадость. В Ра-сею отправил: народ, мол, темный, все купит.

— Американцы давно на тракторах пашут, — попытался урезонить Илью Спиридоновича Карпушка.

— Давно, но не на таких самоварах, — не сдавался Илья Спиридонович.

Михаил Аверьянович не вступал в спор. Все о чем-то думал, глядя на пол. Под конец поднял голову, спросил:

— Ты, Карпушка, сам слышал Ванюшкин разговор о саде аль выдумал все?

— За кого же ты меня принимаешь, Михайла? — обиделся Карпушка. — Отродясь не врал! Сам все как есть слышал, собственными ушами. Даже присоветовал им с тобой покалякать насчет саду.

— Добре.

16

В просторном поповском доме разместились одновременно и сельский Совет, и правление колхоза, и с небольшим своим бумажным хозяйством секретари партийной и комсомольской ячеек Савкина Затона. Иван Харламов и двое райкомовских уполномоченных находились в доме, когда туда уже далеко за полночь заявился Митька Кручинин. Вид его был странный: лицо бледное, глаза припухшие, побелевшие сухие губы потрескались. Он все время облизывал их, но губы тотчас же снова высыхали. На Ивана и уполномоченных глядел несвойственным ему заискивающим, просящим взглядом.

— Ты что? — с удивлением уставился на него Иван, серый и вялый от многих бессонно проведенных ночей.

— Так... ничего.

— Врешь.

— Сам ты врешь.

— А чего гляделки-то прячешь? Говори, что случилось?

— Сказал, ничего... Да и не к тебе я, что пристал? Я вон к ним. — И Митька кивнул на райкомовских уполномоченных, склонившихся над каким-то списком. — Пойдем со мной, может, поддержишь.

— В чем?

— Будто и не знаешь. Завтра раскулаченных увозят, и Польку мою тоже. — Митька вдруг качнулся, на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, они блеснули преж-

ней Митькиной отчаянной решимостью. — Не отдам я Польку. Слышишь? Не отдам! Я женюсь на ней!... — После этого он смело шагнул к столу, за которым сидели уполномоченные. Начал напрямик, зло, отрывисто. — Прошу Пелагею Савкину вычеркнуть из вашего списка. Она за отца и деда не ответчик...

— То есть... как же это? — не совсем понял старший уполномоченный, широкоплечий, сутулый мужчина лет сорока пяти. Он поднял на Митьку усталые, глубоко запавшие и оттого казавшиеся темными глаза. — Как не ответчик? Она дочь Епифана Савкина или не дочь?

— Ну, дочь. Не она же наживала богатство... — Толстые губы Митьки дрожали, он смотрел на уполномоченного уже почти враждебно.

— Ты комсомолец?

— Ну так что с того, что комсомолец?

— А то, дорогой мой, что комсомольцу следовало бы знать о политике партии по вопросу ликвидации кулачества как класса. Кулака надо вырывать с корнем!

— Полька не корень. Она моя жена... почесть.

— «Почесть»? Хорошенькое дело!... И что же будет, ежели все комсомольцы поженятся на кулацких дочерях? Ты подумал, что говоришь?

— Подумал. Я ее... В общем, мы любим друг друга...

— Ах, вот оно как! Странные рассуждения члена бюро комсомольской ячейки. Вижу, никакой воспитательной работы у вас тут нет, дорогие товарищи! — И старший уполномоченный глянул в сторону молча слушавшего Ивана Харламова с неподдельным сокрушением.

— Значит, не можете оставить Польку? — спросил Митька, с трудом сдерживая себя.

— Не можем оставить, потому и не оставим... И давно у вас с ней... э... это самое... «почесть»?

— Не твое собачье дело, понятно? — сдавленно и уже откровенно враждебно выдохнул Митька.

— Ясно. И все-таки комсомолец должен стать выше личного, когда дело...

— А катись ты... знаешь куда? — не дал договорить ему Митька.

Он уже весь тряся, руки судорожно расстегивали-рвали пуговицы полушубка. Выхватил из кармана комсомольский билет и прямо перед носом потрясенного уполномоченного разорвал на мелкие клочья. Обрывки серо-

го картона, вспорхнули и разлетелись по всей комнате, Митька, сжимая и разжимая кулаки, хрипел:

— Пошли вы ко всем... с вашим... Сказал, не отдам Польшу!..

Видя, что он заносит руку над головой уполномоченного, Иван кинулся на него и вместе с райкомовскими представителями пытался связать руки ремнем, но Митька раскидал их, успел-таки нанести удар одному из уполномоченных, вскочил на подоконник, высадил окно вместе с рамой и убежал.

Ни в тот день, ни позже вызванный из района наряд милиции, так и не мог найти Кручинина. Вместе с ним исчезла и Польша Пава.

17

Весна припозднилась, и яблони зацвели лишь в конце мая. Теперь, глядя с правого берега Игрицы, уже трудно было различить, где и чей сад цветет. Прошлой еще осенью порушены и убраны все плетни, и теперь это был один большой сад колхоза имени Мичурина. Старшим садовником правление определило Михаила Аверьяновича Харламова, в помощники себе он взял Карпушку, несказанно обрадовавшегося такому назначению. Плетни ломали и отвозили в село на топку печей комсомольцы, возглавляемые Иваном Харламовым, а также Карпушка, которому такое дело пришлось особенно по душе. С великим удовольствием он крушил прежде всего те, что отделяли его собственный захудалый сажок от деревьев Ильи Спиридоновича и раскулаченного в прошлом году Подифора Кондратьевича Короткова, скончавшегося где-то по пути следования к месту высылки. И если б не осокорь, возвышавшийся над бушующим морем в полную силу цветущих яблонь, то нельзя было бы и признать, где же находился Карпушкин сад: он затерялся среди других, чему Карпушка был только рад — теперь уж никто не мог попрекнуть его никудышным садом. Важный и гордый, небывало серьезный, ходил он от яблони к яблоне и по указанию Михаила Аверьяновича срывал цветки с молодых, еще не достигших полной зрелости деревьев. Белые, бледно-розовые и пунцово-красные лепестки осыпали его курчавую, некогда аспидной черни, а теперь седую голову, прилипали к щекам, пот-

ной шее и выступавшим под мокрой сатиновой рубашкой лопаткам, два розовых лепестка — похоже, с кубышки — умудрились как-то приклеиться к верхней его, вытянутой губе, и теперь губа эта была словно подрумяненной. Карпушка широко раздувал ноздри, жадно втягивал воздух и, прижмурившись, то и дело восклицал со сладостным придыханием:

— Господи бо-же ты мой, рай, да и только! Благодарить!..

Прервав Карпушкины излияния, Михаил Аверьянович велел заняться бывшим Подифоровым садом, а сам направился в конец бывшего своего, туда, где среди кустов калины нежданно-негаданно выросли посаженные кем-то из внуков — наверное, Фросиным Мишкой — две яблоньки. В этом году они шибко зацвели, и садовник решил не допустить преждевременной завязи. Он уже наклонился, чтобы нырнуть под калину, но вдруг замер, пораженный раскрывшейся перед ним картиной: в трех шагах от него, там, куда падали, дробясь о ветви, солнечные брызги, на сложенном вчетверо стеганом, сшитом из нарядных клинышков и треугольников одеяле лежал ребенок, усыпанный лепестками цветов выросшей тут же кудрявой, уже отцветающей черемухи. В полуоткрытом ротике его прозрачным пузырем надулась слюна, рубашонка задралась к подбородку, и было видно, как матово-смуглый, молочного цвета животик мерно, покойно колышется. Прямо в изголовье ребенка белели, качаясь на тонких ножках, три чашечки ландыша, на них дрожали капелюшки еще не выпитой солнцем росы.

Хрустнула ли сухая ветка под ногою Михаила Аверьяновича, кашлянул ли он нечаянно, только слева от него, куда он не глядел, кто-то встрепенулся, послышался испуганный женский голос:

— Кто там?

И второй голос — мужской:

— Кто там?

И тут Михаил Аверьянович увидел Митьку Кручинина и Польшку Паву. До этой минуты они, очевидно, спали на траве, возле траншеи, ведущей в землянку, а сейчас сидели, вперившись в пришельца неприязненными, расширенными страхом глазами.

— Что тебе тут надо? — Митька поднялся и приблизился к Михаилу Аверьяновичу.

— Это я тебя хотел об этом спросить. Дерево, под которым ты стоишь, посадил я. Да ты не бойся, не выдам, — успокоил старик и, не сдержав улыбки, спросил, кивнув на ребенка: — Ваш?

— А чей же? Наш. Зимой, в землянке прямо и родился. Мальчишка. Андрюхой назвали. Лесной житель... Не выдашь, значит?

— Не выдам.

— Плетни убрали? — неожиданно спросил Митька.

— Убрали. Нет зараз плетней, — тихо и грустно сказал Михаил Аверьянович.

— Хорошо. — Митька шумно вздохнул. — Тут и я ночью свою руку приложил вон к ихним плетням, — указал он на Польшку Паву. — Не стерпел...

— Зачем же ты хоронишься?

— Боюсь, дед, посадят. И она пропадет с малым. — Митька вновь глянул на притихшую, напряженно слушавшую их разговор Польшку.

— Но ведь и это не жизнь.

— Знаю. А что делать?

— Как что? Власть-то наша. Раньше, при царском режиме, в моем саду Федор Гаврилович Орланин от жандармов прятался. То понятно. А ты от кого?.. Гоже ли это, а? Приди в сельсовет, покайся, повинись — и тебе простят. Не враг же ты, не шпиён? Ну, может, дадут год принудиловки — невелик срок. Ты молодой. Отбудешь, вернешься с чистой душой. Парень ты крепкий и, кажись, с головой. Добре?

— Нет, дед. Я вернусь, а они Пелагею к отцу отправят, на Соловки, аль еще куда... А что я без нее? Зачем мне все... все это, когда без Полины белый свет не мил? Все одно повешусь. Это уж я точно тебе говорю, старик... Так не выдашь?

— Не выдам, — твердо сказал Михаил Аверьянович и сразу же нахмурился, посерел лицом, думая о чем-то своем, глубоко скрытом.

— Спасибо, отец...

— Не за что. Но ежели, Митя, худое кому из людей сделаешь, тогда не обессудь — заявлю. Я не потерплю, чтоб в моем саду скрывался преступник. Не для того сажал я сад свой. Запомни это, Митрий!..

От их ли голосов, от солнечных ли зайчиков, добравшихся до лица и защекотавших его, но ребенок проснул-

ся и громко, на весь сад, заплакал. Полька встрепенулась опять, подхватила его на руки и, торопясь, не стыдясь постороннего, широко распахнула кофту и, придерживая левой ладонью большую, всю в синих жилках грудь, дала ее ребенку. Мальчишка заурчал, замурлыкал, еще больше вывернул облитые молоком пухлые губки и, кося на Михаила Аверьяновича глазенки, принялся жадно сосать.

— Чем же вы харчуетесь? — спросил Михаил Аверьянович.

— А чем бог пошлет, — ответила Полька Пава, мерно раскачиваясь, баюкая сына. — Зимой тяжело было. Как бы не Митина мать, померли бы с голоду. Она приносила по ночам кой-какую еду. А Настенька, подруга моя, твоя внучка, вместе с матерью, тетей Фросей, яблоков сушеных присылали с Митиной матерью. Ну, а сейчас полегче маленько стало. Прошлогоднюю картошку собираем, сушим, а из крахмала пекем лепешки с конским щавелем. В Игрице ракушки собираем, варим похлебку. А теперь вот моркошка дикая пошла. В лесу много съестного. После половодья раст копали, рвали слезки. Молоко мать приносит. Так вот и живем...

— А где ж от половодья-то спасались?

— В Панциревке. У Пищулиных... Дедушка, кто те перя в нашем доме?

— Кажись, правление туда перебралось... Ну и как же думаете дальше жить?

— В город подадимся. В Саратов. Вот Андрюха наш маленько подрастет, и к осени — в город. Там ведь у меня брат, на заводе работает, — сказал Митька. — Нам бы только справки...

«И этому справки. Всем справки», — подумал с какой-то смутной тревогой Михаил Аверьянович и тут же вспомнил про сына Николая, работавшего секретарем в сельсовете.

Насосавшись, ребенок снова заснул. Мать положила его на этот раз под яблоню. Михаил Аверьянович стал обрывать цветки, и цветки эти, как первый, еще нежный, чистый, пушистый снег, запорхали между ветвей, и через полчаса внизу было все белым-бело, и ребенок спал уже в этом белом пахучем царстве, на ничтожно малом кусточке огромной и теплой планеты, на которой нашлось и ему место, не ведающему ни того, что творилось вокруг

него в этом необъятном, растревоженном мире, ни того, для каких — малых, великих ли — дел родился он, новый житель земли.

— Ну, бувайте! — сказал Михаил Аверьянович, когда работа была закончена. — А ты, Митрий, подумай о моих словах. Ты не бандит, а живешь в лесу, как те, зеленые...

Митька не ответил.

Возле шалаша Михаила Аверьяновича стоял Карпушка. В волнении сообщил:

— Почудилось мне, Михайла, будто дитенок гдей-то заплакал.

— Почудилось, — сказал Михаил Аверьянович, пряча от Карпушки глаза. И заспешил перевести на другое: — Ты кончил с Подифоровым?

— Кончил. Сейчас пойду шалаш свой поправлю. Хоть мы с тобой и приятели, а два медведя в одной берлоге не живут. Лучше уж я буду там, а ты — тут. Так-то надежнее сторожить колхозный сад. Вот бы нам еще книги какие по садову делу. Ванюшка обещал раздобыть. Хотят они нас с тобой к самому Мичурину в город Козлов командировать, чтобы поглядеть, как там у него, опыт, стало быть, перенять. — Размечтавшись, Карпушка уже подстегивал и без того резвую свою фантазию, и она неудержимо понесла его. — А потом пригласим и его к себе в гости. Наш сад через десять — пятнадцать лет наилучшим во всем Сысыере будет, из заморских стран зачнут наведываться к нам, учиться у нас, стало быть... А когда построим коммунизм, вся наша Земля-планида будет один сплошной, без единого голого пятнышка, сад. Это я уж точно знаю, в ученой книжке так пропечатано. Вот оно какое дело, Михайла!.. Ну, я пойду подновлю шалашик. А когда мы за осокорь-то возьмемся? Можя, оставим его для красы, а?

— Потом порешим и с осокорем. Сейчас не до него. Ты иди делай свое дело.

Случилось так, что, отыскивая для шалаша сухие палки, Карпушка забрел и к черемухе, под которой было убежище Митьки Кручинина и маленькой его семьи. Сам Митька спал. Карпушку видела лишь Польша Пава. Обнаружив такое, Карпушка так перепугался, что уже через десять минут был в Савкином Затоне, а еще через час Митька был арестован и отправлен в Баланду.

Польку Паву с ребенком оставили у Митькиной матери.

— Зачем ты это сделал, Карпушка? — спросил Михаил Аверьянович.

— Он же, бандит, передумал бы нас тут.

— Дурак ты! Какой же он бандит?

— Раз от властей скрывается, стало быть...

— И еще раз дурак.

— Это почему же? — обиделся Карпушка. — Человек совершил преступление и должен ответ держать.

— Какое преступление?

— А уполномоченного побил?

— Так тому уполномоченному и надо. Не разобрался, в чем дело, не поговорил с парнем... Ванюшка рассказывал мне, как все случилось. Разве ж так можно?

Михаил Аверьянович умолк, встретившись с Карпушкиным взглядом: всегдашнего простодушия в его глазах как не бывало. Злой, ошестинившийся, смотрел он на своего друга с величайшим укором. Заговорил трудно, с болью:

— Может, ты, Михайла, забыл, как Андрей Савкин твои яблони с корнем выдергивал, как над Улькой измывался, как его покойный батюшка твою мать на колени ставил? Забыл? Ну, так и забывай! А я не забуду во век, как за паршивую икону, распро... их мать, они, Савкины эти, заставили меня кровью харкать! Это ведь я своей глупой Маланье могу все прощать — сошлись без любви, разошлись без нее, этой самой... теперь сызнова вместе. Зла на нее у меня нету. Не от сладкой жизни бабенка мечется. А энтих... я б их всех своими руками... И Митька, раз кровью помешался с бандитской породой, — нету ему от меня пощады. И на страшном суде не раскаюсь, что выдал его, сукиного сына, властям. Не царским властям, а своей родной Советской власти выдал! И ты меня, Михайла, не попрекай! У меня своя голова на плечах!

На другой день стало известно, что Митька по пути в Баланду бежал из-под стражи. Его везли в телеге, по бокам сидели с револьверами два милиционера, и когда дорога за Панциревкой пошла по-над крутым берегом Игрицы, Митька в один миг растолкал милиционеров в разные стороны и прыгнул в воду с трехметровой высоты. Не успели конвоиры прийти в себя, как он уже подплы-

вал к левому, лесистому берегу. Несколько пуль, пущенных вдогонку, всхлипнули возле Митькиной головы, а через минуту он уже скрылся в прибрежных зарослях камыша и тальника.

А неделю спустя в глухую, непогожую ночь, когда сад шумел, как море во время шторма, когда черные горизонты полыхали грозными языками молний и глухие раскаты грома надсадно ухали в крошечной тьме, когда смолкли соловьи в крыжовнике, когда мятущиеся ивы над Игрицей купались макушками в ее высокой черной волне, свистя и стеноя, Митька подкрался к Карпушкиному шалашу и поджег его. Острые лезвия пламени вспороли соломенную крышу, обожгли яблоневые ветви и вонзились в аспидно-черный мрамор неба, могильной плитой нависшего над тревожно гудящим садом.

— Кара-у-у-л!.. — слабо прозвучало в шуме деревьев, в далеком, грозном гуле грома, в звонком выхлопе разъярившего пламени.

Карпушка, задыхаясь в дыму, пытался открыть дверь, но она была подперта снаружи толстой слегю. Проснувшийся от треска загоревшихся яблонь Михаил Аверьянович кинулся на помощь Карпушке, но было уже поздно: обнажившиеся красные ребра шалаша надломились, рухнули, пламя взыграло еще яростнее; нырнувший в эту огненную крутоверть, Михаил Аверьянович успел выхватить из-под пылающих обломков шалаша тело товарища; на нем самом горели рубаха, штаны, волосы на бороде опалило. Красным факелом пролетел он по саду к Игрице, а потом, выбравшись из воды, в беспомощности пролежал на ее берегу до утра в обнимку с другом, похожим теперь на большую, отдающую холодным, сырым, острым, угарным дымком головешку. Ветер к рассвету разогнал тучи, затем и сам стих, горизонт побелел, и сад, молчаливый свидетель только что закончившейся драмы, тревожно вздыхая, склонил свои зеленые ветви над людьми, без которых он будто сразу же поскучнел.

На похороны Карпушки неожиданно пришло чуть ли не полсела. Как это часто бывает с людьми, только теперь, после смерти человека, они поняли, как близок и дорог был он им. Без роду, без племени, явившийся неведомо откуда, из каких краев, Карпушка давно стал

частью их самих, таким же, как они, затонцы, и только, может быть, лучше многих из них научен жизнью не роптать, не падать духом, когда она, жизнь, прижмет, придавит тяжким своим прессом, мог искуснее прятать сердечную боль-тоску свою за немудрой шуткой, за не приносящей никому зла смешной выдумкой. Не за то ли прежде всего он был и любим ими?

Смерть Карпушки была очень не ко времени, потому что подстерегла его как раз в тот момент, когда он, претерпев все тяготы нелегкой своей доли, выкарабкался наконец на дорогу, к которой сознательно и бессознательно стремился всю свою долгую скитальческую жизнь, ту самую дорогу, по которой мог идти прямо, не горбясь, идти без трусливой оглядки, никого не страшась, ни от кого не прячась, никому — ни себе, ни другим — не мороча голову разными небывальщинами, — в тот самый момент, когда он стал вдруг тем, кем был в действительности, то есть очень разумным, трезво мыслящим мужчиной, когда ему уже незачем было притворяться затонским петрушкой, когда он мог говорить людям то, что думал, говорить всерьез, с сознанием человеческого своего достоинства.

Хлопоты о похоронах взяли на себя Харламовы, с которыми Карпушка сдружился с давних пор и был как бы членом их семьи. Заделавшийся колхозным хлебопеком, одорукий Петр Михайлович Харламов с помощью Дарьюшки, Фроси и Фени, а также своих дочерей Любоньки и Маши готовил поминки. В день же похорон и сам Петр Михайлович, и все женщины присоединились к траурной процессии.

Над Савкиным Затоном плыли скорбные мелодии — играл духовой оркестр, присланный из Баланды по просьбе секретаря затонской комсомольской ячейки Ивана Харламова. Ближе всех к гробу шли, обнявшись, Меланья и Улька, переселившаяся к Карпушке после раскулачивания отца. Обе плакали. Меланья время от времени начинала причитать. Другие шедшие за гробом бабы крепились, но недолго. Вот и они понемногу одна за другой зашмыгали носами, потащили к глазам концы платков, а потом вдруг заплакали все сразу, взвыли по-волчьи протяжно, тоскливо, страшно — никто так не плачет по умершему, как женщины, и не потому ли, что им, дающим жизнь, особенно ужасна и ненавистна уносящая

ее смерть?.. На затонском кладбище, неподалеку от могилки Настасьи Хохлушки и Сорочиши, над свежим холмиком впервые был поставлен не крест, а сооруженная комсомольцами жестяная красная пирамида с пятиконечной звездой на самом ее острие. Чьи-то женские руки повесили на пирамиду венок из луговых цветов, воткнули несколько кустов сирени. Иван Харламов выцарапал слова:

*«Карп Иванович Колунов, по прозванию Карпушка.
Погиб от злодейской руки 30 мая 1931 года.
Вечная тебе наша память, дорогой товарищ!»*

18

Не думал Михаил Аверьянович, что смерть Карпушки будет для него таким тяжким ударом. Две недели после похорон он просто не находил себе места. Сад и тот не мог в первые дни облегчить, утишить сердечную тоску старика. Он слонялся без дела меж присмиревших, как бы пригорюнившихся яблонь и груш, безвольно опустив большие, туго свитые из бугристых сухожилий руки, и, только оказавшись рядом с яблоней, что стояла неподалеку от сгоревшего шалаша и сама пострадала от огня, вдруг как бы очнулся.

Вид хворой яблони, как всегда, отозвался в душе его острой болью, заставил действовать. Михаил Аверьянович сходил в свой шалаш и вернулся с ножовкой, топором и ножницами. Подставив к дереву лесенку, начал осторожно освобождать его от обгоревших ветвей. Они падали, распространяя вокруг горько-кислый, отдающий дымком, пощипывающий в носу запах.

От того ли щекочущего, покальвающего в ноздрях запаха, от большого ли горя на глазах Михаила Аверьяновича появились слезы. Пытаясь сдержать их, он плотно смежил веки, но накопившаяся влага все жё просачивалась, катилась по щекам, по опаленной бороде. Ему вспомнился последний разговор с Карпушкой, и от этого на сердце стало еще тяжелее, томительнее.

«Ни за что обругал человека дураком, — подумал Михаил Аверьянович о себе. — Кажись, Карпушка был прав. В бандитскую, бирючью шкуру Митрий залез. А я ему, рассукиному сыну, поверил».

Потом почему-то подумалось об осокоре:

«Вот еще один мучитель покойного Карпушки. Сколько жил вытягивал из старика! Надо мне за него взяться. Пора!» С этими мыслями Михаил Аверьянович решительно направился к месту, где росло гигантское дерево.

Осокорь находился далеко от сгоревшего шалаша, пламя пожара никак не могло достать его; с тем большим изумлением Михаил Аверьянович увидел дерево высыхающим. Осокорь умирал. Ветви, что были поближе к неохватному, иззубренному, израненному комлю, еще зеленели по-прежнему жирной, сочной, густой листвою, а повыше они уже засыхали, по-покойнически выпрямившись, вытянувшись; листья на них жестяно звенели под порывами ветра. Многие уже сорвались и лежали на земле, неестественные, чуждые среди яркой зелени разнотравья, среди цветов, среди заботливо порхающих и ползающих бабочек, божьих коровок, муравьев.

Михаил Аверьянович с силой ткнул по коре осокоря, но из свежей раны не брызнул, как прежде, не заструился живой, пульсирующей кровью освобожденный из жил сок: похоже, его едва-едва хватало на то, чтобы напоить только нижние ветви и листья. Больное дерево обескровело, и это была смерть. И было странно, что она пришла к осокору в то время, когда никто не мешал ему жить, когда враг его лежал в земле, когда смертельная схватка осталась позади, борьба окончилась и он, великан, вышел из нее победителем. Зачем же он умирает?

А вокруг умирающего, в пяти-шести шагах от него, посветлело, некогда хилые яблоньки вроде бы приободрились, повеселели. На образовавшемся солнечном пятнышке — раньше его не было — всюю цвел кустик невесть откуда взявшейся земляники, над ним тягуче гудела пчела. На месте убранного недавно плетня храбро стремилась вверх юная поросль терна. Листочки на терне были еще нежные, мягкие, мягкими были даже колючки. Они напоминали шпоры молодого, еще не заматеревшего, но уже готовящегося к грядущим жарким боям петуха.

«Вот и Ванюшка в детстве был таким же колючим», — глядя на молодой терн, вспомнил про старшего своего внука Михаил Аверьянович.

На завтра назначен воскресник — штурм Вишневого омута, и руководить этим штурмом будет Иван Харламов.

Как-то он сказал деду:

— Омут наш называется Вишневым, а не оправдывает такого названия. Вот мы, комсомольцы, и решили расчистить его берега для сада. Возле самой воды кругом будут вишни, а уж вторым эшелонем у нас пойдут яблоны, груши, сливы. Добре?

— Добре, — сказал Михаил Аверьянович и долго, как-то особенно тепло посмотрел на лобастого, уже начавшего лысеть двадцатипятилетнего парня: «Жениться бы ему надо».

Штурмовать Вишневый омут Иван начал давно. Когда ему было лет десять, он привел на самый глухой берег своих товарищей и объявил им, что сейчас искупается в омуте.

— А вот не искупаешься!

— А вот искупаюсь! Спорим?

— Спорим!

Вмиг были сброшены рубаха, штаны. Ванюшка разбежался и, сверкнув белыми худенькими ягодичками в воздухе, щукой нырнул в темные и холодные воды Вишневого омута.

Его товарищи ахнули на берегу, с замиранием сердца стали ждать, когда Ванюшка «вымырнет». А он что-то не появлялся. В том месте, куда он прыгнул, на поверхности воды начали мигать пузыри. По тощим телам ребятишек побежала дрожь. Еще мгновение, и они дали бы стрекача, но тут из воды вынырнула светловолосая лобастая голова Ванюшки. Ребята помогли ему выбраться на крутой берег. Мертвенно-бледный, с синими, трясущимися губами и окровенившимися выпуклыми глазами, он некоторое время сидел, трудно дыша. Отдышавшись, сорвал с шеи гайтан с медным крестиком и выбросил в омут. На удивленные, испуганные возгласы приятелей ответил:

— Через него чуть было не утонул. За корягу гайтаном зацепился.

Мальчишки — Ленька и Кирька Зыбановы, Мишка Зенков и Митька Кручинин, — не долго думая, последовали его примеру, тоже снимали гайтаны с крестика-

ми. А Митька вдобавок дважды прыгнул в омут и торжественно объявил:

— Больше не боюсь. Никаких тут водяных нету — враки это одни! Завтра же приду купаться. Лопни мои глазоньки — приду!

В тот же день все они были выпороты родителями. Ванюшке, как зачинщику, влетело больше, чем его приятелям, но в отличие от них он не подчинился матери, не повесил на шею вновь креста. На помощь Дарьюшке поспешил Петр Михайлович, но и это не помогло:

— Не надену, и все! Хоть убейте, а не надену!

За Ванюшку вступился дед:

— Оставьте его в покое. Бога надо носить не на шее, а вот тут. — И он ткнул себя в грудь.

Ивана дед любил, пожалуй, больше, чем других своих внуков. И не только потому, что он был разумнее, толковее остальных. А еще и потому, что однажды с дедом и внуком случилось такое, о чем до сих пор Михаил Аверьянович не может вспоминать без дрожи.

В ту пору внуку шел второй год от роду. В разгар страды его не с кем было оставить дома, и Дарьюшка брала ребенка с собой в поле. Там она кормила его, а покормив, укладывала в тени, под телегой, спать. Степной, сотканный из множества дивных запахов воздух, свист сусликов, жавороночье песнопение, стрекот кузнечиков, волнующий шелест трав, ласкающая воркотня низового ветра в колесных спицах быстро убаюкивали малыша. Дарьюшка, уже сама чуть не засыпая, допевала колыбельную:

Ах, усни, усни, усни,

Угомон тебя возьми, —

и уходила к косцам вязать снопы.

Как-то Ванюшка проснулся раньше обычного — разбудил саранчुक, прыгнувший прямо ребенку на нос. Ванюшка протер кулачком глаза, поплакал, поплакал и, видя, что к нему никто не идет, сам поковылял к желтеющей высоченной стене не скошенной еще ржи. Он забрел и затерялся в ней, как в лесу. Высоко над его головой лениво, сыто шумели тяжелые колосья, спертый раскаленный воздух быстро разморил Ванюшку, и, вяло, нехотя всхлипывая, он вскоре споткнулся босыми ножонками о горячий ком, упал, да так и заснул посреди несжатой полосы.

Михаил Аверьянович к тому времени делал с крюком шестой заход. Поводя широкими, раззудившимися и уже не чувствующими тяжести плечами, он выкладывал слева от себя ровные ряды, издали похожие на желтые волны. Утомленные однообразным видением глаза его тупо, разморенно смотрели в одну точку, не замечая почти ничего, кроме мерцающего жала косы. Лишь в последнюю секунду, когда крюк был занесен для очередного взмаха, он увидел под ослепительно вспыхнувшим лезвием остро отточенной, хорошо отбитой косы спящего ребенка. Отбросив крюк далеко в сторону, поднял внука на руки и спящего отнес под телегу. И только тут почувствовал, что земля поплыла под ним, поворачивается, опрокидывается куда-то. Ноги подломились, в глазах пошли мутно-красные круги. Упал на землю и, обливаясь обильно выступившим потом, забился в буйном припадке. А когда припадок кончился, молчаливый, бледный, запряг лошадь и увез семью домой, хотя до вечера было еще далеко. О случившемся никому не сказал. Не заходя в избу, отправился в сад и долго жевал там кислющие незрелые яблоки с зерновки.

С той-то поры Ванюшка и был для Михаила Аверьяновича особенно дорог.

19

Штурм Вишневого омута начался до восхода солнца и продолжался весь день и всю ночь. После второй кочетинной побудки со всех концов Савкина Затона к некогда недоступному месту устремились парни и девчата. По указанию Ивана Харламова возле Ужиного моста стоял Мишка Харламов и, не переставая, бил в пионерский барабан. От утренней прохлады и от возбуждающих звуков барабана тощенькое тельце мальчишки дрожало. Пионерский галстук рдяно пламенел на тонкой шее.

Мимо барабанщика быстро шли люди с лопатами, топорами, пилами. На ходу они говорили отрывисто, нервно, будто бы и впрямь шли в бой. Некоторые задерживались на короткое время, трепали барабанщика за уши и убегали, догоняя товарищей. Дергали то за одно, то за другое ухо, судя по выражению лица, ласково, в знак особого расположения. Однако Мишкины уши горели жарким огнем. Но Мишка стойчески выносил эту непред-

намеренную трепку и молотил в барабан все яростнее, и был рад-радехонек, что взрослые заметили и, кажется, впервые оценили его усердие на общее благо.

Неподалеку топтались школьные друзья и глядели на барабанщика с нескрываемой завистью.

И только Илья Спиридонович Рыжов, направлявшийся к Вишневому омуту скорее из любопытства, нежели для участия в воскреснике, не одобрил Мишкиного энтузиазма, шлепнул мальчишку по затылку и осуждающе сказал:

— Ну что стучишь, как дятел? Делать тебе нечего? Марш домой!

Мишка, однако, не послушался и продолжал стучать — теперь уши его были алее галстука.

Вскоре пришел учитель, построил школьников в колонну, поставил барабанщика во главе ее и повел ребят к Вишневому омуту. Над лесом, над Игрицей легко и вольно взмыла песня:

Взвейтесь кострами,
Синие ночи,
Мы пионеры —
Дети рабочих.

Иван Харламов попросил учителя остановить колонну.

— Пускай ребята устраиваются тут и поют для нас свои пионерские песни. Больше от них ничего и не требуется, — сказал Иван, и, уже отбегая, пояснил: — Это для вдохновения нужно.

Затем он разбил комсомольцев на бригады, поставил над ними наиболее расторопных и авторитетных, и работа началась.

Наступление на Вишневый омут повели одновременно с двух сторон — от Панциревки и Савкина Затона, с тем чтобы к концу дня выйти к самым берегам омута. Ребята орудовали пилами и топорами, а девчата отвозили на лошадях сучья и порубленный кустарник. Яростное визжание пил, сырой жирный хряск топоров, обреченные вздохи падающих деревьев, предупреждающие крики: «Береги-и-и-ись!» — и над всем этим звонкое, будоражащее, призывное:

Близится эра
Светлых годов...

Вишневый омут ответственал на внезапное нашествие молчанием, как всегда загадочным.

К полудню фронт работ приблизился к омуту настолько близко, что зашевелились, забеспокоились тайные обитатели его когда-то почти неприступных берегов. Первой с самого утра почуяла беду старая щенная волчица, который уже год выводившая тут потомство и затем совершавшая вместе с ним нападения на крестьянские дворы в Савкином Затоне, Панциревке, Салтыкове и Кологриевке. Она заметалась в плотном окружении и, убедившись в безвыходности своего положения, завывала жалобно и протяжно. Из-за Игрицы, из леса, ей ответил волк хрипло-басовитым, переходящим под конец на долгое, угасающее «а-а-а» воем.

Люди на минуту остановили работу. На плотине смолк барабан. Но затем все вдруг закричали, заулюлюкали. Лошади захрапели, вскинулись на дыбки. Их с трудом удерживали бросившиеся на помощь девчатам парни.

Волчица еще раз провыла в кустах, но крики людей были так близки и грозны, что она решилась на крайне отчаянное предприятие: ощерилась и, кляца клыками, побежала прямо на орущую и улюлюкающую толпу. От неожиданности люди в ужасе расступились, пропуская зверя. Волчица вплавь перебралась через Игрицу и скрылась в садах. Через некоторое время до Вишневого омута снова донесся ее вой — протяжный, безутешный, как стон. А еще через час в глубокой, заросшей ежевикой и удав-травой впадине были обнаружены и волчата — семь темно-бурых, с черными лапами и такими же черными мордами щенков, удивительно похожих на кутят из породы овчарок.

Работа продолжалась.

Пионеры стучали в барабан, пели, как и было им предписано, свои пионерские песни.

Безучастным некоторое время оставался лишь Илья Спиридонович Рыжов. Правда, и его подмывало взяться за топор или пилу — не такой он человек, чтобы оставаться в стороне, когда вокруг кипит и спорится работа, — но старик из какого-то и самому ему не очень понятного упрямства все еще ворчал про себя: «Порушат лес и никакого сада не посадят. Как пить дать — не посадят! Пошумят, помитингуют и успокоятся».

К нему подошла Фрося, потная, усталая, сияющая.

— Тять, что же ты стоишь так-то, не помогаешь нам? Неужто ребята худое затеяли? Ты погляди, мои все тут: и Настенька, и Санька, и Ленька, и Мишка — все! Сад ведь осенью будем сажать. Сад! — повторила она значительно и просияла еще больше, счастливая совершенно, будто и не случилось в ее доме несчастья.

А несчастье большое: Николай Михайлович, муж ее, незаконно выдал кулацким семьям какие-то сельсоветские справки и был осужден на пять лет. Когда увозили его в Баланду, крикнул бежавшей за милицейской телегой плачущей жене: «Что притворяешься? Рада небось, сука!» Она вздрогнула от страшных этих слов, побледнела, рухнула наземь. Когда очнулась, телеги уж не было видно. Вытерла глаза досуха и с каменным, затившим что-то лицом вернулась домой. Вечером того же дня сказала свекру: «Не муж он мне больше!» — и точно камень сняла с души. Михаил Аверьянович нахмурился, долго молчал, а потом тяжело вздохнув, тихо, словно бы только для себя, сказал:

— Так оно и должно было быть.

Сейчас ни он, ни она не вспоминали об этом.

— Ничего нет на свете лучше сада! — сказала Фрося и поднялась на цыпочки. В ту минуту ей почему-то очень захотелось увидеть за Игрицей бывший свой сад и в том саду скромную и тихую, как мать, медовку. — Ничего, ничего нету лучше и краше!..

Илья Спиридонович, не понимая этой неожиданной возбужденности дочери, недовольно фыркнул:

— Ишь тебя понесло! Иди вон к своей дурочке — ждет, — указал он на Ульку, которая с некоторых пор так привязалась к Фросе, что ходила за ней всюду. — Нашла подружку! Може, и сама уж свихнулась, а? — сказал он вдруг и долго, беспокойно поглядел на дочь.

— Ты сам-то работай. стыдно небось, колхозник!

— Без тебя знаю, — огрызнулся Илья Спиридонович и, дождавшись, когда Фрося отошла от него, таясь, воровски озираясь, направился к Ивану Харламову.

— Дай-кась, Ванюшка, и мне топор. Разомну старые кости, — и нахмурился, пряча от Ивана глаза.

— К шапошному разбору, сваяг, пришел, — улыбнулся Иван.

— Когда б ни пришел, а пришел.
— Ну и за то наша тебе благодарность.
— Я в вашей благодарности и не нуждаюсь.
— Ладно, ладно. Иди к девчатам. Кучером у них будешь.

Однако и это обидело Илью Спиридоновича.

— Аль не доверяешь мужские-то дела?

— Доверяю. Но хотел что полегче.

— Я легкой жизни не ищу. Не то что некоторые... разные... Что про разбойника-то слышать?

— Про какого разбойника? — не понял Иван.

— А про душегуба, дружка твоего Митрия Кручина?

— Поймали и осудили. Десять лет дали. Ты меня, старик, не попрекай этим дружком. Подифор Кондратич Коротков, твой приятель, царствие ему преисподнее, не лучше Митьки был. Митька хоть по молодости и дурости своей натворил дел, а энтот сознательный зверь, хуже той волчицы...

Объяснившись таким образом, старый и молодой сваты вроде бы удовлетворились, успокоились. Иван направил Илью Спиридоновича обрубить сучья с поваленных деревьев, а сам взялся за пилу, за другую рукоятку которой уже держался Мишка Зенков.

И над Игрицей вновь сыпалась барабанная дробь, и до комсомольцев долетали звонкие детские голоса:

Близится эра
Светлых годов...

К заходу солнца берега Вишневого омута полностью очистились. Работа, однако, продолжалась и ночью при свете костров.

Михаил Аверьянович, окидывая взглядом огромную площадь, где еще утром был непроходимый лес, вспомнил то далекое теперь уж время, когда сам, без чьей-либо помощи, отвоевывал у дикой природы кусок земли, чтобы посадить сад, и тогда ему потребовалось несколько месяцев, а тут — один день.

— Вот оно, сват, какое дело-то! — сказал он в волнении подошедшему к нему Илье Спиридоновичу. — А мы-то с тобой думали, что умнее всех. Выходит, правду люди сказывали: век живи — век учись...

Вечером пришли два трактора, и началась выкорчевка пней.

А наутро люди не узнали Вишневого омута. Он словно бы стал шире и выглядел безобиднейшим сельским прудом с его голыми искусственными берегами. Всех особенно поразил цвет воды — золотисто-янтарный, прозрачный, точь-в-точь такой же, как в Игрице, для которой Вишневый омут на протяжении веков был вроде отстойника. От легко пробравшегося сюда степного ветра по поверхности воды побежала частая рябь, сгоняя тончайший слой утренней дымки, ставшейся над омутом. С восходом солнца у берегов заиграла, запрыгала, заплескалась разная водяная мелочь — мальки, синьга, паучки-водомеры; запорхали над омутом стрекозы, бабочки; выползали под теплый солнечный луч важные, полосатые, как купчихи в своих халатах, лягушки и, усевшись поудобнее, с удивлением оглядывали местность, на которой за одни лишь сутки изменилось решительно все, главное же — исчезли ужи, эти извечные и страшные лягушечьи враги.

Вишневый омут, насильственно обнаженный, словно стыдился наготы своей, а может быть, и того, что так долго морочил голову людям, дурачил их, выдавая себя за некое чудище кровожадное, то есть не за то, чем был в действительности, — а был он, оказывается, вот, как сейчас, совсем безобидным, простодушным малым, стоило лишь снять с него темную одежду.

В то же утро к омуту прибежали ребятишки и принялись удить рыбу — то были обыкновенные окуни и красноперки, каких немало в Игрице. Сомы и сазаны опустились на самое дно и, затаившись, не показывали днем признаков жизни и только по ночам всплывали наверх, не узнавая привычных им родных берегов.

Возле плотины ребятишки купались, наиболее смелые бесстрашно заплывали на середину омута, зазывая туда сверстников. Вишневый омут упруго носил их и баюкал на своей ласковой спине.

Спустя месяц омут стал совсем ручным, домашним. Мимо него проходил и проезжал без всякой робости малый и старый. Женщины, даже самые богомольные, перестали креститься, а девочки — обходить стороной, и не только днем, но и глухой безлунной ночью. Глядя на него, теперь уже как-то не хотелось верить в страш-

ные легенды, связанные с омутом и передаваемые из поколения в поколение, хотя многие из этих легенд и основывались на действительных, реальных событиях: немалое число преступных, темных и иных страшных дел, историй и событий прятало свои концы в Вишневом омуте. Но вот сейчас уже трудно было поверить во все это. А когда осенью привезли саженцы и от берегов омута побежали веером ровные ряды юных деревьев, закутанных заботливыми руками колхозников в солому и рогожу, Вишневый омут, казалось, окончательно утратил прежний свой вид. С той поры каждое лето он вволю поил своей чистой и вкусной водою молодой, быстро набирающий силы сад и был постоянным пристанищем соловьев и девчат — последние приводили сюда по вечерам своих возлюбленных и целовались под соловьиную музыку до утренней зари, и потом в счастливом страхе разбегались по домам; человек в союзнчестве со всемогущей природой создал для любви и ее вечной неумирающей песни этот земной рай.

— Ну вот и нет больше прежнего Черного омута, — сказал как-то Михаил Аверьянович. — Остался, однако ж, на радость людям и птицам омут Вишневый. Вот таким и должен он быть всегда.

— Он и останется таким, коли люди же его не погубят, — отозвался Илья Спиридонович, назначенный пчеловодом колхоза и вместе с Харламовым-старшим проводивший дни и ночи в саду. Его ульи были расставлены в новом саду вокруг омута, и теперь старик был вроде хозяина всего здешнего края и на правах такового мог судить обо всем категорически. — Одна маета была от старого-то омута: и комарье плодилось на нем, и страхи разные. А теперь благодать — ни тебе комара, ни тебе ведьм. Живи человек в свое удовольствие. Так-то вот!

Михаил Аверьянович, вообще-то и сам любивший порассуждать, был в тот день почему-то внутренне сосредоточен и как бы чем-то встревожен.

— За каждым деревцом нужен глаз да глаз; а ведь нас с тобою, сват, только двое, — заговорил он, присаживаясь на пенек. — Справимся ли? Погибнет сад, что тогда будет? Вчера просил у председателя людей — надо бы молодые яблоньки окопать, полить напоследок, — не дал. У меня, говорит, дела поважнее! И не то меня,

сват, обидело и напугало, что не дал людей, а вот это самое словцо: «поважнее». В нем-то и вся суть. Сад, стало быть, для него — дело второстепенное. Вот где может крыться гибель нашего сада! Так и сказал — «поважнее»... Неразумный он человек. Что может быть важнее сада?! Оно, конечно, без яблоков прожить можно — яблоки не хлеб, но что это будет за жизнь?!

— Это уж так, — поддакнул Илья Спиридонович. Воодушевленный его поддержкой, Михаил Аверьянович продолжал еще горячей:

— Помрут сады, сухота и скука пойдут вокруг. Вот об чем надо подумать. А то ведь оставим нашим детям и внукам да правнукам не землю, а голый шар... Земля нынче принадлежит простым людям — ее работникам. Кому же о ней позаботиться, как не им? Ведь и при коммунизме людям жить на земле, а не в небесах. И о ней, земле нашей, вся наша печаль-забота: не иссушилась чтоб, не была б она яловой, бесплодной то есть, чтобы для людей завсегда был хлеб, завсегда был сад, были луга, моря и реки. Лучше и краше нашей земли, мабуть, ничего нет на свете. И жить нам на ней веки вечные.

20

Около десяти лет прошло с той поры, как Илья Спиридонович Рыжов поселился в колхозному саду у Вишневого омута. Десять лет прожил он в обществе хлопотливого свата и не менее хлопотливых пчел, занятых с утра до позднего вечера своей мудрой работой. Михаил Аверьянович выхаживал молодые деревца, лечил старые, делал прививки, окапывал, поливал; пчелы с удивительной неугомонностью носили нектар — это сладкое и душистое чудо, сотворенное все той же всесильной и всемогущей природой.

Только в особо жаркие дни, в обеденное время, с ближайших полей в сад прибегали на часок-другой отдохнуть и покупаться в омуте и речке разморенные жарой девки и парни. От них пахло полуденным зноем, польню, ржаным колосом, чабрецом, сухой березкой и всеми теми неуловимыми и неистребимыми запахами, которыми так богата хлебородящая степь и без которых жить не может селянин. Парни и девчонки поскорее сбрасывали с себя потные, пропыленные и просоленные

платья, бежали в воду, бултыхались там, ныряли, а Илья Спиридонович присаживался возле беспорядочно разбросанной их одежды, как бы для того, чтоб посторожить, на самом же деле, с тем чтобы хоть немного подышать терпким степным воздухом, принесенным с полей в этих рубахах и кофтах.

После того как парни и девчата выкупаются, Илья Спиридонович старается как можно дольше задержать их в саду. Скупой по природе своей, в этих же случаях он был щедр до чрезвычайности: качал специально для ребят свежий мед, угощал их чаем с малиной, наполнял девчачьи платки и подола лучшими сортами яблок и сам все расспрашивал и расспрашивал о том, как там и что в поле, — начали ли пахать зябь, убрали ли тот клин у Березового пруда, не перестояла ли рожь в Дубовом и у Липнягов, получил ли колхоз новый гусеничный трактор, давно обещанный Баландой. Ребята отвечали со всеми возможными подробностями, но насытить любопытство старика полностью все-таки не могли.

Однажды Илья Спиридонович не выдержал и решительно объявил Михаилу Аверьяновичу, который был тут вроде бригадира:

— Вот что, сват, не знаю, как ты, а я больше не могу так. Одичаем мы с тобой тут. Живем как бирюки. В поле хотя б разок один съездить, на хлеба поглядеть.

Михаил Аверьянович обиделся: ему непонятно было, как это можно жить в саду и одичать.

— Тут у человека душа расцветает, а ты...

— Твоя, можа, и расцветает, потому как ты сызмальства в саду, а моя — на простор зовет, в степя. Хлебوروب я аль кто?

Михаил Аверьянович в конце концов вынужден был уступить. Если сказать по-честному, то он и сам не прочь был подставить лицо степному ветерку.

В поле они выехали на заре, как и тогда, много-много лет назад, когда нужно было примирить детей и не дать развалиться затеянной свадьбе. Все так же в разных концах Савкина Затона слышалась петушиная побудка. Около Кочек собиралось стадо — только теперь оно было вдвое большим, в него влилось стадо колхозное. Все так же звонко хлопали пастушьи бичи. Возвышаясь над стадом темно-бурой горою, стоял бугай — должно быть, потомок Гурьяна. Статью и мастью он

был весь в прародителя, только нравом не столь бун — сейчас какая-то девчонка гладила его бархатную шею и бык сладко, блаженно жмурился.

Настроены сваты были весьма миролюбиво. Михаил Аверьянович рассказывал Илье Спиридоновичу о своем детстве, о том, как жили с покойным отцом на Украине, как пришлось покинуть «риднесеньку Украину» и приехать в здешние, неведомые маленькому Мишаньке края. Михаил Аверьянович говорил тихо, словно бы устирал все вокруг себя ковром незлобивых, мягких, бархатных слов. Илья Спиридонович изредка вставлял короткие, резкие замечания.

Они уже выехали за черту села и стали подыматься в гору, когда увидели ровный ряд разнокалиберных амбаров, реквизированных когда-то у кулаков и перевезенных сюда для артельных нужд. Перпендикулярно им, образуя вместе с амбарами гигантскую букву «Т», стоял длинный сарай — колхозная конюшня. Такие же длинные фермы высились и на месте бывших Малых гумен, частью сгоревших в пору раскулачивания, частью перестроенных на колхозный лад. На самой же горе стояла, немощно растопырив неподвижные дырявые крылья, вся в рваном дощатом рубище, ветряная мельница, удивительно напоминавшая огромное бахчевое чучело. Казалось, что она явилась из каких-то давно минувших времен, взошла на эту гору и застыла недоуменно, растопырив старческие слабые руки. «Что же это за амбары, что это за сараи и что это за трескучие железные существа ползают взад и вперед мимо меня?» — как бы спрашивала она, глядя на колхозные постройки, на автомашины, снующие туда-сюда.

Ветрянку давно уж оставили в покое — муку привозили теперь из Шклова, степного селения, где работала новая паровая мельница. Тем не менее от ветрянки ленивый утренний ветерок нагонял горьковатый запах мучной пылицы, мышинового помета и старого вороньего гнезда. На крыше в неподвижной задумчивости сидел черный, с рыжим подбивом у конца крыл ворон — давнишний житель земли, почти ровесник этого древнего сооружения. Тут, среди уродливых перекрытий бревен, при неуютном жалобном свисте вышних ветров многого лет назад из жемчужного горячего яйца вылупился он. Кто знает, может, тут и помрет, ежели мельница

не порушится раньше или ворон не погибнет в бою с врагами. Ворон, не шелохнувшись, послал вслед проезжающим тревожно-задумчивый гортанный вскрик, и люди, примолкнув, долго еще глядели на него, пока птица не превратилась в черную точку, а затем и вовсе пропала в текучей синей дымке утра.

— Ишь ты, живет! — протирая заслезившиеся от напряжения глаза, вздохнул Илья Спиридонович.

— Птица, а тоже поди разом имеет, — вздохнул и Михаил Аверьянович, готовый продолжить прерванный рассказ. — Вот так, сват, и жил там батька-то мой, Аверьян Харламов. Двадцать пятый год дослуживал царю и отечеству. Севастопольскую прихватил, ранили его там. Полк ихний опосля возле нашего села квартировал, в лагере, в палатках, по-цыгански. Солдаты — москалями их там звали — частенько в село наведывались, батька мой тоже. Ну и полюбись матке моей, тогда восемнадцатилетней дивчине. У ее батька, деда моего, сад был — у полтавчан, почесть, у всех сады. В саду и встречались, кохались. А через годок — вот он тут как тут, ребеночек, я, значит, на свет, никого не спросясь, объявился. В хате переполох! Дед, отец матери моей, от такого позору в петлю полез...

— Полезешь! — буркнул Илья Спиридонович, и телега под ним беспокойно скрипнула.

Михаил Аверьянович перемолчал минуту, зачем-то протер тыльной стороной ладони глаза и негромко закончил:

— И удавился бы, да соседи помешали. Не дали умереть. А тут и Аверьян, батька мой, заявился. «Так и так, — говорит, — не журись, отец, не обижу я твоей дочери. Скоро службе моей выйдет срок. Женюсь я на Настеньке, и будем жить с ней». — «Знаем мы вас, москалей, кацапов! — кричит мой дедусь. — Да и какой ты жених, когда тебе на пятый десяток перевалило? Дочь она тебе, а не жена! Ой, лихо ж нам!» Но дочь все-таки выдал за солдата — куда ж деваться? А жизни настоящей так и не получилось...

— Какая уж там жисть! Коль сойдутся ворона да сорока, не будет прока!

Говоря это, Илья Спиридонович подумал о своем — о несложившейся жизни у его любимой дочери Фроси с Николаем Харламовым.

Михаил же Аверьянович истолковал слова Ильи Спиридоновича иначе.

— Нет, сват, — снова заговорил он, — не то ты говоришь. Жили они душа в душу, да людям добрым это не нравилось. Смеялись в глаза и за глаза, проходу не давали. Батько и мамо в саду только и укрывались от злых слов и очей — сад, он всегда выручит. Полюшка, сестра моя, народилась. Начали свой сад рассаживать, хатку слепили — беленькая такая, нарядная, веселая. Сожгли злыдни хату. А потом и вовсе худое сделали с батькой моим. Подговорил Грицко — был такой в нашем селе мужик, любил когда-то матку мою, — подговорил хлопцев, — глупые, на все готовы, похвалили их только! — подкараулили они его, встретили ночью на улице и побили чуть не до смерти. Цельну неделю лежал, кровью харкал. А когда оклемался, отудобел маленько, забрал нас — и сюда...

Лошадь плелась еле-еле. Михаил Аверьянович не погонял ее, и кобылка явно злоупотребляла его добротой. Бесплодный выгон давно кончился. Теперь дорога шла полем.

Михаил Аверьянович натянул вожжи:

— Тпру, старая. Отдохни.

Лошадь остановилась с очевидным удовольствием и, струною натягивая чересседельник, склонилась длинной мордой к меже, где рос высокий, широколистый степной пырей.

Сваты, не сговариваясь, повернули головы в сторону оставшегося далеко внизу села. Утренний туман рассеялся, очертания Савкина Затона выступили отчетливо. Старики повлажневшими глазами всматривались в село, узнавали и не узнавали Савкин Затон. Церквей уже не было — и оттого сватам немного стало грустно. Правда, на месте православной церкви стояла большая новая школа — ее многочисленные окна светились и как бы издали улыбались кому-то желанному. За каких-нибудь пятнадцать — двадцать лет селение оделось в зеленый наряд садов. Сады тянулись по обоим берегам Игрицы, Грачевой речки и Ерика, по кромке Больших и Малых лугов, кое-где уже зацепились за Конопляник, густым темно-зеленым венком окружали Вишневый омут. Они весело вступили в самое село, зашумели, заиграли листвою чуть ли не возле каждого подворья.

Вишни, яблони, сливы, малина, смородина, крыжовник росли почти у каждого на задах, во дворе, в палисаднике, а на хуторе и Поливановке, в низине, выбегали из тесных палисадников прямо на улицу, табунились там на «ничьей земле». Майскими ночами селение тонуло в птичьем гомоне. Воробьиное чириканье, некогда поглощавшее по утрам едва ли не все остальные звуки, теперь начисто заглушалось соловьиными руладами.

— А все ты, сват! По твоему почину началось, — с несвойственной ему теплотой и даже нежностью промолвил Илья Спиридонович. — Доброе семя кинул ты в нашу затонскую землицу, — и, усмехнувшись в русую, обсекшуюся, короткую бороденку, прибавил: — Вот только с девушками сладу нету. Бывало, как смеркнется, а они — уж вот они, дома, бегут спать. А ноне до третьих кочетов не дождешься. В саду-то и поутру тень, есть где схорониться по молодому делу от чужого глаза. А чужой глаз что алмаз: стекло режет. Так-то!

Михаил Аверьянович молчал. Внешне он ничем не выказывал своего волнения. Только глаза его расширились, и из них лился ровный тихий свет. В глазах этих временами возникали, сменялись отражения то редких облаков, проплывавших над горизонтом, то макушек деревьев, то голубой ленты Игрицы, местами выбегавшей на простор, то бойко катившейся с горы полуторки с полным кузовом зерна. И Илье Спиридоновичу, долго посмотревшему в лицо свата, внезапно подумалось, что целый мир может уместиться в этих умных, спокойно светящихся глазах.

— Поехали, сват, — торопливо подбирая вожжи и как бы чего-то устыдившись, сказал Михаил Аверьянович.

Но они долго еще продолжали любоваться открывшейся перед ними нарядной панорамой большого села.

21

Часто говорят: война подкралась незаметно. Это неправда.

Войну ждали. И даже договор о ненападении никого не успокоил. Гитлеру никто не верил. Люди понимали: договор лишь отсрочка. Войны не миновать.

И война пришла.

В Савкином Затоне она заявила о себе громогласным голосом репродуктора на площади против правления колхоза, а уже через час обежала все двory военкоматскими повестками, к полудню заголосила бабьими голосами.

У Михаила Аверьяновича ушли на фронт все внуки, начиная с самого старшего, Ивана, и кончая самым младшим, Михаилом. Младший сын, Павел, с группой коммунистов ушел добровольцем и в первые же месяцы войны погиб, сражаясь в батальоне политбойцов. Не вынесла черного известия, сразу же зачала и вскоре умерла Олимпиада Григорьевна — бабушка Пиада.

В село пришло удивительное время — пора стариков, женщин и подростков, где женщины были основной силой — новейший и своеобразный матриархат, породивший впоследствии в числе прочего и свой странный гимн, трагикомическую свою песнь:

Вот и кончилась война,
И осталась я одна.
Я и баба и мужик.
Я и лошадь, я и бык.

Во главе артели был поставлен однорукий и запойный Петр Михайлович Харламов. Однако, по существу, не он руководил колхозом. Всем правили бригадирши — Фрося Харламова и ее подруга Наталья Полетаева, тоже пожилые уж женщины, однако еще крепкие и сноровистые. Муж Натальи, Иван Полетаев, не захотел отставать от своего старого друга, Павла Харламова, и тоже добровольцем подался на фронт. Николай Харламов пропал без вести еще до войны. Теперь, оставшись без мужей, уравненные и примиренные общими правами, обязанностями и заботами, Фрося и Наталья вроде бы подобрали друг к дружке, легко перешагнули разделявшую их пропасть. Николай и Иван были теперь бог знает где, и неизвестно, вернутся ли, — так что не могли уж принадлежать ни той, ни другой.

Появилось в Савкином Затоне и полузабытое звание — солдатка. Война без долгой волокиты присвоила его сразу чуть ли не всем женщинам села. Впрочем, многие из них вскорости получили новое звание, совсем страшное — вдова. Звания эти разносила по избам девчонка-почтальон, которая чаще всего не знала, с какой

ношей идет в чужой дом. Догадывалась об этом, когда ее настигал ужасающий вопль, вырвавшийся из того самого дома, откуда она, девчонка, только что вышла. Вопль столь потрясающий, что думалось, сама война выскочила из принесенного почтальоном конверта и заревела диким, нечеловеческим голосом. Потом вдова умолкала, досуха вытирала глаза, загоняла детей на печь и шла в поле — нужно было кормить солдат, всю страну — других кормильцев у них теперь не было...

Сад, казалось, тоже обрел фронттовую суровость. За ним меньше ухаживали — руки стариков требовались в поле, на конюшне, на фермах, и Михаил Аверьянович с Ильей Спиридоновичем все чаще отрывались от яблонь. Зимой они и вовсе не наведывались в сад — не до него. Сейчас и летнею порой зелень сада не была так густа и свежа, как в довоенное время. Листья малость поблекли, и оттого сад побурел, будто бы на него надели солдатскую выцветшую и вылинявшую на солнце гимнастерку. На многих яблонях появились сухие сучья, и их не успевали спиливать.

Однако это был все еще сад, и он по-прежнему приносил хоть и небольшую, минутную, но все-таки отраду людям. Соловьи пели в нем, как всегда, и выводили птенцов по-прежнему; сороки гнездились в излюбленном своем терне, угод не возвестил еще, что «худо тут», коростель по весне скрипел громко и сочно.

Сад жил. По вечерам, как и до войны, сюда приходили девчата — только уж без парней. Вместе с ними — бездетные молодые солдатки, те, что не успели стать матерями. Приводила их сюда бригадирша Фрося Харламова, приводила прямо с полей, усталых, голодных, грязных. Девчата купались, а выкупавшись, пообедав недозрелыми яблоками, начинали петь песни. Да, да, они все еще пели! Пели и протяжные, грустные песни, чаще всего знаменитые саратовские «страдания». И нынче вот завели частушки. Поозоровать ли им захотелось — молодые! — или еще почему, только подбоченилась вон та, очень молоденькая с виду, чернявенькая, подмигнула гармонисту в юбке и запела звонким, с переливами, с подвизгиванием на конце фразы голосом:

Зеленая гимнастерочка —
Военного люблю.

Сама знаю, что не пара, —
Забить его не могу!

Точно оса, тонюсенькая в талии, гибкая, как лозина, вмиг разругавшаяся, пошла, пошла кругом — ах, какой бы парой пришлось она, красавица, солдату!

Девушка вернулась на прежнее место, вскинула голову и, покачиваясь из стороны в сторону, опять запела, лукаво подмигивая подружкам:

У меня миленков пять,
Все красивые — на ять,
Четверых уже отбили,
Пятого норовять.

Девчата смеются, смеется вместе со всеми и певунья, — потому ли смеются, что молоды (большинство в том возрасте, когда покажи палец — брызнут ядреным смехом), потому ли, что слишком уж очевидно вопиющее несоответствие содержания только что пропетой частушки суровой действительности: ни у певуньи, ни у ее подруг не то что пяти, но и одного-то миленка нету, все их миленки там, в окопах.

Черноглазая завершила новый круг и, будто дразня, выводит:

Зеленый виноград.
Соком наливается,
Когда миленький целует,
Губоньки слипаются.

Молодые женщины, знакомые с поцелуем, произвольно облизывают сухие, потрескавшиеся на степном ветру и на солнце губы, — эти не смеются, молчат, грустные, задумчивые.

Черноглазую, однако, не унять:

Ах, гармошка заиграла,
И запела песню я!
Все четыре ухажера
Покосились на меня.

Ее несколько не смущает то обстоятельство, что покосился на нее лишь восьмидесятилетний Илья Спиридонович.

— Ну и ну!.. Сорока! — сказал он не то с одобрением, не то осуждая.

Михаил Аверьянович слушал, положив голову на сложенные руки, а руки — на огромный набалдашник старой своей дубинки.

Фрося сидела молча и тихо улыбалась: для нее это были дочери, славные ее помощницы. И Фрося рада за них: не все же им работать, пусть маленько и повеселятся, подурчатся.

А чернявая все поет — поет яростно, отчаянно, будто спорит с жестокой правдой жизни, не хочет поверить в нее, сердито протестует:

Подружка моя,
У нас миленький один.
Ты ревнуешь, я ревную —
Давай его продадим.

Бедная девочка! Был бы ее миленький рядом, вдруг вернулся бы к ней, чего бы она только не отдала за него! Она поет, а из глаз уже сыплются крупные, как град, слезы. Вытирает их механически, слушая, как другая подхватывает, словно спешит на выручку:

Подружка моя,
Как мы будем продавать?
А не стыдно ли нам будет
На базаре с ним стоять?

Строгие, почти скорбные, они вместе прошли круг и, не меняя выражения лица, запели одновременно еще громче:

Подружка моя,
Продадим задешево,
Своих денежек добавим
И купим хорошего.

Потом они смолкли. Наступила тягостная тишина.

Черноглазая сделала еще одну попытку вспугнуть эту противную тишину, за которой — она знала — последуют слезы. Запела с нарочитой беззаботностью:

У меня миленка два,
Два и полагается:
Если один не проводит,
Другой догадается.

Но едва закончила, кинулась к Фросе, ткнулась головой в ее колени и разрыдалась.

Фрося, глядя ее голову и плечи, говорила ласково:

— Что ты, доченька, голубонька моя, господь с тобой! А еще комсомолка! Придут ваши суженые — никуда не денутся. Еще такую свадьбу сыграем!.. Позовешь чай, на свадьбу-то?

Девушка подняла голову и, все еще всхлипывая, но уже смеясь сияющими глазами, шмыгая носом, часто-часто замигала ресницами, смаргивая слезинки, пробормотала припухшими, мокрыми, плохо слушающимися губами:

— Позову, Фросинья Ильинишна!

Она поцеловала Фросю в губы и ощутила запах и вкус яблок, и ей почему-то стало совсем легко и весело.

— Пойдемте, девчонки, в правление. Там небось уже газеты привезли. Сводку читаем.

Они ушли. А Фрося осталась. Она попросила свекра перевезти ее через Игрицу в бывший свой старый сад. Там она отыскала в темноте медовку и присела возле нее, прислонившись горячей спиной к шершавому стволу, и так просидела, не сомкнув глаз, до рассвета. Всю ночь ее сторожил молодой, недавно народившийся месяц, то и дело заглядывая на нее через тихо покачивающиеся ветви яблонь.

22

Войне, казалось, не будет конца. Каждую весну, как и прежде, Михаил Аверьянович выезжал в сад бороться с ледоходом. Правда, до войны ему часто помогали сыновья, внуки и вообще колхозники. Теперь мужиков в селе не было, а женщин старик не хотел тревожить — надеялся на собственные силы. В эту весну, так же как и много лет тому назад, в памятное ей утро, Фрося снова попросила взять ее с собой, но свекор отказался.

Старик вышел из дому очень рано. Лодка, как и в прежние времена, ожидала его возле Ужиного моста.

Нелегко было преодолеть встречное течение. Чтоб проплыть по быстрине, по основному руслу Игрицы, то есть самым кратчайшим путем, — об этом и думать было нечего: течение сильное, к тому же по реке сплошной массой мчались огромные льдины. Пришлось сначала выбраться на Малые луга, похожие теперь на море, обогнуть терновник, по самую макушку утонувший в воде. Средним переездом достигнуть Вонючей поляны, а через нее лесными дорогами доплыть до старого сада, которому и угрожали льдины, — новый сад был на возвышении и не затоплялся даже при самых больших разливах Игрицы.

На все это путешествие ушло не менее трех часов, хотя Михаил Аверьянович и очень торопился. Одежда на нем взмокла от пота, глаза налились кровью, мышцы ног и рук от перенапряжения дрожали, а шапка давно уж валялась на дне лодки. По пути с затопленных полян подымались стада диких уток, их отражения метались в зеркале чистой, как стеклышко, спокойной воды.

Положив весла, чтоб передохнуть, Михаил Аверьянович задирает голову вверх и следил за утиным семейством, определяя, где оно опять сядет. Утки долго еще кружили над лесом. Михаил Аверьянович не спускал с них глаз. Время от времени он бормотал себе под нос, пряча в светлой бороде улыбку: «В Штаниках спустились, нет, мабудь, в Брыкове», или «В Лебязьем скрылись, а можа, и в Осошном».

Слева, в высоких ветлах, темной стеной заслонявших Савкин Затон от подступившего вплотную лесного массива, громко кричали грачи, суетясь у своих многоэтажных гнездовищ. И Михаил Аверьянович с тоскою подумал о том, что вот скоро сойдет полая вода, грачельник делается доступным для ребятюшек и не раз подвергнется разгрому — нет от них, шкоденят, спасения ни птице, ни малому зверю.

Михаил Аверьянович вдруг подумал, что никто так не любит природы, как старый да малый, никого так не тянет в лес, на луга, в поле, на реку с удочкой, в сад, как детей да стариков. Может быть, потому, что дети острее чувствуют свою близость к только что породившей их природе, чувствуют всем существом своим, что они часть земли, капля ее, ее росинка? Может быть, по-

тому, что они переполнены неукротимой, распирающей их жаждой открытий? Ну, а старики? Какая же сила их влечет к природе? Или уж земля кличет снова к себе: пора... Или под старость человек глубже понимает великое значение живой природы? Или на поле, в лесу, в саду, у реки легче работается его износившимся легким, покойнее дышится и думается о прожитом и пережитом?

Но почему же в таком случае дети бывают одновременно и друзьями природы, и ее разрушителями? Отчего они истребляют птичьи гнезда, уничтожают норы зачастую безобидных зверьков, безжалостно ломают деревья, топчут цветы, срывают недозрелые яблоки? Отчего?

«Вот ты, умный, ученый человек, объясни-ка ты мне все это! — мысленно обрушивался Михаил Аверьянович на знакомого учителя затонской семилетки, любившего похаживать в сад и лакомиться яблоками. — Говорить ты вон какой мастер. И про коммунизм, и про войну, и про второй фронт—про все сказывал. Все-то ты знаешь, про все слышан. А вот почему не учишь детишек, чтоб они берегли каждый кустик, каждое деревце, каждую былинку в лугах, каждое птичье гнездо, каждый цветок на яблоне?»

Михаил Аверьянович вздохнул и взял весло.

В сад он приплыл как раз вовремя. От плотины, где в узком проране, против Вишневого омута, ревели, пенясь и клопоча, вешние воды, вытесненные другими льдинами, обходя сад слева и беря его в полон, двигался целый легион таких же громадин. Одна из них, крутнувшись, отколов от себя метровый кусок, вырвалась вперед, обогнула шалаш и устремилась прямо на медовку, судорожно, как утопающий, простиравшую над водой вздрагивающие сучья.

Михаил Аверьянович успел упереться в льдину багром и оттолкнуть ее. Льдина неохотно подалась, покачнулась и, увлекаемая быстринной, проходящей по центру сада, между двух рядов яблонь, сначала медленно, а потом все скорей и скорей поплыла туда, откуда и пришла, — к плотине; там она наскочила на другую льдину, с разбегу вползла на нее и, обнявшись, точно, перед смертным часом, вместе они с грохотом протиснулись через горловину плотины и, нырнув, исчезли в

черной бурлящей пучине омота. Михаил Аверьянович сообразил, что ему надо закрепить лодку возле медовки, так как главное течение было тут и ледяные полчища пойдут через эту яблоню и близко от нее. И не успел он как следует прикрутить челнок к толстым сучьям, как новая махина вывернулась из-за шалаша, просунулась с шумом между зерновкой и дубом и, разбежавшись, долбанула по борту лодки так, что Михаил Аверьянович едва устоял на ногах. Яблоня, однако, и на этот раз была спасена. Теперь Михаил Аверьянович уже закрепился у дерева поосновательнее и встречал новую льдину во всеоружии. Ежели льдина была слишком большая, он ее придерживал багром и ударами пешни раскалывал на несколько частей — в таком виде льдина была уже безопасной и для остальных деревьев.

Бой продолжался весь вечер и всю ночь, и под утро силы стали покидать старика: дрожали ноги, руки, звенело в ушах, по вискам колотили какие-то молоточки, все тело сделалось дряблым, непослушным, будто избили палками; во рту сухо, несмотря на то, что Михаил Аверьянович часто наклонялся, черпал пригоршней студеною воду и пил, пил... «Что же это ты? — спрашивал он сам себя с укоризной и горько усмехаясь. — Не годится так-то. И сам погибнешь, и погубишь сад, а он нужен — ох, как нужен! — людям. А ну-ка, взбодрись, старина, взбодрись! Та-а-ак!» Мышцы рук и ног и всего уставшего тела вновь напряжинивались, и пешня и багор не были теперь уж такими тяжелыми, звон в ушах затихал, дышалось вольготнее. «Нет, шалишь, разбойница, не пущу!» — кричал Михаил Аверьянович подплывающей льдине и обрушивал на нее пешню.

В короткие минуты передышки, когда очередная льдина, запутавшись в густых вершинах терновника, где-то за шалашом, немного задерживалась, он торопливо вынимал из сумки ржаной хлеб и жадно ел, мысленно грозя надвигающемуся врагу: «Вот погода, зараз подкреплюсь, встречу тебя как следует!» Потом и вправду встречал! Только крошево и брызги летели во все стороны от неосторожно подплывшей и норотившей смять его льдины.

Во вторую ночь ледоход неожиданно приостановился. В кустах терна, вишни и калины тихо журчала вода, где-то близко призывно крикала утка, шлепнулся возле

нее тяжело и звонко селезень. Над темным затопленным садом неслышно пролетела какая-то ночная птица, черкнула по воде быстрой тенью. Из-за леса выглянул месяц, занес над его макушками острый, изогнутый, холодный клинок, бросил меж яблонь, боязливо перешептывавшихся о чем-то голыми вершинами, прямо на убегающую черную воду серебристый коврик. Мимо лодки неслышно проплыло бревно, за ним — стайка белых щепок.

Отдыхая, Михаил Аверьянович задумался. Многое вспомнилось ему в ту весеннюю ночь. Вспомнил он свою молодость, несчастную свою и Улькину любовь, вспомнилась Фрося, просьба взять ее с собой, ее расширившиеся, испуганные, скрывающие что-то и чего-то ждущие глаза. Вспомнил про сыновей и внуков... Мысли эти утомили его, и Михаил Аверьянович не заметил, как заснул.

Проснулся он от страшного скрежета и невыразимой боли в груди. Огромная льдина наскочила на лодку, прижала Михаила Аверьяновича к яблоне, и, задыхаясь, он почувствовал, что погружается в воду. Это чуть было не погубило его, но это же самое и спасло ему жизнь: окунувшись с головой, он высвободил зацепившуюся за него льдину, та царпнула за ствол медовки нижним своим, подводным, острым краем, и, когда Михаил Аверьянович вынырнул и ухватился за первый попавшийся под руку сучок, льдина, медленно поворачиваясь и покачиваясь из стороны в сторону, грузно уплывала по лунной дорожке в направлении Вишневого омота.

Подтянувшись за ветви яблони, Михаил Аверьянович кое-как перевернул лодку, поставил ее на место и выплеснул воду. Вновь утвердившись на дне своего суденышка, он не увидел ни топора, ни багра, ни пешни, ни весла, ни сумки с хлебом — одно потонуло, другое унесло течением. А льдины между тем пошли снова, и одна из них была уже совсем близко. Михаил Аверьянович поднатужился и толкнул ее ногой раньше, чем она коснулась лодки, и льдина скользнула мимо. Это ободрило человека, и он был даже рад тому, что впереди двигалось еще много светло-зеленых глыб — это, по крайней мере, обеспечивало постоянной и спасительной для него работой, потому что согревало промокшее в ледяной воде тело.

Так прошел конец второй ночи, потом прошли еще день и еще ночь, а на третье утро, когда ноги Михаила Аверьяновича уже отказались держать его, а руки, будто двухпудовые гири, тянули книзу и больно ныли, красные, воспаленные веки сами собой закрывались, сердце сдавило обручем, ледоход прекратился. Михаил Аверьянович, бессильно опустившись на дно лодки и еще не веря, что все кончилось, некоторое время ждал нового ледового нашествия, хотя и не совсем понимал, как он мог бы еще продолжать поединок. И лишь к полудню, изловив плывшую мимо длинную палку, он отвязал лодку, и упираясь в дно, стал медленно выгребать на лесную дорогу. Он не помнил, как достиг Узенького Местечка, как причалил к берегу и как пришел домой.

23

Михаил Аверьянович простудился. Он лежал на печи в доме Фроси, которая, хоть и отреклась от мужа, по-прежнему слушалась во всем свекра.

Старик был в жару. Никто из Харламовых не помнил, чтобы он когда-нибудь болел раньше. Существует поверье, согласно которому никогда не болевший человек, однажды захворав, уже не подымется более, непременно умрет. В семье Харламовых об этом знали все, хотя и не подавали виду, что знали. К тому же старик казался несокрушимым, и как-то не верилось, чтобы смерть могла сломить его.

Она и не сломила при первой своей попытке. Могучий организм, как и ожидалось, оказал яростное сопротивление, и смерть отступила.

Никому было невдомек, что смерть отступила временно, для того только, чтобы собраться с силами и, улучшив удобный момент, ринуться на новый штурм...

Едва встав на ноги, Михаил Аверьянович потребовал, чтобы его отвезли в сад.

— В какой тебя, тять? — спросил Петр Михайлович, усадив отца на телегу.

— В старый.

С трудом переставляя слабые, дрожащие ноги, подерживаемый Ильей Спиридоновичем, приплывшим сюда через Игрицу проведать свата, Михаил Аверьянович

переходил от одной яблони к другой, подолгу останавливаясь у каждой. Сейчас он напоминал старого генерала, который был уже немощен телом, которому пора бы уж в отставку, но в нем еще жил воинственный, непобедимый дух бывшего солдата, и генерал продолжает командовать — инспектирует свое войско и устраивает ему частые смотры.

Была пора цветения. Шестидесятую, кажется, уж весну встречает здесь Михаил Аверьянович.

Внешне сад был прежним. Яблони и груши цвели вроде бы так же дружно, как год, и два, и три года тому назад, а садовник почему-то хмурится, он что-то видит неладное, ему что-то не нравится.

Что же?

Свой обход он начал с кубышки — она была его давней слабостью, к тому ж кубышка — дерево самое плодovitое. Это ее сочными и вкусными яблоками девчата и подростки утоляют на поле в самые знойные августовские дни одновременно и жажду и голод. Кубышка, как известно, нежна, капризна и любит полив. Теперь ее никто не поливал: все наличные людские силы артели были заняты в поле, а Илья Спиридонович, довольно-таки одряхлевший старикашка, не мог справиться с двумя большими садами, ему бы в пору спасти пасеку. Кубышка цвела буйно, но в ее цветках не было прежней ядрености и свежести, запах их был не таким плотным, как раньше, и сама яблоня не улыбалась так солнечно, как бывало, гордясь своей силой, а словно бы присмирела, призадумалась; ее жадным корням явно не хватало дополнительной влаги, а ветвям — ласковой человеческой руки, которая бы все время холила их.

Еще горше было глядеть на медовку. Она и прежде часто хворала, а сейчас совсем захирела. Цвела вполсилы. Многие сучки на ней засохли и, мертвые, торчали в разные стороны, как немой упрек позабывшим про них, про больную их мать людям. Цветки на медовке были алы, но то был румянец безнадежно большого, каким бывает он на щеках чахоточного человека.

Анисовки выглядели молодцами, хотя и среди их сучьев можно было заметить несколько сухих, не снятых вовремя веток, напоминающих редкую седину в голове человека, к которому незаметно подкрадывается старость. Другой бы и не увидел их, прошел бы мимо, удов-

летворенный белой кипенью цветков, сквозь которую не скоро разглядишь тонюсенький умерший сучочек, но от глаза Михаила Аверьяновича ничто не могло укрыться: в этом саду ему было ведомо и знакомо все-все, до малейшей царапинки на каждом деревце, на каждой ветке. Он потянулся к ближайшему сухому сучку, осторожно, чтобы не повредить живому, сломал его и долго с хрустом мял в руке. Ноги его совсем ослабли, и он присел на землю. Долго и трудно дышал. Потом оперся о руку свата, приподнялся, и они поковыляли дальше.

Приблизились к грушам. Они цвели хорошо. Правда, что-то неладное стряслось и с ними. В их внешнем обличе не было прежней гвардейской выправки, сучья не так уж плотно прижимались к материнскому стволу, кое-где они оттопырились, обвисли, точно обессилевшие, пораненные руки. Самое неприятное, однако, заключалось в том, что у одной груши высохла, казалось, ни с того ни с сего макушка, когда-то гордо вознесшаяся ввысь и раньше всех встречавшая восход солнца, — значит, она не будет больше расти...

Китайские яблони выглядели еще молодо, лишь несколько веток было сломлено детьми еще по осени, а теперь эти ветки безжизненно висели на тонких жилах коры.

Неприхотливые антоновка и белый налив для неискушенного глаза были прежними, здоровыми, основательными, полными упругой энергии деревьями. Но старик Харламов и тут обнаружил непорядок. Сорвал несколько цветков, долго нюхал их, пробовал на язык, разжевал и под конец, сморщившись, как от внезапной боли, выплюнул.

В соседних садах, образовавших вместе с бывшим харламовским один большой колхозный сад, наблюдалась та же картина.

Только у самого шалаша, куда Михаил Аверьянович и Илья Спиридонович вернулись после своеобразного путешествия, они увидели в полной красе раздобрешую, раздавшуюся в длину и ширину зерновку — этому дикому созданию все было впрок...

— Худо, сват. Погано! Помрут яблони без присмотра. Не могут они жить без человека, — только и сказал Михаил Аверьянович своему необычно молчаливому спутнику.

Потом они вошли в шалаш, присели на плетеную кровать и надолго затихли.

...Знали ли те немецкие артиллеристы, которые страшным, черным утром 22 июня 1941 года наводили жерла орудий на какой-нибудь наш пограничный городок, знали ли они, что их снаряд полетит так далеко и смертельно ранит и вот этот тихий сад?..

Старый садовник был, однако, еще жив. Его сердце стучало, гнало по жилам кровь. Он готов был вступить с свое детище и спасти его — не зря же поднялся он с постели! Михаил Аверьянович ждал того часа, когда в его мускулах почувется прежняя мощь, когда ноги перестанут дрожать, а глаза заволакиваться пеленою.

Он ждал и не знал, что смерть подкрадывалась не только к его саду, но и к нему самому. На этот раз, чтобы действовать наверняка, она обзавелась союзниками...

С фронта одно за другим пришли извещения о гибели внуков Ивана, Егора, а чуть позже и Александра с Алексеем.

Когда старик устоял и перед этим ударом, ему был нанесен еще один, может быть самый страшный.

Как-то под вечер в сад к Михаилу Аверьяновичу пришла Меланья, супруга покойного Карпушки. Она посидела часок, попила чайку с малиной, до которого была большой охотницей, помянула добрым словом вместе с Аверьянычем Карпа Ивановича и, уже собираясь уходить, как бы между прочим обронила:

— Ульяна-то Подифорова преставилась...

Сначала ему показалось, что на его голову обрушили кувалду. Глаза мгновенно налились кровью, тысячи разноцветных точек замелькали перед ними. Потом острой болью полоснуло в левой части груди. Боль эта мгновенно ударила в шею, в плечо, в левую руку, в ногу, потом охватила все тело. Затем она стала быстро утихать, утихать и, наконец, совсем утихла. Наступило блаженнейшее состояние покоя. Но то была черта, за которой, приблизясь вплотную, стояла смерть.

В кустах крыжовника запел соловей — звонко, сочно, с переливами и прихлебом. Но соловей запоздал.

Мертвые песен не слышат...

Сад погибал на глазах у Фроси, и она хотела, но не могла ничем помочь ему.

— Не разорваться же мне на части, — говорила она отцу, когда тот приносил ей очередную невеселую сводку о саде и просил помочь людьми. — Петр Михайлович захворал — можа, и не подыметса больше. Теперь все на моих плечах. Нет у меня ни единой души, тять. Девчат всех забрали в Баланду на ремонт тракторов. Ребятишки сидят по домам — не во что их обуть и одеть. Да и отощали сильно, какие из них работники! А ведь осень, холода наступили...

Зима в тот год была лютой. Свирепые морозы ударили уже в начале ноября. Они застали затонцев врасплох — во дворах не было ни хворостинки. Люди остались без топлива. Избы ослепли. Из-под насупленных соломенных крыш мрачно глядели они на мир бельмоватыми, промерзшими окошками. Ни один солнечный луч не мог проникнуть внутрь жилья сквозь толстый слой льда на стеклах. У озябших детей не хватало мочи дыханием своим проделать крохотные зрачки, чтобы окна хоть чуточку прозрели. Печи стояли холодные и враждебные. От них который уже день не исходило благодатное, спасительное тепло.

И вот к лесу со всех концов Савкина Затона потянулись сани и салазки, в последние были впряжены женщины. Вскоре они вернулись ни с чем: лесники неплохо несли свою службу.

Что же делать? Не замерзать же, в самом деле!

Живая человеческая плоть требовала тепла.

Но где его взять?

Теперь-то трудно установить в точности, какая из солдаток решилаь первой, в чьем дворе раньше всех появилась срубленная яблоня. Только с того дня по всему селу закрикали, застучали топоры. Над огородами, над садами взмыли красные щепки. Из всех труб густо повалил дым. Из голландок и печей прямо на пол живой, горячей кровью потекли струи яблоневого сока, избы наполнились кисло-сладким его запахом.

В один месяц исчезли яблони на приусадебных участках колхозников. Печи быстро пожрали палисадники

и теперь с черными, разверстыми ртами нетерпеливо ждали новых жертв.

И вот лунной январской ночью одиноко и сторожко застучал топор у Вишневого омута. В ту же ночь ему откликнулся другой за Игрицей, в старом колхозном саду.

И лиха беда начало.

Сперва рубили с наступлением сумерек, а потом уж и днем, никого не таясь и не страшась.

Сраженный ужасным зрелищем, Илья Спиридонович не то слег окончательно, не то погрузился в обычную свою трехдневную спячку, чтоб не слышать и не видеть совершавшегося.

Фрося попыталась было остановить истребление колхозных садов, но безуспешно. Она и грозила, и уговаривала, и умоляла — не помогло!

— Жизнь наших детей дороже сада. Там у меня муж и два старших сына полегли, а ты меня за яблоньку страметишь! — отвечала ей ожесточившаяся солдатка.

Фрося подумала, подумала, да и махнула рукой: ведь ежи хорошенко поразмыслить, женщины правы—срубив яблоню, они спасут себя и своих детей, а сад в конце концов можно заложить новый — только бы кончилась эта проклятая война и остались бы живы люди.

Рассудив таким образом, она немного успокоилась.

Но однажды — зима подходила к концу — Фрося собралась посмотреть на старый сад, поглядеть, осталось ли что от него. Еще издали на лесной, хорошо укатанной, начинавшей по-весеннему чернеть дороге она увидела возок с дровами. На дровах сидела женщина, в которой Фрося угадала свою подругу Наталью Полетаеву.

Сблизились. Фрося попросила остановиться. Окинула взглядом возок — и вдруг ахнула, закачалась и упала на снег, будто подстреленная.

На дровнях лежало одно-единственное дерево, которое Фрося различила бы среди тысяч деревьев, потому что это была ее медовка. Из искромсанного неловким, неумелым дровосеком комля красными раздробленными костями торчали обломки древесины и, точно свежая ра-

на, кровоточила. Вершина свешивалась с дровней и влохла по снегу, роняя по пути хрупкие от утреннего заморозка ветви, те самые ветви, на которых совсем еще недавно грелись на солнце сочные и сладкие плоды.

— Наташка!.. Что ты наделала?.. Зачем ты... ее? — прохрипела Фрося. — Это же... это же медовка!..

— Какая уж попалась. Я не выбирала, — ответила Наталья, лицо ее было серым, злым. И, натягивая вожжи, чтобы тронуться дальше, не сказала — крикнула, все так же грубо, с ледяной дрожью в голосе: — Похоронную нынче получила! Нету больше Ивана Митрича... под Будапештом... осколком мины...

Над головой Натальи взвился кнут и со свистом упал на спину лошади.

Лошадь рванула.

Растопыренные, жесткие ветви медовки больно обожгли Фросины щеки.

ЭПИЛОГ

На берегу Вишневого омута, уже вновь наполовину одичавшего, стоят двое: пожилая женщина и военный в гимнастерке без погон и с рукой на белой марлевой повязке. Потом к ним подходит и становится несколько в сторонке курносый, смуглолицый и черноглазый парнишка лет пятнадцати. Он не спускает глаз с военного.

Женщина тихо плачет. Собственно, она не плачет, на ее лице нет скорби — слезы текут по ее щекам сами собой, произвольно, и она, пожалуй, даже не слышит, не замечает их.

Военный — ему под тридцать — негромко говорит, обращаясь, очевидно, и к женщине, и к самому себе, и к курносому пареньку, которого успел заметить:

— Ничего, ничего...

Он замолкает, прислушивается к звукам, пришедшим то ли откуда-то издалека, то ли из собственного сердца, знакомым, хватающим за самую душу звукам:

Близится эра
Светлых годов...

Солдат от волнения часто моргает глазами, поворачивается лицом к незнакомому пареньку.

— Как тебя зовут, хлопец?

— Андрейкой.

— Да ты подойди ближе. Ну вот... Чей же ты?

— Кручинин.

Солдат думает, что-то старается припомнить.

— Чей?

— Кручинина Митрия сын, — говорит парнишка уже смелее. — Я еще в вашем саду, во-он там, за Игрицей, мамка говорила, родился, под черемухой.

— Ах, вон оно как... А батька твой где?

— Под Москвой его... В сорок первом...

— Ну, давай, брат, знакомиться. Я Харламов. Зовут меня Михаилом, как дедушку. Помнишь небось дедушку Харламова?

— А то рази нет!

— Добро. А это моя мама.

— Знаю. Она у нас всю войну бригадиром...

— Очень хорошо, — тихо сказал военный и надолго умолк.

Нынче утром он проснулся в каком-то радостном волнении и тотчас же подумал о том, что его и в самом деле ждет нечто очень важное и хорошее. Он еще не мог припомнить, что именно, но знал наверное, что это важное и хорошее непременно случится с ним. Еще не раскрывая глаз, но уже улыбаясь чему-то, он вдруг вспомнил, что однажды уже испытал такое, вспомнил в точности, где, когда и как это было.

А было это поздней осенью 1942 года, у небольшого хуторка Елхи, на Волге. Сменившись с поста, Михаил прилег на дне глубокого окопа. Чтобы не слышать пулеметной и автоматной болтовни, поглубже нахлобучил каску и, наслаждаясь тишиной, быстро заснул. Вскоре, однако, проснулся и в счастливом удивлении ощутил необычайную легкость на душе. Охваченный предчувствием чего-то нового, но вместе с тем давно ожидаемого, он открыл глаза и увидел склонившегося над ним отделенного командира. Скуластое лицо его расплылось в широчайшей улыбке, сержант что-то говорил, но слов его не было слышно. Михаил догадался стянуть с головы каску.

— Харламов, Харламов! — кричал сержант. — Получен приказ. Через два часа в наступление. Ты слышишь меня?! Харламов?! В наступление!..

Так было тогда, три года тому назад.

Сейчас же Михаил вспомнил, наконец, что войны уже нет, что сам он дома и что стоит ему открыть глаза, как он увидит свою мать. Она давно сидит у изголовья и боится разбудить его, хоть ей и не терпится сделать это. Но она заметила его улыбку и, сияя и светясь вся, легонько затормошила его:

— Вставай, сынок. Вставай, родимый. Пойдем в сад! К Игрице, к Вишневому омуту пойдем. Слышь, сынок?

Он все слышал, но ему хотелось подольше удержать в сердце удивительное, светлое ощущение праздника. Он хорошо знал теперь, что это и было как раз то, чего он ждал все эти страшные четыре года.

КАРЮХА

ПОВЕСТЬ

В доме нашем что-то случилось, словно бы оборвалась какая-то невидимая нить, до того связывавшая большую семью.

Теперь стали обедать не в одну, а в три смены. За длинный, выскобленный кухонным ножом стол, за которым прежде помещались семнадцать человек, сейчас сначала садились дед Михаил, бабушка Олимпиада, младший их сын Павел и молодая его жена Феня. Остальная чертова дюжина ждала своей очереди. Поскольку первая партия не торопилась, ждать приходилось очень долго, особенно нам, последней смене. Нельзя сказать, чтобы все мы, ожидающие, проявляли одинаковое терпение. Взрослые, те — да. С видимым спокойствием занимались своим делом. Мать моя, например, уходила во двор, где всегда отыскивалось для нее занятие. Отец перед засиженным мухами зеркалом подстригал свои рыжие усы, другого часа у него будто и не было. Сестра Настенька и старшие мои братья Санька и Ленька, чтобы не искушать судьбу, удалялись в переднюю и, коротая время, играли в щелчки, увлекались при этом настолько, что к столу выходили с красными лбами, а то и шишками, весьма рельефно проступавшими на этих самых лбах.

Лишь мне, младшему в семье, было непонятно происходящее.

Каждый день я норовил угнездиться справа от дедушки, на привычном и любимом мною месте, однако всякий раз ласковая столько же, сколько и решительная дедова рука снимала меня с лавки на пол. Не думаю,

чтобы сидящие за столом чувствовали себя хорошо, когда на них в течение часа, а то и больше смотрели мои расширившиеся в голодном недоумении глаза, невольно сопровождавшие ложку ото рта к блюду и в направлении обратном. Мне и в голову не приходило, что совершаю над взрослыми страшную психологическую пытку. Но это было именно так. Первой не выдерживала тетка Феня — оставляла стол, не дождавшись второго блюда. За ней тихо снималась бабушка — шаркала потом за слонкой у печи. До конца исполнял трапезу лишь дядя Пашка, да и тот все время натужно кашлял, вроде бы давился.

Я ж не покидал своего поста. Откуда мне было знать, что кусок хлеба, мяса ли, схваченный моим цепким взглядом, застревал у них в горле? Я хотел есть, и больше ничего. Хорошо, что еще не реву, а стою молча и только изредка хлюпаю носом да издаю судорожные, прерывистые вздохи. А мог бы и зареветь — не раз находился на грани этого. Иногда вернувшись со двора мать подхватывала меня на руки, давала легкий подзатыльник и уносила в горницу — от греха подальше. Там я включался в игру и на время забывал о голоде.

Вторая очередь принадлежала дяде Петрухе, тетке Дарье и их детям — Ивану, Егору, Любаньке, Маше, Мишке, Фене и еще кому-то (всех имен теперь уж не помню; кажется, у тетки Дарьи был еще грудной: в передней, под потолком на ввинченных кольцах, всегда висели две зыбки, и в них обязательно пищало по ребенку). Вторая смена, самая большая по числу, и обедала дольше всех. Никто ей не мешал. Даже я, потому как рассчитывать там было решительно не на что.

Когда солнце клонилось к полудню, место за столом освобождалось для нас. Шумно усаживались, посреди стола ставилось огромное блюдо со щами, оно курилось оглушительно вкусно пахнущим парком. Все принимались дружно хлебать. Оживление за столом возрастало по мере приближения к ответственнейшему моменту: щи почти выхлебаны, на дне оставалось одно мясо, и вот вот прозвучит команда: «Берите!» Раньше — для всех — ее подавал дед, теперь, в третью смену, — мой отец. Ждешь, бывало, этой команды, а рука дрожит, ложка в ней выстукивает об стол барабанную дробь: малейшее промедление может дорого обойтись твоему желудку —

лучший кусок мяса проскользнет мимо твоего рта. Потому-то некоторые из нас старались упредить событие. Обычно это делал средний мой брат, Ленька. Он ухитрялся подцепить кусок за долю секунды до общей команды. Само собой разумеется, что предприятие это было связано с известным риском. Нередко отцовская рука, вооруженная большой деревянной ложкой, награждала нарушителя порядка звончайшим ударом по лбу. Ленька вздрагивал при этом, морщился от боли, но кусок мяса, добытый такой дорогой ценой, все-таки успевал отправиться в рот. Когда стол был общим, Ленька проделывал свои опыты почти безнаказанно: среди семнадцати ложек, одновременно устремившихся к блюду, нелегко определить злонамеренную. Теперь все осложнилось. И причиной тому раздел.

О нем начали поговаривать давно. Но не очень серьезно. Поговорят и забудут. А позапрошлой зимой разговоры эти стали сопровождаться делами практическими. Бозле сада были срублены ветлы. Прошлой весной в отдаленных концах села выросли два сруба — теперь стояли почти готовые избы для нашей семьи и для дяди-Петрухиной. Все, стало быть, решено. Жили по-прежнему под одной крышей, но тремя разными семьями. Готовили еду в одной печке, а еда была разной. В малой, дяди-Пашкиной семье, погуще, в нашей — пожиже, в дяди-Петрухиной еще жиже. Еда как бы разбавлялась по числу ртов.

А в канун того дня, о котором будет рассказано подробнее, главы трех вновь возникших «социальных образований» под наблюдением деда Михаила бросили жребий. Дед из спичечного коробка вырезал три равные прямоугольные бирки. На одной из них написал слово «Буланка», на другой — «Карюха», на третьей — «Ласточка». Бросил бирки в шапку и позвал сыновей. Те ждали в передней, небритые, с помятыми от бессонной ночи лицами и странно чужие друг другу. У моего отца почему-то дергался левый ус, он пытался прикусить его и не мог. Дядя Петруха отчаянно качал зыбку, хотя ребенок не плакал. Только Павел старался казаться беспечным, подтрунивал над моим отцом, уверяя, что тот обязательно вытащит из дедовой шапки Карюху. Отец мой посылал его к черту, обещался даже угостить оплеухой, и притом вполне серьезно. Когда дед позвал, все

в один миг преобразились, стали небывало серьезными. Бледные, подошли к шапке.

— Ну, начинайте.

Никто не хотел рисковать первым. Сделал было шаг вперед мой отец, но как раз в эту минуту во дворе заржала Карюха. Почтя голос ее за недобрый знак, отец отпрянул. Менее всего он хотел, чтобы ему досталась Карюха. С точки зрения ее хозяев, кобылка эта обладала всеми мыслимыми и немыслимыми лошадиными пороками. Посудите сами: во-первых, она стара; во-вторых, ленива; в-третьих, коварна и зла: может подкрасться к тебе сзади и укусить ни за что ни про что; в-четвертых, лягуча: поддаст задними копытами так, что костей не соберешь; в-пятых, неуживчива: выведешь в ночное — не будет пастись с другими лошадьми, обязательно ее унесет черт знает куда (надобно удивляться, как ей удастся ускользнуть от волчьих зубов — хитрость вырывает Карюху, что ли?).

На покрытие всех этих перечисленных и неперечисленных отрицательных ее качеств Карюха могла предложить немногие достоинства, правда, весьма существенные. Неприхотливая к кормам, она держалась всегда в теле; в работе хоть и не спора, но очень вынослива. И что уж совсем хорошо — Карюха жеребилась каждый год и неизменно приносила маток.

Умей кобылка объясняться с людьми на их человеческом языке, она, вероятно, указала бы им на то обстоятельство, что все добрые ее приметы берут свое начало — прямо по диалектике — в ее же недостатках. Не будь она, скажем, ленивой, а рвись из оглобель при малейшем понукании нетерпеливого седока, надорвалась бы прежде времени, не удержалась в теле и не сохранила бы завидной выносливости. Когда во дворе много еще другой скотины, попробуй-ка быть доброй, не кусочей и не лягучей — останешься голодной, а тебя в любой момент могут запрячь в телегу или сани. По этой же причине и неуживчива. Потерявши в теле, не потребуешь жениха и не будешь жеребиться всякое лето...

И все-таки никто из трех братьев при дележе не хотел бы стать обладателем Карюхи. Лучшее уж Буланка. Карюха и Буланка — это те самые две беды, из коих наименьшей была все-таки Буланка: она моложе Карюхи на целых пять лет, более того, Карюха была ее матерью.

Все мечтали, конечно, о полуторагодовой Ласточке, которая вот-вот должна была познакомиться со сбруей.

— Ну начинайте же! — Дед уже сердился.

— А, семь бед... — С этими словами отец мой нерешительно погрузил руку в шапку, долго шарил там дрожащими, вспотевшими пальцами, но, как назло, бирки были одинакового размера.

Мы, дети, сидевшие на печи и следившие оттуда за происходящим испуганно любопытствующими глазами, тоже были охвачены дрожью.

Отец почему-то знал, что вытащит Карюху. И все-таки глянул на бирку косо, искрошил в мельчайшие щепочки, бросил в угол, коротко застонал, как от внезапного, коварного и незаслуженного удара, и выбежал на улицу. Мать заплакала негромко, мы сильнее зашмыгали носами, старший наш брат, Санька, тоже заревел: Карюха кусала его чаще, чем других.

Буланка досталась дяде Петрухе, а Ласточка — беспечному и потому, видать, везучему дяде Павлу. Такой исход жребия, скорее, справедлив: дед и бабушка оставались в семье младшего сына. Однако с этого часу стало особенно ясно, что жить под отцовской крышей трем братьям с их женами и детьми будет уже невозможно.

Вечером того же дня Карюха, Буланка и Ласточка были отведены в разные углы двора. Каждая теперь ела свой корм.

Утром в последний раз выехали все вместе на гумно — обмолотить поздние яровые, до которых прежде не доходили руки. Ток успел покрыться шелковистой, нежной зеленью — проросли зерна ржи, спрятавшиеся по трещинам хорошо утрамбованной цепами земли. Редкие куры, отважившиеся на дальнейшее путешествие, копошились у подножия просяной копны, которую предстояло обмолотить. Лакомился тут и чей-то теленок, но жестоко поплатился за это. В двадцати шагах от гумна валялась его пестрая шкура с хвостом да красные ребра. Несколько в стороне лежала голова с единственным глазом. Другого глаза не было: выклевала ворона. Она и теперь еще сидит на коротком роге, отдыхает перед тем, как приняться за второй глаз. Отец запустил в нее сломанным цепником. Ворона нехотя снялась и села на верхине одинокой ветлы, выросшей на краю могилки. И тотчас оттуда послышалось ее карканье. Отец подо-

брал цепник, вручил его моему брату Ленке и велел отогнать ворону, что тот и сделал с удовольствием. Взрослые принялись за копну. Растерзанная в несколько минут, она теперь лежала большим кругом на вновь расчищенном току.

Карюха и Буланка впряжены в каменный каток. Ласточка паслась на лугах, примыкавших к гумнам, щипала там отаву. Изредка она взглядывала на телячьи останки и всхрапывала. Карюха вскидывала тяжелую голову, глядела на младшую дочь и тихо ржала, как бы предупреждая, чтоб Ласточка далеко не уходила от гумна. Занятая ли своими беспокойными мыслями или подчиняясь обычной преднамеренной лени, Карюха все время отставала от Буланки, валеков у ее постромков на добрую четверть находился позади валька старательной напарницы. Погонщиком был мой отец. В другое время его кнут вволюшку погулял бы по упитанному Карюхиному крупу, а теперь он только помахивал им да посвистывал, на что Карюха не обращала ни малейшего внимания.

Дядя Петруха стоял на кромке круга и отчаянно ругался:

— Какого... ты ее жалеешь?! Видишь, моя Буланка уже в мыле! Секи!

Отец размахнулся и потянул кнутом обеих разом.

Дядя Петруха ворвался в центр круга, выхватил у брата вожжи, кнут и принялся сечь Карюху. Та поняла, что дела ее плохи; постромки натянулись, вальки выровнялись.

Отец, злой и колючий, матерясь (на это он был большой мастер), поплелся в ригу. Свернул там козью ножку размеров неправдоподобно великих и затягивался так, что искры сыпались в разные стороны. Я сидел рядом и следил, чтобы ни одна не упала на сухую солому.

Молотили до позднего вечера, но так и не управились. Впрочем, обмолотить-то обмолотили, а провеять, сгрести, а затем поделить на три разных — по числу душ — вороха не успели.

По совету бабушки решено было ночевать на гумне, в риге, чтобы с рассветом, не теряя ни минуты, заняться просом и к полудню покончить со всем остальным: разделить солому, сено, мякину ржаную, овсяную, ячменную и просыаную, отвести каждому дому в большой риге свой

угол, свои границы с тем, чтобы потом никто уж не нарушал их.

Женщины сходили в село, и каждая принесла по узлу. Три узла. Возле них образовались три кучки людей. Самая большая — дяди-Петрухина, поменьше — наша и еще меньше — дяди-Пашкина, все так же, как вчера за столом.

Едва расселись, наша группа получила солидное пополнение — не по числу, а по активности благоприобретенного едока. Заглянул «на огонек» (огонька никто не зажигал) дядя Максим, женатый на старшей сестре моей матери, ее свояк, значит, и сейчас же, подсев к маминному узлу, предложил свои услуги. Мужик крупный, добрый, он мог не есть неделю, но коли сел за стол, не подыметя из-за него до тех пор, покуда не подметет всего, покуда из печки тетка Орина, его жена, не вытащит ухватом последнего чугуна.

Я успел заметить, что мать моя не шибко возрадовалась, завидя свояка, но деваться было некуда, узел развязан, и дядя Максим занял свое место. С его энергичной помощью содержимое узла исчезло мгновенно. Вздохнув украдкой, мать стряхнула с платка хлебные крошки себе в ладонь и высыпала их в мой широко раскрытый в готовности рот.

Стемнело. Только красными, мерцающими точками светились сигарки в руках моего отца и дяди Максима. Родной брат знаменитого на селе охотника Сергея Андреевича Звонарева, дядя Максим и сам был неплохой охотник. На гумна он завернул из леса, где выбирал поляну для стрелков: на завтра определена облава, дядя Максим и его брат должны были руководить всей операцией. Мой отец также получал номер, и вот теперь они договаривались о деталях.

Я сидел, прижавшись поплотнее к отцу, и слушал, а под рубаху мою вползал холодок счастливого страха перед грядущим днем: я знал, что в числе других ребяташек буду участвовать (первый раз в жизни!) в загоне волков на охотничью засаду.

В других углах риги устраивались на ночлег семьи дяди Петрухи и дяди Павла. Оттуда слышался стихающий разговор женщин, глуховатое покашливание деда. Привязанные к риге лошади хрумкали сеном. Их должны были сторожить по очереди Иван, Егорка и Санька.

Первым караулил Иван. Подбадривая себя, он напевал какую-то песенку. Близость зарезанного волками теленка что-то не прибавляла бодрости духа. Глаза Ванюшкины невольно косились в ту сторону, и временами им как бы виделись зеленые, перебегающие с места на место огоньки.

Между тем волки были уж где-то совсем близко. Скоро до нашего слуха донесся вой — протяжный, стнящий, противно леденящий душу, гнусавый, переходящий от «ууу» на длинное, поднимающееся вверх окончание «а-а-а-а».

— У дальнего переезда, — сказал дядя Максим осипшим голосом.

— А не ближе ли? Не у Круглого ли куста? — сказал отец.

В риге все ожидающе примолкли.

У ворот на привязи всхрипнула Карюха.

— А хотите, я их подманю ближе?

Не ожидая согласия, дядя Максим поднялся и вышел из риги. Он присел с глухой ее стороны, обращенной к лугам и лесу, сложил руки в пригоршню, поднес к лицу, большими пальцами прижал переносицу и произвел звук, от которого у находившихся в риге мурашки побежали по коже, а лошади поднялись на дыбки. После того с минуту держалась тишина, до того непрочная, что, продлись она еще хоть секунду, кто-то разорвал бы ее истеричным воплем.

Отозвался, однако, волк. То был, очевидно, вожак стаи, потому как голос его был басовит, хрипл и старчески прерывист. Подождав малость, дядя Максим провыл по-волчьи еще раз. Лошади у риги пританцовывали, красные их ноздри раздувались в храпе, держать их Ванюшке помогал дядя Павел, который для храбрости похохатывал, стращал, покрикивал в сторону затаившихся женщин: «Берегитесь, бабы! Бирюки за вас первых возьмутся! У баб мясо вкуснее!» Дядя Максим вошел в привычный и знакомый, горячащий кровь азарт, имя которому «Будь что будет!» Бабы голоса, дружно раздавшиеся в риге, лишь подхлестнули его. На совсем уж близкий вой теперь он откликнулся сам. Едва угас звук его голоса, на лугах, почти у самой ветлы, замерцали, заматались зеленые точки — стая приблизилась к гумнам. Ее вожак завыл еще раз.

Тот, кто затеял эту рискованную игру, покинул свое место и с криком «волки!» помчался в ригу. Бросив лошадей, за ним кинулись туда же дядя Пашка и Ванюшка. Я ухватился за шею отца. Санька и Ленька с кошачьей быстротой и ловкостью забрались по стропилам под самый конек крыши и затаились, пришипившись там. Тетка Дарья, тетка Феня и моя мать, а также Настенька, Любаша и Маша, сгрудившись в одну испуганную кучку, сидели ни живы ни мертвы. Лишь дед Михаил, поминая не самыми лестными словами непрошеного зайчика, действовал спокойно и расчетливо. Перво-наперво он отвязал лошадей и ввел их в ригу, ворота запер изнутри на засов, которым служил длинный и толстый бороний зуб, приготовил на последний случай несколько вил.

Дядя Максим, до крайности сконфуженный, вскарабкался на переруб, нашел в крыше отверстие и пытался определить намерение волков. Но их уже не было. Зеленые огоньки изредка вспыхивали на большом удалении — волки уходили к Дальнему переезду, в лес.

— Ушли! — возвестил со своего наблюдательного пункта дядя Максим, чувствуя, что не сможет спуститься вниз. У великого шутника на время отнялись ноги и руки, обмякли как-то, будто из них повыдергивали кости.

— Слазь, Андреич, мне с тобой покалякать надоть, — покликал его дед, но дядя Максим не отозвался. Он покинул переруб только тогда, когда страх у людей прошел и сменился обычным в подобных обстоятельствах бурным весельем.

Недавно еще перепуганные насмерть, никого не видевшие и ничего не испытывавшие, кроме этого страха, люди эти теперь хохотали, подтрунивали друг над другом, старались во всех подробностях воспроизвести, кто как вел себя в момент приближающейся опасности. Постепенно вырисовывалась не столько драматическая, сколько комическая картина. Дядя Петруха уверял, что подманивший волков Максим Андреевич, вскарабкавшись на переруб, напустил в штаны и оросил малость оказавшегося как раз под ним моего отца; тетка Феня, якобы собравшись над головой все свои юбки, ткнулась в мякину, предоставив волкам лишь заднюю, открытую часть своего тела; бабушка Пиада громко зывала к святому Егорию, чтобы тот употребил положен-

ную ему власть над волками и отвратил беду от многочисленных ее чад; дядя Пашка с невероятным проворством продырявил в соломе нору и вылез оттуда, когда все уже давно успокоились. Он и вправду оглушительно чихал от набившейся в ноздри полъвы.

Когда все отсмеялись и оправались от нервного шока, дед весьма памятно пообещал:

— Ну вот что, Максим Андреич, коли еще так пошутишь, отмолочу, и крепенько. Понял? Ну и хорошо. Ну и добро. — Помолчав, попыхтел, успокаиваясь, scomандовал напоследок: — А теперь спать. На зорьке за работу.

Лошадей приказано опять вывести из риги. Увели Буланку. Карюха заартачилась, ни за что не хотела выходить на улицу. Дядя Петруха сек ее чересседельником, жесткой метлой, но Карюха заупрямилась — и ни с места. Зло прижала уши, тарасила огненный в темноте глаз на своего обидчика. Кто-то догадался, что надо сначала спровадить Ласточку, тогда Карюха сама выйдет. Она и вышла, но не вдруг: сперва пыталась загородить дорогу Ласточке, даже кусала ее, отгоняя от раскрытых ворот поглубже в ригу. И лишь когда ей не удалось это, обиженная, с тяжким, утробным вздохом вышла вслед за дочерью.

В риге спали. Подремывали за ее воротами и лошади. Все, кроме Карюхи. Только одна она и слышала, как время от времени где-то далеко в лесу, должно быть, у Кабельного болота, дважды провыла волчица, скликающая рыскавшую по окрестным селениям стаю. Карюха прижималась большим своим теплым телом к дочери. Она вроде бы знала, что, случись беда, только она одна и сможет защитить Ласточку.

Никто не слышал в ночи беспокойных вздохов старой Карюхи.

2

Охотники собирались пополудни на Малых лугах, сразу за селом. Туда по всем улицам и проулкам хлынула ребятня, вооружившаяся кнутами, трещотками, пионерскими барабанами, старыми ведрами, сторожевыми колотушками и прочими штуками, способными при ударе о них издавать громкий и по возможности раз-

дражающий звук. В моих руках была трещотка: вчера еще она имитировала пулемет. Мальчишеское ополчение инструктировал Сергей Андреевич Звонарев, старший брат дяди Максима. От возбуждения, а может, и от принятой вовнутрь чарки лицо его было красным, ни в какие века не чесанные волосы отдельными прядями прилипли ко лбу, даже седая борода его была мокрой, светлыми струями стекала на обнаженную, тоже волосатую грудь, глаза из-под бровей вспыхивали огнем, и невольно думалось, что не очень хорошо должен был бы чувствовать себя волк, встретившись один на один с этим человеком...

Всем нам, ребятишкам, было указано место, откуда начинать гон и в каком направлении вести его. Охотников еще прежде распределили по номерам. Первый номер должен был стоять у Дальнего Переезда, на опушке леса, а остальные — всего их двадцать — вправо от него, у кромки лугов, ломаной линией, вплоть до Салтыковской горы.

Отцу достался пятый номер — на месте наиболее вероятного появления волков. Отец считался неплохим стрелком. Любую птицу он бил только влет, а зверя — на бегу. Стрелять сидячую дичь считалось недопустимым: то было вопиющим нарушением охотничьей этики.

Нас построили за лесом, вытянули в длинную цепочку вдоль речки Баланды. По сигналу — а им был звонкий хлопок пастушьего бича — двинулись вперед, в густые заросли леса. Теперь мы хорошо знали, что нам надобно было делать. Перво-наперво заорали истошными, не своими голосами, единственно способными подавить в мальчишеских наших душах естественный страх, потом затрещали, застучали, загрохали во что попало. Тихий, в самом деле задумчивый какой-то лес встрепнулся, зашумел беспокойно; воронье и сороки взметнулись высоко над вершинами деревьев и усугубили общую суматоху; присоединившиеся к нам наши дворняги подняли неистовый, с подвизгиванием лай и дорисовали картину внезапно пришедшего лесного ада. От этой орущей, улюлюкающей, свистящей, лающей и грохочущей дьявольскими своими инструментами орды все живое должно было в ужасе бежать куда глаза глядят.

Разгоряченный и оглушенный собственным криком,

как солдат, идущий в атаку, я мчался, не глядя под ноги, и, конечно же, то и дело падал, вскакивал и снова бежал и не замечал, что по лицу моему давно катились не только струи пота, но и крови; гибкие ветви деревьев хлестали так и сяк по щекам и губам, но я не чувствовал боли. Не слышал и того, что где-то далеко впереди, у лугов, начали раздаваться редкие поначалу, а потом все учащающиеся, разрозненные ружейные выстрелы. А по лесу неслось: «Ууу-ааа-ооо», «Улю-лю-лю-у! Ту-ту-ту!», «А-й-й-й-й!» В какой-то миг я глянул вправо, влево, вперед, назад, но никого поблизости не увидел: сверстники мои были проглочены лесом, и тут-то я впервые настоящему струхнул, закричал что было моченьки, и крик этот едва ли был воинственным.

Потом раздался близкий выстрел, сквозь редкие деревья увиделся даже дымок. Потерявший было всякое соображение от охватившего меня ужаса, я тем не менее догадался упасть, иначе повстречался бы с зарядом, предназначенным вовсе не для меня. Пока лежал, прогремело еще несколько выстрелов, затем еще и еще. Потом все стихло. Я вскочил на ноги и вышел на опушку леса, метрах в двухстах левее Дальнего Переезда. Тут сгрудились мальчишки, расталкивали друг друга, протискиваясь вперед. Охотники сидели в стороне, закуривали, жестикулируя, обменивались впечатлениями от только что пережитого.

Я понял, что мне надо непременно пробуровать ребятишью кучку, ибо самое интересное находилось, несомненно, там. Малый для моих даже небольших лет рост оказался в такой ситуации самым подходящим — я нырнул меж чьих-то раскоряченных ног и чуть было не ткнулся носом в ощеренную в смертный миг волчью морду, с которой все еще капля за каплей стекала кровь. Рядом с этим я увидел еще убитых зверей и был несколько разочарован. Волки небольшие и совсем не страшные; было даже как-то странно и непонятно, что ими страшат нас, ребятишек, и что именно эти существа приносят столько бед крестьянским дворам. Морды были ласковые, как у домашних собак, и я не преминул погладить их — отпрянул лишь тогда, когда какой-то детинушка рыкнул по-волчьи над моей головой. Потом я отошел к охотникам — послушать их.

— Одни перетоки да ярчонки,—огорченно ворчал дядя

Максим. — А где ж матерые? Неужто мы их пропустили?

Тут только я заметил, что среди охотников нет моего отца.

— Дядь Сережа, дядь Максим, а где мой папанька?

— А в самом-то деле?.. А?.. Где Миколай-то? Не ровен час...

Охотники встревоженно переглянулись, поднялись на ноги.

С отцом моим ничего не случилось, если не считать того, что он не убил волка и по этой-то причине не торопился на сборный пункт. Чтобы не быть осмеянным товарищами, он решил малость переждать, а потом уж вернуться домой, никем не замеченным. На душе, однако, было муторно. Руки и сейчас еще знобко вздрагивали, да и во всем теле была эта противная дрожь.

На отца выходил не один волк, а целая стая во главе с матерым — не та ли, что накануне посещала наше гумно, приманенная дядей Максимом? Сперва охотник увидел полугодовалого волчонка, потом еще сразу четверых и растерялся, не зная, в какого из них стрелять. И когда бы ему поднять уже ружье и выстрелить, он увидел того, вожака. Всего в десяти шагах. Лобастый, короткоухий, поджарый, с желтовато-белой подпалиной меж задних ног, грудастый, повернувшись всем своим литым, упругим телом в сторону охотника, волк вроде бы задумался на миг, холодноватые глаза его недобро пощупали человека, оскаленная морда твякнула, давая команду стае. И опять охотник упустил решительный миг. Стая рассеялась. Матерый сделал гигантский скачок, серой тенью мигнул в лесных зарослях и тут же сгинул. Отец выстрелил в сторону удаляющегося треска, но знал, что пальнул впустую. И сейчас же в сердце его настойчиво и остро толкнулась непонятная пока что тревога, не та, что приходит с неудачей на охоте, — та не оставляет саднящей раны, — а та, что посещает нас задолго до рокового часу: вестница беды всегда постарается прийти к нам пораньше.

Отец пытался закурить, но пальцы не слушались, они сделались чужими. Невеселые думы, сменяя одна другую, надолго завладели его головой. Вспомнился почему-то недавний дележ, вспомнилась доставшаяся ему по жребии Карюха, особенно больно и живо представился

момент, когда старший брат вырвал у него вожжи, кнут и стал хлестать Карюху, а свою Буланку не трогал, — отец и теперь еще не мог понять, как удержался тогда и не дал брату в ухо; должно быть, близость деда, которого боялись все, остановила его.

Через неделю семья его переедет в свой дом. Как-то сложится жизнь? Долго ли протянет Карюха? Ожерется ли она хотя бы еще один раз, чтобы оставить за себя наследницу, пускай такую же ленивую, но только бы выносливую, только бы работающую? Никто не видал, чтобы Карюха принимала жениха. Похоже, что холостая.

Отец поднялся на слабые — вот такие они были у него после тифа — ноги, перекинул ружье за плечо и поплелся в сторону села. От Дальнего Переезда ему видно было, как остальные охотники, окруженные толпой мальчишек, уже приближались к самому селу.

Из села им навстречу катился все нарастающий трусливый собачий лай.

3

Итак, мы живем на новом подворье: отец, мать, Настенька, Санька, Ленька, я и Карюха. Перечисление членов семьи я мог бы начать с Карюхи, и это было бы только справедливо. Отныне все благополучие, равно как и неблагополучие наше, так или иначе связано с Карюхой, на которую возложено множество разнообразных и важных обязанностей. Поскольку сейчас была зима, от Карюхи зависело, будет ли в избе тепло. На Карюхе привозили дрова из лесу, запрягали ее для такой цели только ночью, когда меньше вероятности на нежелательную встречу с лесником. А прежде того на ней ездили на гумно за кормами — для нее самой и другого скота, который был, в сущности, тоже на Карюхином иждивении. Да и днем ей редко удавалось выйти из оглобелей: то у кого-нибудь затевалась помочь и отец шел туда вместе с лошадьёю, то надо было ехать в соседнее село Чаадаевку купить в лавке керосину и немного кренделей к рождеству (мальчишки придут славить Христа, и им что-то же нужно сунуть в руку), раз в неделю отец отправлялся в райцентр Баланду, а туда не ближний свет — целых шестнадцать верст по очень плохой, с бес-

конечными раскатами дороге, сани шарахаются то вправо, то влево, оглобли при этом больно бьют по ногам, так что потом Карюха дня два хворала. Отец не замечал ее хвори, вновь запрягал и ехал к Панциревке на мельницу. Смолов рожь, пшеницу ли, не возвращался домой, а заходил к своему приятелю-мельнику пропустить по одной. Получалось у них не по одной, и батя наш забывал про все на свете, в том числе и про Карюху. По прежним опытам лошадь знала, что будет именно так, и запасалась терпением. Зайдя с подветренной стороны к мельниковой избе, она опускала тяжелую свою морду на завалинку и, расслабив уставшие члены, подремывала так и час, и другой, и третий, и шестой — до тех пор, пока подгулявший не выйдет на слабых ногах из дому и не рухнет на мешки таким же тяжелым и неуклюжим мешком.

— Н... ну, Карюха, пшла! — скомандует он, если еще сохранит для того силы.

Команда эта была необязательной для Карюхи, она и без нее знала, что ей делать. Не спеша и осторожно, верная своей привычке не торопиться ни при каких обстоятельствах, пятилась, толкая сани чутко назад, чтобы не вынести окно оглоблей, разворачивалась и выходила на дорогу. Отец немедленно засыпал. Карюха, приближаясь, сама открывала наши ворота, вывозила сани с мешками на середину двора и начинала звать нас, то есть негромко ржать. Мать и старшие братья выскакивали во двор, сначала вносили отца в избу, а потом уже мешки с мукой. Карюха была довольна: пока хозяин не протрезвится, ее никто не запряжет до самого утра, и она может наконец отдохнуть и пожевать сенца, а может, даже и овсеца похрумкает, что было бы совсем хорошо.

Во время половодья почти все поездки прекращались. Карюху начинали усиленно кормить. Она знала почему. Подходила госевная. Тогда Карюху запрягали и в плуг, и в соху, и в борону. И так от зари до зари, с рассвета до темной ночи. Карюха была не жереба. Об этом теперь знали все, и кнут чаще опускался на ее спину. Карюха могла бы пожалеть, что вовремя не нашла себе друга. Карюха никогда и ни с кем не согласовывала выбор жения, а находила его, где могла — на лугах, в степи, в ночном, — о чистокровии ее потомства говорить не

приходилось. Тут уж что бог послал. Бог же не был щедрым. Он посылал жеребят такой же безвестной породы, как и их случайные отцы, выпущенные хозяевами на волю и предоставленные в полное распоряжение разгуливавших без всякого присмотра маток. Давно замечено: ни одного жеребенка Карюха не родила похожим на себя. О каждом ее отпрыске, без притворного желанья польстить жеребцу, всякий мог бы сказать: «Вылитый батька!» Со временем из такого наблюдения отец мой сделает решительный и далеко идущий вывод, но речь о том впереди. Как видим, помимо того, что Карюха привозила, отвозила, пахала, сеяла и убирала, она обязана была еще «приносить» всякий год по жеребенку. В первый год нашего новоселья она не сделала этого и знакомилась с кнутом больше прежнего.

На новом подворье со всеми членами нашей семьи у Карюхи постепенно установились свои и притом разные отношения. Отца, главного хозяина, Карюха явно недолюбливала. И за то, что он давал волю кнуту гораздо чаще, чем мог бы это делать, согласуя свои действия с разумом; и за ночные кутежи, те самые пирушки, от которых на Карюхину долю оставалось тяжкое похмелье, ибо не кто иной, как она, должна была либо простаивать всю ночь напролет у чужой избы, либо развозить упившихся приятелей хозяина по домам, либо под злые окрики хозяина и посвист кнута над спиной изображать из себя рысачку, коей она не была и не могла быть; и особенно, конечно, за скверную его привычку лезть пьяными губами к морде и бормотать разные глупости — Карюхе всегда хотелось откусить эти мокрые, вытянутые губы, но она удерживала себя, опасаясь последствий. Недолюбливала она отца еще и за то, что обязана была бояться его: трудно любить того, кто внушает к себе страх.

С точки зрения Карюхи, лучшим ее другом должна была быть наша мать. Кроткая и добрая по характеру своему, она была чрезвычайно заботлива не только в отношении нас, ее детей, но и в отношении животных, поселившихся на нашем дворе. Карюху мать звала не иначе как кормилица, потому что Карюха действительно была кормилицей семьи. Корм задавала Карюхе мать, в течение долгой зимней ночи выходила к лошади по нескольку раз, украдкой от отца в отруби подмешивала горсть-

другую ржаной муки. С появлением матери Карюха не прижимала ушей, как делала всегда, когда кто-нибудь к ней приближался, а тихо и ласково ржала, потом, в знак благодарности, что ли, терлась о плечо хозяйки своею бархатисто-мягкой верхней губою. И все-таки нельзя сказать, чтобы мать наша пользовалась у Карюхи достаточным авторитетом. Если случалось, что единственным седоком на возу была она, Карюха предавалась своей лени с особенно нахальной откровенностью.

— Ну, родимая, ну, ну! — понукала мать, причмокивая, и даже норовила взмахнуть кнутом, а то и опускала кнут на лошадиный круп, а Карюха и ухом не вела — в прямом и любом ином смысле не вела. Делала она это не по злему умыслу, а просто разумно пользовалась редкой возможностью отдохнуть и сохранить силы для времен худших. Последних у нее было куда больше.

В отношении моего старшего брата, Саньки, Карюха придерживалась в основном того же образа действий, что и в отношении отца. Характером и повадками Санька был весь в батю: так же горяч и нетерпелив, а драчун, пожалуй, даже больший, чем отец. Не мудрено, что Карюха питала к нему не самые добрые свои чувства. Она и не скрывала этого. Раза два здорово укусила Саньку, а один раз чуть было не лягнула, когда паслась на лугах и брат пытался ее обротать. Попало ей тогда здорово. Отец и сын часа два гоняли по двору, секи хворостиной и кнутом, от страха Карюха кинулась на плетень и чуть было не села брюхом на кол. Отчаянный вопль матери, выскочившей на шум из избы, остудил истязателей.

Матерясь про себя и вроде бы стыдясь за вспышку безумного этого гнева, они пошли вслед за нею в дом и уже за столом долго судили-рядили, как осенью продадут Карюху, будь она неладна. Мать, Ленька и я помалкивали, орудуя ложками. Мы знали, что грозное намерение отца и Саньки скоро забудется и Карюха останется на дворе и будет по-прежнему делать все главные дела, то есть возить, отвозить, пахать, сеять, убирать и с будущего лета давать нам по жеребенку.

Лучшие отношения у Карюхи установились с Ленькой. Пятнадцатилетний этот хлопец был добр и простодушен до чрезвычайности. Карюха не помнила, чтобы он не то

чтобы ударил, но даже замахнулся только на нее кнутом. Потом на Ленькину долю выпала обязанность, равно приятная как Леньке, так и Карюхе, — он выводил ее в ночное.

Карюха, не спутанная, как все другие лошади, сразу уходила, по обыкновению своему, далеко в сторону, лакомилась там одна свежей травой, а Ленька беспечно предавался игрищам. Снимал с себя носок, туго набивал его пыреем, скликал товарищей и заводил веселую возню. Называлась она игрою «в хоря», или «лови хоря» — так будет точнее. Ребята садились в круг, вытянутые их ноги утыкались в подошвы товарища, сверху бросали дерюгу, под нее запускали «хоря» — набитый пыреем носок. «Хорь» метался под дерюгою от одного к другому парню, только один из них не сидел, а бегал рядом и старался у кого-нибудь перехватить «хоря». Стоило ему промахнуться, как «хорь» мгновенно выныривал из-под покрывала и сильно ударял под ликующий рев играющих по спине дежурившего. Тот со стоном бросался в новую погоню, продолжавшуюся обычно долго, так как «хорь» был почти неуловим. Когда же все-таки его перехватывали, на место страдальца становился тот, в чьих руках был задержан носок.

Игра продолжалась нередко до рассвета. Когда большинство ребят засыпало, бодрствующие проделывали с ними фокусы вовсе уж малоприятные. Либо привязывали сонного к конскому хвосту, либо мазали физиономию дегтем. Помнится, Ленька возвращался с ночного почти всегда чумазым. При этом круглое лицо его озарялось довольной улыбкой, белые зубы светились на черном-то фоне особенно ярко. Не будь жестоких этих забав, ночное потеряло бы для моего брата и его товарищей половину своих прелестей.

Карюха, как уже сказано, тоже была не в накладе. Потому-то они и были с Ленькой хорошие друзья.

Меня, младшего, Карюха, кажется, попросту не замечала, даже тогда, когда я, вцепившись в гриву, угнездывался на ее хребтине и, понукая, колотил по широким бокам босыми ногами. Немного позже, правда, и для меня нашлось занятие: летнею порой я стал водить Карюху в Кочки, на сельский наш пруд, купать. Карюха заходила в воду настолько, что над поверхностью пруда оставались ее голова и чуть заметная, тоненькая по-

лоска хребтины. Я, голый, ерзал по этой хребтине, тер Карюху и слева и справа своими ладонями, чесал пальцами ее бугроватую от укусов оводов кожу, а Карюха стояла неподвижно, блаженно постанывала, кряхтела от великого удовольствия. Накупавшись вволю, она выносила меня на берег и с несвойственной для нее рысью мчала, голого, домой — только брызги сыпались, окропляя седую пыль. Уже во дворе Карюха встряхивала кожей, да так сильно, что я летел наземь кубарем и потом уж сам бежал к пруду, чтобы докупаться. Временами отец посылал меня на луга за Карюхой, но я возвращался один: Карюха не подпускала меня к себе. Прижавши уши и оскалившись по-собачьи, она как бы говорила, завидя меня: «А ну-ка, подойди, я погляжу, что из этого выйдет...» Ничего хорошего для меня выйти из всего этого не могло, и я покорно удалялся прочь.

Как-то Ленька взял меня в ночное с субботы на воскресенье. К вящей моей радости, он предложил мне это сам, а не то чтобы я канючил у него весь предыдущий день, как было всегда, когда Ленькина компания собиралась в какой-либо поход. Выехали засветло, за селом, у последней риги, поймали пеструю курицу, неосторожно забредшую так далеко. Ленька с проворностью и ловкостью лисовина обезглавил ее, сунул в мешок и опять взобрался на Карюху, на которой мы ехали вдвоем: я впереди, а он сзади, придерживая меня одновременно поводьями узды и своими локтями. Мое дело было крепче держаться за Карюхину гриву.

Лошадей спутали и оставили пастись. Карюха сейчас же отделилась и паслась в одиночестве. Ленька и его друзья принялись варить куриный суп. Зачерпнули в Правиковом пруду котелок воды, приладили его на треноге, наломали сухого прошлогоднего подсолнуха, и вода скоро закипела. В последнюю минуту откуда-то появился Мишка Земсков, парень лет двадцати пяти, хитрый и озорной. Он хищно повел носом, потянул воздух и довольно ухмыльнулся:

— Курочку придавили. Так-так...

— Садись с нами, — предложил Ленька.

— Что ж, это можно, — милостиво согласился Мишка. — А чем хлебать будем? Ложек-то у вас, поди, нету? Ложек не было.

— Ну, это дело поправимо, что-нибудь придумаем.

Мишка выбрал подсолнух посуше и покрепче, выдавил из него тонким прутиком белую, похожую на вату сердцевину. Получилась длинная трубка. Мишка раз и два продул ее, потом, прижавши к единственному глазу (один глаз он утратил при неизвестных нам обстоятельствах), долго смотрел, как в подзорную трубу, удовлетворенно вздохнул и погрузил трубку в бульон. Пососал. Мы все выжидающе примолкли. Затем Ленька осведомился:

— Тянется?

— Нисколько, — ответил Мишка, на минуту оторвавшись. — Попробую еще раз.

Он пробовал, а мы стояли рядом и только облизывались. Между тем бульон в котелке медленно и верно приближался ко дну, а разваренная курица подымалась вроде бы вверх: сначала на поверхности показались култышки ее ног, затем острая хрящевина кобылки и, наконец, все остальное.

— Обманщик! Все выдул! — закричал что есть силы Ленька, но тревожный клич его прозвучал слишком поздно: бульон исчез.

В довершение всего Мишка опустил в котелок обе руки, поднял их, резко развел, и в каждой оказалось по куриной ноге. Туловище с двумя жалкими крылышками шлепнулось в пустой котелок.

— Вы еще будете благодарить меня, что не скажу Катьке Дубовке. Ее курица.

С этими словами Мишка и покинул нас. Куриные ноги он слопал по дороге домой.

Неудачи преследовали нас. Ночью и меня и Леньку вымазали дегтем, но к этому мы были готовы: всех мазали. Самое памятное произошло на следующий день, когда отправились на поиски стрижиных яиц к оврагу, начинавшемуся у Правикова пруда. Стрижиных нор в отвесных стенах глубокого оврага было множество, но все они такие узкие, что ни Ленькина рука, ни руки его сверстников не пролазили. Ребята решили использовать меня, самого малого и, стало быть, самого тонкорукого. Операция была проста. Двое ребят брали за левую руку, опускали сколько могли вниз от кромки оврага, правой рукой я нащупывал нору, просовывал руку в нее и, коли находил, забирал яйца в правый и единственный у штанов деревенской ребятни карман.

Дело ладилось. Метр за метром мы исследовали желтую, словно побитую оспой кручу, картузы и кепки наши постепенно наполнялись стрижиными яйцами. Кажется, в сотый уже раз висел я над бездной, удерживаемый крепкими руками Леньки и какого-нибудь из его товарищей. Прёжде, чтобы не было так страшно, я не глядел вниз, на дно оврага, а теперь вот отчего-то захотелось. А как глянул, так и обмер весь: у подножия стены, в небольшой круговине, лежала, вытянувшись по-собачьи, большая волчица. У ее белесого брюха копошились волчата — сколько было их, я не мог определить: не до того было. Важно, что логово находилось точно подо мною. Как-то я еще сообразил, что сообщать ребятам об увиденном вот теперь, когда я вижу, не следует: от страха руки их могут дрогнуть, выпустить мою. Перво-наперво негромко попросил:

— Вытаскивайте меня. В этой норе пусто.

И, очутившись наверху, указал на волчицу.

Ленькины дружки, а вместе с ними и Ленька, дали такого деру, что я, как ни старался, не мог поспеть за ними. На беду, у меня сшило колотья, я остановился и отчаянно заревел. Ленька, преодолевая страх, которым был подхлестываем, вернулся, подхватил меня и прямо с ходу бросил на спину спутанной на этот раз Карюхи. Вскочил и сам, нахлестывая кобылу. Карюха почуяла, что случилось что-то очень страшное, и надала. Но, спутанная, она отстала от всех лошадей. Леньке бы надо соскочить и распутать Карюху, но он боялся: ему и мне казалось, что волчица гонится за нами. Кое-как доскакали до могилок. Там нас ждали товарищи.

Дома рассказали о случившемся. Отец, дядя Максим, дядя Сергей и, кажется, дядя Петруха немедленно отправились к логову, но ни волчат, ни их матери там уже не было. Валялись обглоданные бараньи кости да клочки волчьей шерсти.

Волчица из неожиданного нашего появления в заповедных ее местах сделала правильный вывод. Мы тоже. Во всяком случае, с той поры уже не охотились за стрижами в Правиковом овраге или где-нибудь поблизости от него. И в ночное выезжали не туда.

Отец воспользовался этим происшествием, чтобы лишний раз припугнуть нашу сестру, неожиданно и для нас и для отца с матерью ставшую девкой и теперь

все позднее и позднее возвращавшуюся домой с гулянок.

— Опять вчерась в час ночи пришла. Ну смотри, догуляешься! Почему ворота не закрыла? Выпустишь Рыжонку или Карюху, зарежут волки — я те тогда покажу, мерзавка!

Настенька хорошо знала, почему не закрыла ворота. Они у нас были со странностями: когда их открываешь — молчат, а закрываешь — начинают скрипеть так, что в доме все просыпались. Настеньке же меньше всего хотелось, чтобы о времени ее возвращения с улицы знал отец. Ведь тот, из-за которого она всегда задерживалась долго, знать не хотел ни про строгость Настенькиного батеньки, ни про скрипучие наши ворота, ни про Рыжонку и ни про Карюху, которые могли уйти со двора на гумны и стать легкой добычей серых хищников. Он любил Настеньку и справедливо полагал, что превыше этих его святых прав на свете не существует никаких других. И хотел, чтобы Настенька находилась рядом с ним всюто ноченьку, до последних кочетов, до утренней зорьки, и Настенька подчинялась ему, ибо и ей хотелось того же самого.

Эгоизм влюбленных безграничен. Пора бы уж людям знать про то.

Что же касается Карюхи, то Настенькина любовь была ей, Карюхе, впрок. Карюхе нравилось пошляться на воле — глядишь, что-нибудь перепадет, в придачу избежишь раз-другой оглобель, пускай потом винят кого угодно другого, только не ее, Карюху.

Жизнь семьи шла своим чередом.

4

Свою сестру я звал няней. Она была старше меня лет на десять и когда-то нянчила. Мне не нравилось, когда Настенька рассказывала про то своим подругам. Повествуя, она особенно подчеркивала, что я был ужасный плакса, никому не давал покою, а ей, Настеньке, «все руки отмотал». Я пытался представить себе, как это можно отмотать руки, и не мог. С некоторых пор я все реже называл ее няней — почему-то стыдно было, а потом и вовсе бросил, а звал так, как все в доме, как старшие братья: Настенька. И лишь когда у нее завелся «миленок» и мне стало страшно обидно, я опять стал звать

ее няней и нарочно при ее возлюбленном, она же терпеть не могла этого: слово «няня» как бы старило ее, семнадцатилетнюю, а Настеньке хотелось быть молоденькою. Должно быть, по-своему как-то, но я ревновал сестру и всячески старался ежели и не предотвратить вовсе, то хотя бы оттянуть стремительно надвигающееся, по всей видимости, уже неотвратимое событие. Я начал откровенно шпионить за сестрою. В самый неподходящий для нее момент выныривал из тьмы, подбегал к бревну, на котором она всегда сидела с ним, звал нарочито громким, далеко слышным в настороженной, отзывчивой на малейший шорох ночи:

— Нянь, домой! Нянь, папанька зовет! Нянь!

Парочка некоторое время оставалась на месте и, казалось, вовсе не реагировала на мой крик. Я принимался орать во второй и в третий раз — до тех пор, пока не вспугивал жениха и невесту. Они уходили, а я отпускал их ровно на столько, чтобы они меня не могли видеть. Найдя более укромное, как им казалось, местечко, влюбленные усаживались, ворковали, а через каких-нибудь минут пять я вновь тут как тут:

— Нянь, домой! Папанька зовет!

Не будь я Настенькиным братом, да еще младшим, жених с великим удовольствием надрал бы мне уши, но он терпел. Настенька — не всегда. Однажды она соскочила с бревна, догнала и наградила меня вполне заслуженной затрещиной. Но оставаться дольше на улице не могла. Наскоро, сердито, скомканно как-то попрощавшись, ушла домой. Ночью я слышал, как она плакала. Утром, глянув на ее постель, я заметил не успевшую просохнуть подушку. И... возненавидел себя. Подбежал к сестре, рассеянно смотревшей в окно, кинулся на шею и, обнимая и целуя и сам уже плача, начал уговаривать, чтобы она простила меня, клялся, что больше не буду и что вообще очень люблю ее. Она прижала меня к себе так сильно, что я чуть было не задохнулся, и опять расплакалась, но слезы ее были легки, не давили на грудь тяжким камнем, и, смаргивая их длинными темными ресницами, чуть-чуть золотистыми, она уже улыбалась и медленно расцветала в этой улыбке, как покрытый росой цветок на утренней зорьке. И обоим нам стало так-то уж хорошо, что и рассказать невозможно.

С того утра мы стали настоящими друзьями.

Свою безграничную преданность сестре я выражал, как только мог. Перво-наперво раздобыл солидолу и смазал проклятые ворота, чтоб они не скрипели. Мало того, в глухую полночь, когда все в доме спали, я потихоньку выскальзывал на улицу и поджидал сестру у нашего дома, и если это было летом, встретив, помогал ей пролезть в горницу через окно: отец и мать спали в другой комнате, через которую надо было бы неизбежно проходить, когда пользуешься дверью. Бывало, что и зимою, открыв дверь, я пропускал сестру вперед и на окрик отца «кто это?» отвечал, что это я возвращаюсь, мол, со двора, справивши невеликую нужду. Все удавалось и все устраивалось наилучшим образом. Труднее было с насмешками Саньки и Леньки. Санька — еще куда ни шло: смеялся редко и необидно. От Леньки не было спасу. Кобенясь и ерничая, он представлял Настенькиного жениха настолько похоже, что все в доме хохотали; даже наша мать, кроткая и на веки вечные запуганная и забитая во всех смыслах грозным своим супругом женщиной, — даже она украдкой улыбалась, морща губы и шурясь. Смеялся и я, зная при этом, что совершаю предательство в отношении сестры, но смеялся: из Леньки вышел бы великолепный артист.

Только Настеньке было не до смеху. Поначалу она, схвативши у печки ухват либо сковородник, бегала за Ленькой по избе, пытаясь вытянуть его вдоль спины; но разве его поймашь? Ленька увертлив, как угорь, и быстرونог. Умаявшись, она падала вниз головой на свою кровать, и плечи ее начинали судорожно вздрагивать. Тогда все умолкали. Слышался лишь голос матери, урезонивавшей сына:

— Нечистый бы тебя побрал совсем! Ну, что пристал к девчонке, кобель ты этакий? Вот я тебя сейчас!.. — И она подымала брошенное дочерью орудие — ухват или сковородник.

Ленька, подхватив с судной лавки кусок хлеба, нырял мимо нее к двери, потом на улицу — только его и видели.

Нередко отец сам возвращался с попойки за полночь. Тогда он обязательно пройдет в горницу, зажжет спичку, прошупает презлющими хмельными глазами пуствующую постель дочери и, взяв это как подходящий предлог, начинает придирается к нашей матери:

— В тебя пошла. Такая же шленда. Ну, где она запропастилась?

— Откель мне знать? — отзывалась мать, поспешно слезая с печки.

Буря надвигалась, и мать торопилась, чтобы успеть оказаться под защитой лежащих под одной ее шубой, прямо на полу горницы, сыновей. Мы тоже не спали, чутко прислушиваясь, далеко ль пойдет батька в неспровоцированном своем гневе. Теперь мы подросли, и отец знал, что вряд ли ему удастся пустить в дело кулаки, как в прежние времена, когда все мы, его дети, были малышами.

— «В тебя пошла!» — негромко повторяла мать, хорошо понимая смысл, вкладываемый мужем в эти слова. — А не в тебя ли? Пятый десяток, а вон как хабалишь! Шляешься до полуночи, как молоденький. Детей хоть бы постыдился!

— Ма-а-алчать! — орал отец.

Для нас это его протяжное «ма-а-алчать!» было сигналом бедствия. В один миг мы оказывались рядом с разбуянившимся. Сделав руки кренделем, я повисал на отцовской шее. Санька хватал его за правую руку, Ленка — за левую: так уж были распределены наши силы. Стряхнув нас, отец, однако, шумел все тише и тише, мы увлекали его за собой в горницу, со смехом валили на пол, на свою немудреную постель — солома, покрытая рваной дерюгой, — по бокам ложились сами, и гроза таким образом была отворачивалась от бедной нашей матери.

Бывало, что буря налетала днем, когда нас, ребятшек, дома не было; застигнутые врасплох, мать и дочь забивались подальше на печь, и тут отец правил над ними свой суд без всяких помех. В ход пускались сложенные вдвое веревочные вожжи. Мать, готовая на все, чтобы только защитить дитя, заслоняла Настеньку своим телом, вытягивала в сторону вожжей, свистящих над ними, свои и без того синие, все в буграх, руки, и удары, частые и злые, обрушивались на них. От диких криков истязуемых пьяный буян приходил в неистовство, и надо было только удивляться, как это еще он не засекал их до смерти. Мать была совершенно уверена, что отец наш для того только и придирался к Настеньке, чтобы получить подходящий предлог для сведения счетов с женою. А они у него были, эти счета. Мать выдали за него сил-

ком, она пыталась повеситься, потому как любила другого. Вот этого-то и не мог простить ей отец всю жизнь, и это в конце концов было причиной многих невыразимых страданий всей семьи. Если беды двух не любящих друг друга существ в общей большой семье как-то еще смягчались присутствием деда, бабушки и других людей, то теперь, когда отец стал полным хозяином в доме, его владыкой, отвести эти удары от матери и сестры могли только мы: Санька, Ленька и я. А мы не всегда находились дома.

Дебоширил отец пьяным. Утром, отрезвев, он стыдился и, не позавтракав, пряча от всех глаза, поспешно убежал во двор. С неделю не пил вовсе. В семье наступал праздник. Целыми днями слышался смех. К Настеньке на всю ночь приходили подруги — на посиделки. Некоторые из них — со своими прялками. Пряли шерсть, посконь, вязали платки, чулки, варежки. Пели песни. Отец, помолодевший, был тоже в передней, вместе с пришедшими парнями рассказывал разные смешные истории, помогал кривому Мишке Земскову рисовать карикатуры на девок и ребят.

Была довольна и Карюха. По ночам эту неделю ее не запрягали. От хозяина не воняло противно, когда он прижимался губами к ее губам.

Когда Карюха была во дворе, корм ей подавала мать. Она вообще ухаживала за всей скотиной, хотя могла бы поручить это Саньке и Леньке. Они могли ездить и на гумно, но тут уж не доверял отец. На гумно в зимнюю пору, кроме себя, он никого не допускал. Причин для этого у него было предостаточно. Сыновья не знали, сколько и какой надо насыпать в плетенную из ивовых прутьев корзину мякины, какой и в каком количестве наложить соломы, — ребята навалятся, конечно, на овсяную, а ее надобно приберечь к весне, до которой, ох, как долгонько. Особенную же экономию необходимо было соблюдать в отношении сена: скоро начнут ягниться овцы, отелится Рыжонка — ягнят и теленка не накормишь соломой, им подавай душистого сенца, припорошенного отрубями, а то и ржаной мукой. Плавки им не кинешь, разве что на подстилку. И просяную соломку не худо приберечь — для Рыжонки главным образом, она до просяной большая охотница. Сейчас же, пока на дворе январь, на ячменную да ржаную нужно налегать, а боль-

ше на мякину, опять же ржаную и ячменную, ни в коем случае на овсяную и просяную, которые приравниваются к сену.

Откуда же знать про все это неразумным сыновьям?

Однако и это еще не все. После того как сани или дровни наполнятся кормами, отец вернется в ригу, отдохнет чуток, осторожно, в кулак, покурит, вместе с дымком с удовольствием потянет душновато-вкусный, сотканный из множества почти неразличимых в отдельности запашков, мякинно-соломенный и сенной душок, а затем, взяв грабли, не торопясь, примется оправлять свой угол, чтоб ни единой былки, ни единого пустого, выхолощенного колоска, ни единого сухого листика, ни единой сенинки не осталось под ногами. Все подгребет, подчистит, огладит тыльной стороной граблей так, что малейшее прикосновение чужой руки было бы немедленно обнаружено потом: в ригу ведь наведывались и два других ее владельца...

Что еще сказать о Карюхе? По весне одной, без давней и верной напарницы Буланки, ей было очень трудно. Соха — куда ни шло. В нее и прежде запрягали одну лошадь. А потяни-ка однолемешный плуг, который и двумто кобылкам влачить было нелегко! Карюха хитрила, через каждые десять—пятнадцать метров останавливалась и, тяжело нося вспотевшими боками, косилась на пахаря, пытаясь по его виду определить, каковы будут его намерения: ежели очень решительные и кнут уже наготове, Карюха сократит остановку до самой малой минуты; ежели пахарь начинает вытирать подолом рубахи вспотевший лоб, Карюха отдохнет подольше, но такое бывало редко. Пахарь торопил, всякая остановка Карюхи грозила его семье голодом, до жалости ли к лошади ему?! К полудню Карюха останавливалась в борозде не из-за хитрости; она уставала так, что напружинившиеся ноги ее дрожали, и тут секи не секи, а Карюха будет стоять как вкопанная, — один раз она просто упала в постромках, и только тогда хозяин, обескураженный и несчастный, понял, что хоть на один час, но надо распрячь Карюху.

С того случая отец сделался сумрачен и задумчив. Никому ничего не говорил, но мы чувствовали, что он заговаривает что-то. Едва отсевшись, принялся усиленно прикармливать Карюху, вгонять ее в тело.

— Не продать ли надумал старую? — сокрушалась мать, делясь с нами беспокойной этой мыслью. — Ребятишки, отговорите его. Пропадем мы вовсе без Карюхи. Отдаст ее за бесценок какому-нибудь барышнику, деньги проплет, и останемся мы без лошади. Что тогда?

Мы и сами были не на шутку встревожены. Надо было знать характер нашего папаньки: от него всего можно ожидать.

Между тем в плане отца было совсем другое.

5

Вернувшись однажды за полночь и против обыкновения совершенно трезвый, отец покликнул неожиданно ласково:

— Ты спишь, мать? Вставай, покалякать надо.

Он прикрыл дверь в горницу, и о чем там они калякали, мы не могли слышать. Мать дважды входила в переднюю, открывала сундук и с самого дна доставала узел. Слышалось в темноте жесткое шуршание кредиток и шепот матери: «В разор разорит он нас. Чего надумал?» Она удалялась, и через дверь, которая на этот раз осталась открытой, до нас долетала не злая поначалу, однако все набирающая остроту и ярость ночная перебранка:

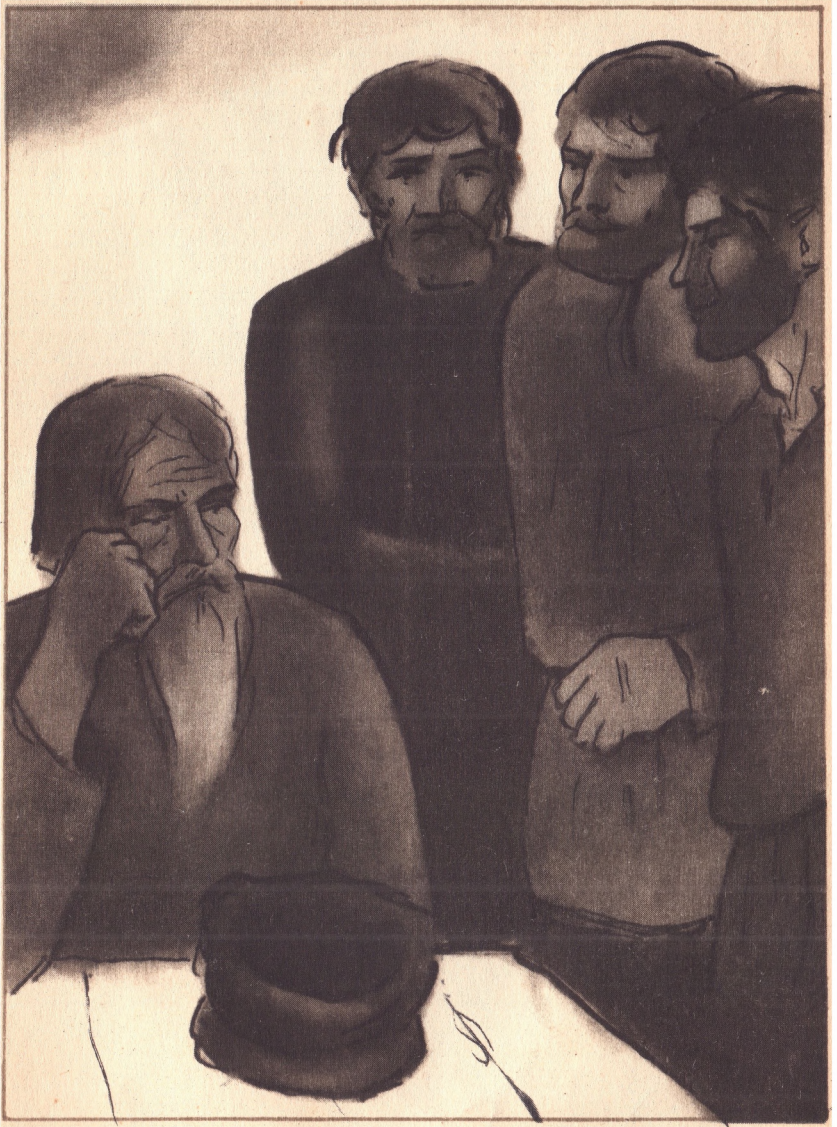
— Обдерет он нас досиня. Шутка сказать — три червонца! Да за такие-то деньги жеребенка летошнего можно купить.

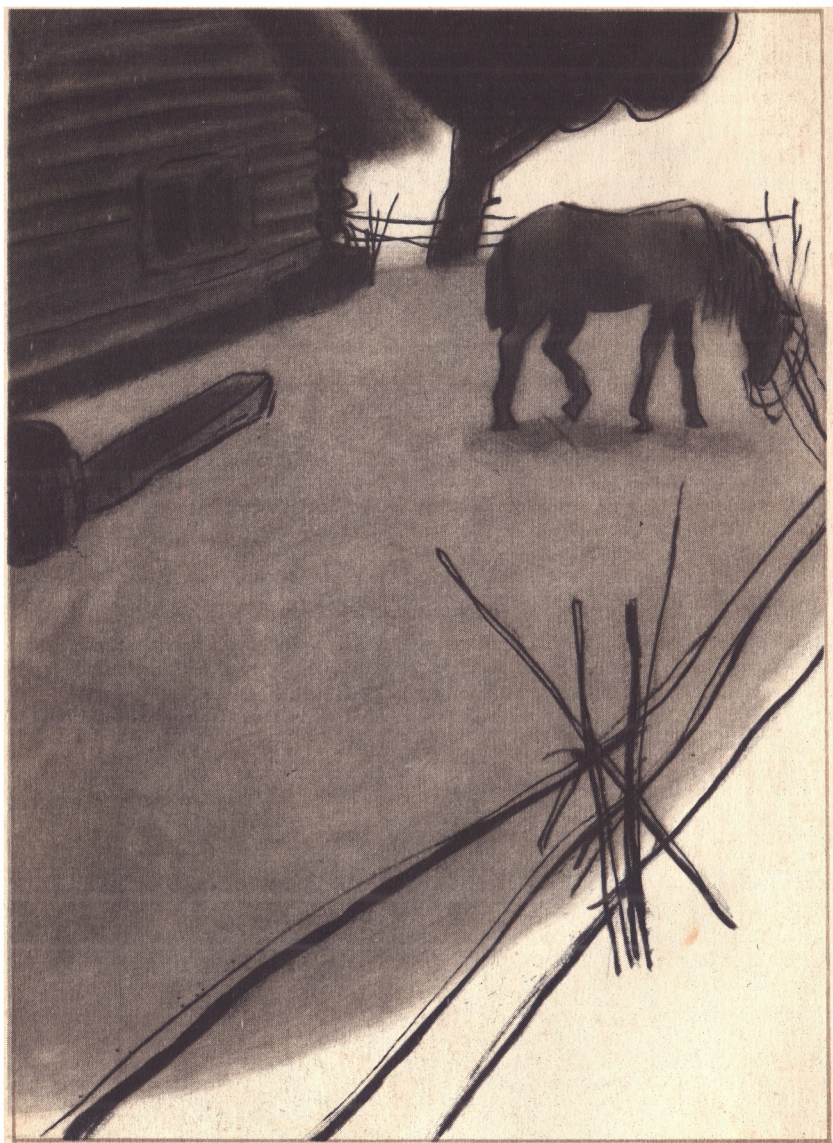
— Чего бы ты понимала, дура? Через два года деньги эти окупятся с лихвой.

— Окупятся... Держи карман пошире!

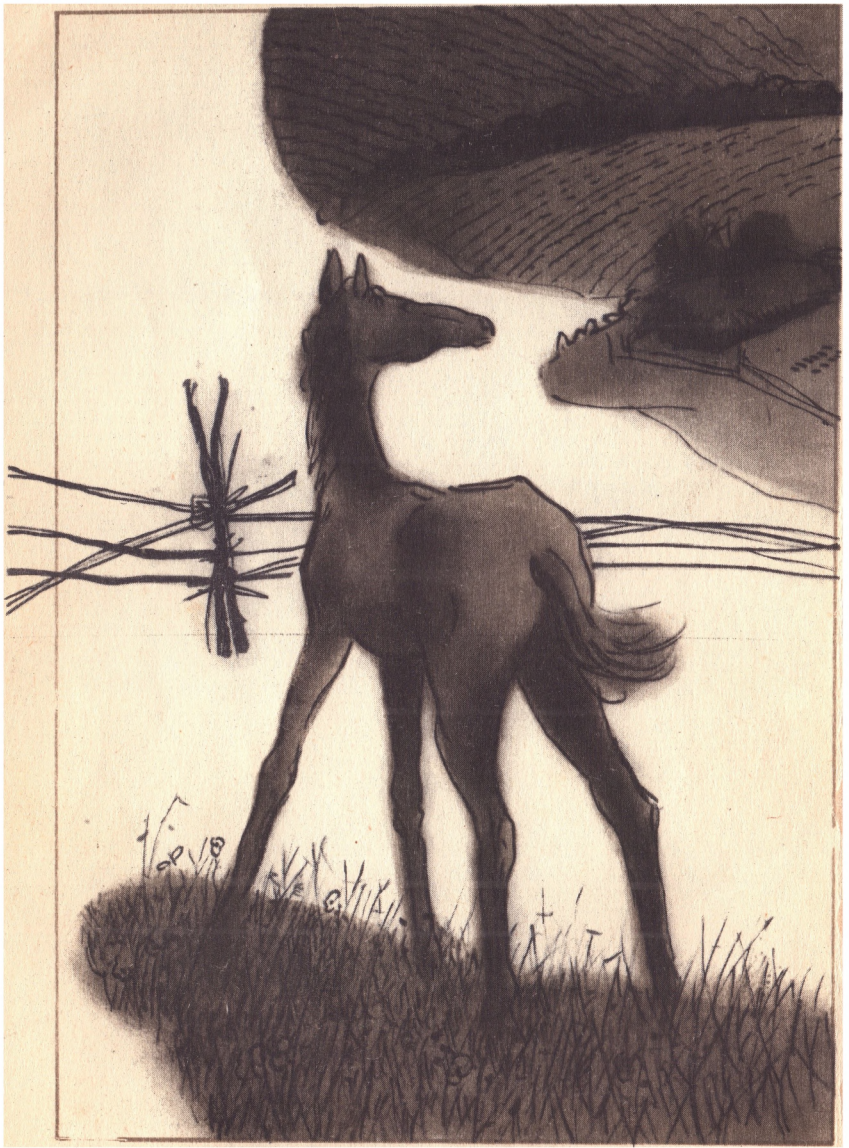
— Ну, ты, нишкни, коли ничего не смыслишь. Без тебя решу!

Что он там решил, мы тоже не знали. После перепалки мать, конечно, уступила, и теперь разговор их перешел на шепот и принял мирный характер — давно голос и слова отца не были такими добрыми и ласковыми. Мать, спрятавшая было узелок в сундук, вернулась еще раз и снова достала его. Опять принялись считать и пересчитывать деньги. Отец при этом коротко кашлял, а мать шумно вздыхала. Рублишки были выручены прошлой осенью за телку, и мать берегла их на приданое Настеньке. Боясь, как бы кто из нас не прикоснулся к ним неос-









торожно, пересчитывала на дно три раза и вздыхала так же вот, как этой ночью. Совсем недавно она прибавила к ним еще червонец — продали на базаре в Баланде большой жбан конопляного масла. Один только раз нам, ребятишкам, удалось полакомиться им. Густое, темно-зеленое, вкусное само по себе, оно было очень душистым и оттого вкусным уже сверх всякой меры.

Помимо названного червонца, была еще какая-то мелочь, но отец взял ее и купил в долгую дорогу мерзавчика и потом честно признался в этом матери — та и слова не сказала, вздохнуть, правда, вздохнула. Днями узелок материн должен был бы пополниться. За голландкой который уж день стояла большая кадушка и целыми сутками кряхтела по-старушечьи. В кадушке зрело нечто такое, от чего разум наш может помутиться, а душа повеселеть на малое хотя бы время. Самогон готовился также к продаже.

Утром, взяв из узелка не три, а только два червонца, отец, не позавтракав, ушел. Не было его долго. Мать все выглядывала в окно, не идет ли, и почему-то часто становилась на колени перед образами. «Пресвятая богородица, пожалей нас, спаси и помилуй», — чуть внятно произносили ее сморщенные, сухие губы. Я давно заметил, что при всех превратностях судьбы мать обращалась за помощью не к богу, а к божьей матери, как вот теперь. Вероятно, в тот день пресвятая была занята какими-то другими важными делами и не вняла материным мольбам.

Отец вернулся мрачнее мрачного. Не сразу вошел в избу. С беспокойным оживлением осмотрел двор, похлопал по Карюхиной шее. Потом постоял среди двора в раздумье и, приняв, видать, окончательное решение, быстро направился в дом. Ни слова не говоря матери, молчаливо и тревожно стоявшей у печки, почти вбежав в горницу, раскрыл сундук и забрал последнюю десятку. Чтобы не слышать жениного протеста и не видеть ее слез, он угнул шею по-бычьи и так выскочил на улицу. На этот раз вернулся необыкновенно быстро. Снова обжег весь двор. Вывел Карюху из хлева, прогнал несколько раз по кругу, привязал покрепче за веревку и долго охаживал рукою, бормоча при этом что-то очень ласковое в Карюхино ухо, которым та все время вспрядывала. Так, пожалуй, охаживают лишь девку, для которой оты-

скался наконец подходящий жених, суливший счастье не только самой невесте, но и всем ее сродственникам. И все-таки на лице отца лежала печать крайней озабоченности. Из всех вопросов, ежедневно выстраивавшихся перед ним длиннейшей очередью, был теперь один, главный и решающий: «Примет ли Карюха серого?» Деньги хозяином взяты наперед, за отцом остался лишь магарыч, который условились справить после того, как Карюха подпустит жеребца и когда можно с определенной толикой оптимизма заключить, что все кончилось хорошо.

Войдя в избу, отец торопливо скомандовал:

— Поджарь, мать, картошки с салом. Скоро будут.

В избе все ожило. Мать побежала к погребу. Мы, братья, выскочили на улицу и, забравшись кто на плетень, кто на завалинку, а я даже на крышу сарая, стали ждать, сами еще толком не зная чего.

— Ведут, ведут! — первым заорал я со своего наблюдательного пункта, завидя, как из проулка два здоровенных мужика выводили серого жеребца. Отец выскочил во двор и распахнул ворота. Красавец нетерпеливо заржал. Державшие его упирались вперед ногами, а орловец, поднявши морду, нес их, не чувствуя тяжести. Карюха забеспокоилась, подняла голову, сначала по всему ее телу легкою волной пробежала дрожь, она сомкнулась с протяжным, испуганно-радостным и тоже нетерпеливым, зовущим ржанием. От этого ее крика и оттого еще, что Карюха стала по-молодому перебирать ногами, метаться у привязи, лицо отца озарилось детски глупой и по-детски же счастливейшей улыбкой.

— Слава богу... слава богу! — твердил он.

В общем-то большой наш двор сделался вдруг маленьким и тесным, когда в него, пританцовывая и вздымаясь на дыбки, вбежал жеребец. Куры подняли переполошный крик, разлетелись по плетням и крышам, черная кобелишка по кличке Жулик, нерешительно твякнув, нырнул под калитку и только уж в огороде, полагая свое место безопасным, залился пронзительно-визгливым лаем. Усугубляя суматоху, откуда-то выкатилась прямо под ноги жеребца свинья; конь взвился на задние ноги, заржал, затрепетал гладким жилистым брюхом; свинья хрюкнула, попыталась было вслед за Жуликом нырнуть под калитку, но застряла там и заверезжала.

Отец ударил ее черенком лопаты, и калитка была сорвана с петель. Гулкий свинячий «ухр-ухр-ухр» покати́лся по огороду.

— Ну, теперя, Миколай Михалыч, гляди, не оплошай!

С этими словами Михайла (так звали хозяина жеребца) и его сын, с трудом удерживая подузды, повели серого к оробевшей и ставшей совсем крохотной Карюхе. Он легко взлетел над ее крупом, оскалился, изогнул и без того крутую шею и хищно вцепился длинными желтыми зубами в Карюхину гриву. Застоявшийся, нетерпеливый, охваченный пламенем любви, жеребец, очевидно, нуждался в этот миг в какой-то помощи. Но отец мой оплошал, он не сделал того, что должен был сделать. Опустошенный, вялый, жеребец тяжело опустился на землю. Карюха прижала уши, взвизгнула и, высоко подбросив зад, больно лягнула его. Обозлившийся хозяин, оттолкнув моего отца, все еще пытавшегося как-то поправить дело, повел орловца к воротам.

— Говорил, гляди в оба. Теперь пеняй на себя, — сердито ворчал Михайла. — Во второй раз Огонек не подымется. Да и платить бы тебе пришлось заново. Так что...

Я считал своего отца если не сильным, то все-таки достаточно гордым, чтобы не стерпеть такую обиду. Был он смелым солдатом в первую мировую войну и храбрым бойцом в гражданскую. Вообще — не из робких. А сейчас вот стерпел. Жалкий, трясущийся, только что не плача, он хватал Михайлу за пиджак:

— Кум... кум... не губи, детишки у меня!..

— Не могу, и не проси, Миколай Михайлыч.

Но тут отцу подоспела помощь. Мать, почуя неладное, быстро наполнила большую кружку самогоном, положила на кусок черного хлеба ломтик сала и выскочила во двор. Преградила путь Михайле, заголосила, запричитала:

— Куманек, родненький... не откажи, выпей первачку... толечко ночесь нагнали... и куды ты торопишься, Василич?.. Яишенка ждет, и картошки нажарила с салом... Поди в избу, родимай!..

— Ну, ну, кума... вот разве что только для тебя один-единственный глоток...^ч

Михайла говорил правду: чтобы кружка литровая была опорожнена до самого аж дна, ему потребовался

всего лишь один глоток. Что-то только булькнуло в его кадыке. Михайла крикнул от избытка чувств, понюхал хлеб с салом, вернул его моей матери, и, передав жеребца молчаливому своему сыну и как бы благословляя этим его на дальнейшие действия, медленно побрел в избу: запах жареного поманил его туда.

Отец предусмотрительно остался во дворе. Вместе с Михайловым сыном они ошлепали ладонями все большое тело жеребца, потом долго водили его по двору в виду Карюхи и в конце концов успокоили. Глаз, косивший в сторону кобылы, вновь налился кровью, ноздри расширились, запыхали, задымились. Все его огромное и прекрасное тело вновь содрогнулось, сотряслось от могучего призывного ржания. Карюха тихо и опять робко отозвалась. Серый вырвался из рук державших его людей и кинулся к подруге. На этот раз отец вовремя оказался на месте.

Скоро молодой хозяин увел жеребца на свой двор. А Михайла остался у нас. В какой-то час на магарыч явилась добрая дюжина мужичков. Пили весь день, весь вечер и всю ночь пили, вроде то был действительно запой, будто бы Карюху и впрямь просватали. А она, удовлетворенная и успокоенная, стояла все у той же привязи, терпеливо ждала, когда в доме нагуляются, выйдут на улицу и подбросят ей кормецу или выведут на выгон против нашего дома, спутают там и дадут попасться самой.

Ничего другого Карюхе сейчас не надо было.

Подгулявшие мужички прихватили малость и следующего дня. Часа через два после своего ухода Михайла притопал уж опохмелиться. С той же целью — часом, может, только позже — припожаловали и все остальные участники вчерашней пирушки.

И опять в центре внимания отца и матери был вечно хмельной и насмешливый Михайла, опять главные почести приходились на его долю. Он и принимал их как должное, как само собой разумеющееся. Увеличивая и без того безмерную радость моего отца, он неумоимо перечислял все действительные и мнимые достоинства своего скакуна, а чтобы побудить, поощрить «кумушку» в смысле ее щедрот по части самогона, еще и уверял, что от его Огонька кобылки жеребят только маток, и непременно, разумеется, в отца и мастью и статью. Он

даже поклялся, что вернет нам три червонца, коли получится не так, как он говорит.

— Зачем ты, Михайла!.. Разве мы не верим тебе?.. Спаси тебя Христос, век не забудем твоей доброты, — твердила мать, вынимая из-под пола очередную четверть приговоренного было на продажу самогона.

Отец никак не хотел уступать ей и, в свою очередь, изливал душу:

— Ты, кум, почаще заходи к нам. Для кого другого, а для тебя завсегда найдется стакан-другой...

Мне, наблюдавшему за всем этим с печки (она была моим постоянным прибежищем не только зимою, но и во все остальные времена года), казалось: мужикам должно быть обидно, что на них не обращалось ни малейшего внимания, но это не так. Явившиеся на магарыч, а затем на похмелку непрощеными, они и не могли рассчитывать на особое радушие хозяев. Не выгнали их — и на том спасибо.

«Карюхин день», как ни старалась мать укоротить его, все-таки растянулся на целую неделю. Что же касается Михайлы, то он почел не только за правило, но и за полное свое право отныне приходить к нам всякую субботу, чтобы «пропустить маленькую после баньки». Согласитесь сами, осчастлививший вас однажды человек имел основание пользоваться у вас вот хоть таким малым благорасположением.

Моих родителей — мать в первую очередь — несколько смущало одно, может, не столько уж важное обстоятельство: кум Михайла редко жаловал к нам один, ему непременно требовался компаньон сверх моего отца, который по нужде превратился в собутыльника своего благодетеля. Чаще всего Михайла прихватывал с собой Спирьку, тощего мужичка и законченного пьянчужку. Поскольку тот, о ком идет речь, и по сию пору жив, я не называю его собственным именем, а употребляю вымышленное.

Самой собой разумеется, что на зыбкой почве пьянки у Спирьки бывало множество прелюбопытных приключений. Однажды я случайно оказался свидетелем одного из них.

Поутру, завидя, что кооперация открылась, — а он, похоже, ждал такой минуты с нетерпением великим, — Спирька напрямик устремился туда. Содрогаясь всем

своим претощим телом и клацая зубами (тот случай, когда говорят: зуб на зуб не попадает), он долго негнушится, плохо подчиняющимся пальцами рьлся где-то за ошкурком ватных своих штанов, тех самых, которые были замечательны хотя бы уже тем, что не снимались ни при какой погоде: ни при сорокаградусном морозе, ни при сорокаградусной жаре. Держались они неуверенно, потому как тазобедренная кость их владельца была чрезвычайно узка. Так вот, отыскал он за ошкурком рублевку, с трудом, соблюдая величайшие предосторожности (не ровен час, порвется), расправил, распрямил ее, до того потертую и полинявшую, что банковские знаки едва проступали, и положил на прилавок перед продавцом:

— Максим, налей, милый...

Продавец наполнил стакан на три четверти — сколько полагалось. Не надеясь на одну правую руку, Спирька поспешил к ней на помощь левою. Схватил стакан в пригоршню и, не теряя ни мгновения, понес ко рту. Поторопился ли он, спутал ли дыхание, но вылитая в глотку водка мощною струей вырвалась обратно и оказалась на полу. Охваченный бурным приступом кашля, обливаясь слезами, Спирька силился что-то сказать, но не мог. Когда оправился малость от потрясения, хорошенько, властью выругался и подвел под свое несчастье социальную базу:

— Глянь, Максим... вот ведь Михайлу, поди, не вырвет, потому как богатый! А на нас, бедняков, разрази нас всех громом, все шишки валятся!..

Слова Спирькины были справедливы, очевидно, в отношении кого угодно из малоимущих, но только не его самого, ибо при любом социальном устройстве Спирька оставался бы на грани полного обнищания, поскольку пропивал не только последние деньжонки, но и все, что можно было умыкнуть из дому и продать. Винить в этом какую-либо власть было бы в высшей степени несправедливо.

Тем не менее Спирькино лицо было несчастным. Этот ли его вид, горячая ли речь подействовали на продавца, но тот налил — уже в долг, который не мог быть возвращен ни при каких обстоятельствах, — еще стакан и опохмелил беднягу.

Вот этого-то Спирьку и приладилась прихватывать с

собою Михайла, когда направлялся к нам пропустить лампадку. Гостечки — я видел это — с какого-то времени сделались невыносимы для матери, но она не знала, как от них избавиться. Впрочем, знать-то знала, да боялась мужниного гнева. Страдания матери были очевидны, и я решил помочь ей. В разгар очередной попойки, улучив момент, громко, с беспощадной откровенностью мальчишки поставил перед владельцем прекрасного скакуна сколь жестокий, столь же и законный вопрос:

— Дядь Миша, ты что к нам зачистил?

Озадаченный такой дерзкой выходкой, упершись в меня красными, пьяными глазами, тот долго молчал. Отец медленно наливался гневом. Мне казалось со своего НП, что волосы на голове отца поднялись дыбом. Мать на всякий случай осенила себя крестным знаменем.

— Аль надоел? — спросил, в свою очередь, Михайла хриплым, перехваченным смущением голосом.

— Знамо, надоел! — выпалил я.

Гости скоро удалились.

Я, конечно, был выпорот отцом, но дело сделано. Михайла хоть и наведывался к нам, но гораздо реже — один раз в две, а то и в три недели, и притом без Спирьки.

6

Через какое-то время стало определенно ясно, что Карюха «понесла» от чистокровного. И вокруг нее все переменялось. Двор, до того никогда не убираемый, теперь подметался каждое утро, плетни подправлены, крыша над конюшней перекрыта заново, в самой конюшне поставлены новые ясли, пол застилался свежей соломой и всякую ночь сызнава, следили, чтобы туда не зашла ненароком корова, чего доброго. Рыжонка могла зашибить Карюху. Даже в самой нашей избе стало вроде бы посветлее. Мать тщательно побелила печь, обвела печурки голубым, и печь смущенно и радостно заулыбалась, необычайно приветливая. Холщовые наши рубашки и штаны были тщательно постираны, мать сходила в лес, наломала молодого паклёника, отварила его и выкрасила мою новую рубашонку в темно-синий, с фиолетовым оттенком цвет, и я выглядел именинником.

Скандалы в доме неожиданно прекратились, отец не придирался к матери, не только не бил ее, но стал необычайно ласков и предупредителен. Нам велел, чтобы во всем слушались мать, помогали ей по хозяйству.

Карюху запрягали все реже и реже. О кнуте она, кажется, забыла вовсе. Ее баловали, как только могли. Лучший корм шел Карюхе, даже тыква и свекла, которые прежде были привилегией Рыжонки, ибо от такой еды она давала больше молока, теперь отданы были Карюхе, отруби и лучшее — сено тоже ей. Полгода спустя отец запретил нам садиться на Карюху верхом. «Можете надорвать, и Карюха скинет», — строго сказал он. К своему другу мельнику теперь хаживал пешком; в Баланду или еще куда ездил на Буланке, выпрошенной для такой цели у старшего брата. Ежели прежних своих дочерей Карюхе нередко приходилось рожать прямо в борозде, в поле, или в дороге, в оглоблях, то теперь ей был предоставлен как бы уж декретный отпуск — за два месяца до родов вовсе не стали запрягать ни в телегу, ни в соху, ни тем более в плуг. Семья несла на этом немалый урон. Делянка была вспахана и посеяна позже всех на селе, огороды также после того, как отсыпались отцовы братья и могли предоставить своих лошадей нам. А в весеннюю пору для хлебопашца не то что день — миг и тот дорог, это уж известно.

— Ничего, мать. Как-нибудь управимся, а Карюху я запрягать не буду. И вам не велю.

Отец говорил так, а на душе у него было не совсем хорошо. Но когда выходил во двор и видел раздобревшую, толстобрюхую Карюху, опять улыбался, в глазах надолго поселялась веселинка.

Карюха стала неузнаваемой. Это была она и как бы уж не она. Во внешнем ее виде, в осанке, в привычках появилось что-то сановное, барское. Она сделалась капризной. Мать теперь звала ее не иначе как барыня.

— Ешь, барыня, ешь, моя золотая! — говорила мать, принося Карюхе таз с мелко нарубленной свеклой или тыквой.

Барыня, как и полагалось ее сословию, принималась за еду не вдруг: сперва фыркнет недовольно, сердито прижмет уши, покосится на мать черным своим

оком и только потом подхватит мягкими губами небольшой кусочек.

Как-то отец покликнул всех нас во двор. На наших глазах подошел к Карюхе, положил на ее брюхо обе руки и стал слушать. На лице его появилась улыбка, растерянная и неожиданно нежная, и так держалась долго-долго. Потом подходил каждый по очереди и делал то, что делал отец. Под ладонями, где-то совсем близко и волнующе, чуялись могучие толчки, столь резкие и нетерпеливые, что Карюха вздрагивала, и глаза ее глубокие, спокойные, обращались как бы внутрь.

Уходили от Карюхи на цыпочках, будто боялись спугнуть нечто очень робкое и хрупкое.

— Скоро, — с тайственным придыханием вымолвил отец.

— Скоро, — согласилась мать, и на ресницах ее, темных и длинных (ведь она у нас когда-то была красавица!), загорелись счастливые слезинки.

С того дня за Карюхой установили ночное дежурство. Хоть на дворе стоял май, было тепло, но мало ли чего может случиться ночью! Отец принес из амбара «летучую мышь», вычистил, протер хорошенько стекло, вставил новый фитиль, аккуратно, полукругом, обрезал его, налил в банку керосину, или гасу, как зовут у нас на селе, зажег, опробовал, помотал в руках (не тухнет ли от ветра?) и вручил мне, уходящему в конюшню первой сменой.

Не знаю отчего, но я не мог дежурить на полу, мне непременно нужно было какое-то возвышение. Подвесив фонарь на железную занозу, на которую обычно вешалась сбруя (сейчас ее отец убрал из конюшни), сам я вскарабкался на переруб и поудобнее устроился там. Карюха сперва подозрительно следила за моей возней, вздыхала, прижимала уши, а потом успокоилась, принялась от нечего делать шевелить губами в яслях, перебирать сухие зеленые былки. Изредка она вздрагивала всем телом и тихо, сладко постанывала, — так же вот постанывала она, когда я ее купал. Фонарь светил хорошо. Когда же глаза мои освоились, то света хватало даже на то, чтобы видеть, как на правом Карюхином боку время от времени вспухали и пропадали тугие бугорки, словно бы кто толкал ее изнутри

кулаком. Карюха невольно поворачивала шею вправо, мотала куцым хвостом.

В конюшне, кроме меня и Карюхи, были еще разные живые существа. Где-то у самого конька крыши возились в своих соломенных норах воробьи, сонно чулюкали; когда я взбирался на переруб, они, вспугнутые, порхали в темноте, а затем тоже угомонились. В яслях, под объедками сена и соломы, попискивали мыши, охотясь, должно быть, за упавшей туда зернинкой или шелухой от колоба или отрубей. Одному мне пришлось бы хуже, я боялся остаться наедине с темнотой, мне начали бы представляться разные видения, а сейчас нет. К тому ж у меня нашлось подходящее занятие. Я начал придумывать имя жеребенку. В отличие ото всех в семье, я хотел, чтобы это был жеребчик, чтобы он вырос такой же преогромный и красивый, как Огонек дяди Михайлы, чтобы потом к моему отцу приходили и просили жеребца к их лошадям и чтобы мой отец мог куражиться так же, как куражился на нашем подворье Михайла. Назвал бы я жеребца Громобой — и звучно и страшно. А еще мы бы ездили на нем на осеннюю ярмарку в Баланду, и там на скачках Громобой отвоевал бы первый приз, и мы бы возвращались домой победителями, и Колька Поляков, мой друг закадычный, завидовал бы мне и просил бы показать пугач, который я обязательно купил бы на ярмарке.

В мечтах своих я заходил так далеко, что уж помышлял о поездке в самый аж Саратов, до которого было цельных сто верст от нашего села; на Карюхе туда не доедешь и за неделю, а Громобой отомчал бы нас за один день, и мы привезли бы оттуда два калача и круговину колбасы, пахнущую чесноком и перцем.

При мысли о калаче и колбасе на губах моих непроизвольно появлялись слюни, я их слизывал, а они появлялись вновь и вновь, и полон рот был этих слюней, и ничего я не мог с ними поделать.

На смену мне приходил Ленька, бесцеремонно стаскивал за штанину с переруба, отпугивал таким образом сладкие мои грезы.

В следующую ночь я вновь шел на дежурство и давал волю своей фантазии. Карюха, заполнившая раздобревшим, крупным своим телом всю конюшню, спокойно стояла у своих яслей и ничего не знала. Не знала она о том,

сколько разных планов связывалось в нашей семье с новым ее, еще не родившимся детищем. Мать и отец, когда все мы спали, а сестра была на улице, договорились между собой, что выдадут Настеньку не раньше, чем через два года, пускай уж потерпит жених. Подрастет жеребенок, станет лошадь, продадим либо его, либо Карюху, либо обоих вместе, купим молодую, хорошую лошадь для нашего хозяйства, а вырученных от продажи чистокровного двухлетка денег достанет и на то, чтобы справиться Настенькину свадьбу, и на то, чтобы обусть и одеть подыносившихся ребятишек. Если Карюха принесет кобылку не в отца, как всем хотелось, а в себя, то и в этом случае есть неплохой выход: можно продать Карюху, а дочь унаследует ее заботы по нашему двору. Только и всего. Но это на худой конец. Самые большие, далеко идущие планы были связаны с появлением чистокровного, конечно.

7

Пополудни было примечено, что Карюхино вымя как-то сразу увеличилось, налилось молоком, набухло, обрело темно-атласный цвет, упругие соски резко разбежались в стороны, словно бы недовольно отвернулись друг от друга. Карюха пригорюнилась, присмирела и не прикасалась к корму. В течение дня несколько раз ложилась, тяжело, страдальчески отдуваясь. Большие черные глаза ее глубоко, сумеречно светились и были полны беспокойного ожидания. Выпуклости на ее боках переместились, нетерпеливые, мощные толчки изнутри стали чаще.

— Нонче будет, отец, — тихо объявила мать, первой обнаружившая такую перемену.

Какое-то время все молчали, потом забежали, засуетились. Мы, дети, разом выскочили во двор. Только сестра почему-то осталась в горнице, а вскоре и вовсе убежала к подруге, испытывая непонятный озноб во всем теле. Отец куда-то сходил, и через час на нашем подворье оказались дед, дядя Петруха и дядя Пашка. Позднее сбежалась чуть ли не вся родня, хотя отец позвал одного лишь старшего брата и его сына Ивана, недавно окончившего ветеринарные курсы. Строгие, торжественные, они расселись по бревнам и начали припоми-

нать, как Карюха жеребилась в прошлом. Оказалось, что роды у нее всегда проходили легко, разве только с Ласточкой пришлось помучиться. Прижила ее Карюха от жеребца не совсем рядовых кровей. Иван Колесов выпустил как-то на час своего вороного попасться на недавно скошенные и убранные луга, и этого часа Карюхе оказалось вполне достаточно. Никто и не видел, как это и когда произошло.

Жеребиться Карюха начала часу в первом ночи. В конюшне, кроме отца, двоюродного моего брата Ивана да меня на перерубе, никого не было. Карюха лежала, вытягивалась, запрокинув мученически голову, шерсть ее потемнела от пота, большие съеденные, желтоватые зубы плотно сжаты, временами слышался глубокий утробный стон, и в такие минуты я сам напряжинивался, мне самому было больно — я готов был заплакать. Отец мой и брат Иван стояли на коленях, тихо переговаривались. Из слов Ивана я понял, что отец переусердствовал и перекормил Карюху, жеребенок, должно быть, очень большой, излишне упитанный. Воробьи беспокойно чулюкали, мышей и вовсе не было слышно.

— Ну, ну, Карюха, ну, милая! — ласково бормотал отец, когда лошадь вытягивалась струною в родовых мучениях. — Ну, умница...

Лишь к рассвету появились сложенные вместе белые копытца и плотно прижатая к ним странно удлиненная морда. Карюха трудно и часто задыхалась, набираясь сил для решающего мгновения. Видать, она все-таки поторопилась, новое усилие не разрешило тяжкого момента. Умаявшись, лошадь расслабила тело, так что копытца и аспидно-черная мордочка в порванной пелене подались немного назад. Теперь Карюха не спешила. Лежала долго-долго, напряженно ожидая. И вдруг резко мотнула головой, выбросила в стороны задние ноги, напряглась так, что затряслась от шеи до хвоста, и люди не заметили, как жеребенок почти весь оказался на полу. Лишь задние ноги наполовину находились еще в материнской утробе. Карюхе требовалось самое малое усилие, чтобы и этот последний, великий и торжественный акт рождения новой жизни был завершен. Какое-то время — для нас оно показалось вечностью — жеребенок лежал неподвижно. «Не мертвый ли?» — подумалось каждому из троих. Отец оглушенный ужасным

предположением, оцепенел, тупо глядел то на Карюху, то на новорожденного, затем, опомнившись, принялся тор-мошить оскальзывающимися пальцами Карюхино де-тище, сдирать с мордочки зеленоватую слизь. Карюха, по-видимому, решила, что хозяин занялся не своим де-лом, поднялась на дрожащие ноги, ревниво оттолкнула отца резким рывком морды и стала облизывать жере-бенка. От ее ли теплого дыхания, от прикосновения ли шершавого материнского языка жеребенок зашевелился, засучил невероятно длинными голенастыми ногами и поднял столь же несоразмерно длинную морду.

— Жи-во-о-ой! — заорал я что было сил.

— Что горланишь? Марш в избу! — сердито прика-зал отец, и меня как ветром сдунуло.

Команда была, в общем-то, излишней. Мне и без того не терпелось побежать домой и первым принести радостную весть.

— Карюха ожеребилась! Жеребенок живой! — за-кричал я еще в сенях, ибо не смог уже удерживать да-лее в себе этот клич.

Санька, Ленька и мать собрались было выбежать во двор, но я остановил их: отец не велел пока появляться во дворе никому.

Вышли лишь тогда, когда из-за Чаадаевской горы вывалился огромный, пламенно-красный диск солнца. За плетнем — в огороде, должно быть, — в кустах кры-жовника или смородины заливался соловей; взлетевший на крышу конюшни большой и красный, как солнце, пе-тух громогласно возвещал миру о чрезвычайном собы-тии, случившемся на нашем дворе ранним этим утром. Единственное окно, выходящее у нашей избы во двор, встретившись с первым, добравшимся до него солнеч-ным лучом, заулыбалось в ответ, засмеялось, замерца-ло покотившимися по нему прозрачными капельками росы.

Неведомо, непостижимо как, но весть о происшедшем в одну минуту обежала все село, и скоро к нашему до-му потянулись люди. Опять пришли дед, дядя Пашка, даже тетка Феня, его жена; дяди-Петрухина семья при-шла со своего хутора в полном составе — те, которым полагалось бы ползать под столом или качаться в зыб-ке, были принесены на руках. Припожаловал и благоде-

тель, на этот раз опять со Спирькой. Приковывал на хромой ноге и волчатник Сергей Звонарев, чуть опосля и дядя Максим с теткой Ориной. Отец был рад гостям, мать же сердито поджимала губы, опасалась дурного глаза, который мог оказаться у кого-либо из прибывших.

Карюху вывели на самое светлое, солнечное место двора. Рядом с нею, плотно прижимаясь к материнскому брюху, был жеребенок. Вздых невольного восхищения вырвался у людей. Все подивились прежде всего тому, что спина новорожденного была почти вровень со спиною его матери — так высок он был. Тело, однако, короткое, и вообще был он очень уж неуклюж, некрасив, как гадкий утенок. Знатоки же видели в этой неуклюжести несомненные признаки высокой породы. Отца немного пугало то, что жеребенок был черен, как грач, в то время как его родитель был серым, в крупное с голубым отливом яблоко.

— Отчего бы это? — спросил он Михайлу.

Тот посмеялся над папанькой, как смеются над глупым ребенком.

— Ничегошеньки ты, кум, не смыслишь в лошадином деле, — снисходительно начал он. — Погляди, какой масти жеребенок станет через три-четыре месяца. Ну, что я тебе говорил? Матку ведь уродила твоя Карюха от моего Огонька! Что? А? — Михайло ликовал, отец смеялся, донельзя счастливый и гордый.

Гордой и счастливой была и Карюха. Она знала, какое великое дело сделала, и теперь стояла посреди двора, в потоке солнечного света, давала людям налюбоваться и собою, и особенно, конечно, своей дочерью, несомненной красавицей. Шелковистая, бархатно-мягкая и нежная гривка жеребенка стремительно стекала по крутой длинной шее прямо на широкую спинку, избегающую на такую же крутую, раздвоенную часть трепетного, как бы все время переливающегося тела. Пушистый, как у зверька, хвост был пока что куцеват, но уже по-лошадиному мотался туда-сюда, как маятник. Брюшко поджарое и кучерявилось еще не совсем просохшей и темной шерсткой. Продолговатые ноздри пульсировали, мигая красными точками, из них разымчиво выпархивал парок. Карюха осторожно, но настойчиво подталкивала жеребенка к своим соскам, тот неумело тыкался под брюхо,

но длинная мордочка просовывалась мимо. Кажется, с десятого уж раза все получилось, как надо. Ухвативши губами набрякший молозивом сосок, высунув кончик красного языка, жеребенок засопел, захлебнулся, оторвался на миг, а затем торопливо ухватился вновь и, наслаждаясь, часто-часто завилал коротким хвостом.

— Так, так ее! — с радостным придыханием причитал отец.

Все остальные умиленно смеялись, забыв в счастливую эту минуту про все свои житейские заботы и тревоги.

— Как же назовете свою красавицу? — спросил Михайла.

— В самом деле, как? — в свою очередь спросил отец. — Ну, кто придумает лучшее имя?

Таким образом, тут же был объявлен своего рода конкурс на лучшее имя Карюхиной дочери — будущей рысачки. Были тут и Зорька, поскольку жеребенок родился на заре, и Звездочка, поскольку на лбу его едва проступало крохотное белое пятнышко, и Голубка, поскольку рано или поздно цвет его станет голубовато-серым.

— А не назвать ли Майкой, а? Родилась ведь в мае, а?

Теперь уж я не помню, кому принадлежала эта мысль, но она всем понравилась. Так и нарекли нашу красавицу — Майка. После этого с чувством честно и до конца исполненного долга все направились в избу — к столу. Во дворе остался один я. Теперь без всяких помех я мог сколько угодно и с любых точек глядеть на Майку и предполагал даже рискнуть и погладить ее по крутой шее. Я знал, что не уйду со двора до самой ночи.

За столом расселись, как во время крестин.

— С новым у вас счастьем! — провозгласил непьющий дед Михаил и только потрогал наполненный и для него стакан самогону.

— С новым счастьем! С новым счастьем! — послышалось отовсюду.

Особенно торжествен и величав, если только позволяла быть величавым его невзрачная фигурка, был Спирька. Он держался так, словно был главным виновником счастливого исхода давно задуманного предпри-

ятия. Михайла был снисходительно сдержан и тихо важен, как в день свидания Карюхи с его Огоньком. Кто-то, а он-то уж был совершенно уверен, что только ему одному наша семья обязана таким великим праздником. Немного странно держался обычно веселый и добродушный дядя Петруха. Не шумел, не верховодил за столом, как в прежние времена, а притих, пришипился, грустно задумавшись. Чувствовал, что завидует брату, и это было для него и ново и гадко, и, главное, он ничего не мог поделать с собою.

Рождение Майки разом отодвинуло его куда-то далеко от среднего брата, ибо они теперь были уже неравны: Петр Михайлович с большой своей семьей оставался с одной Буланкой, от которой вряд ли можно ожидать потомства. У Николая Михайловича через каких-нибудь полтора года будет еще одна лошадь — и какая лошадь! Незримая черта — «кто, сколько и чего имеет», — которая прежде и в прямом смысле была невидимой, вдруг стала угрожающе расширяться и сделалась физически ощутимой до жутковатого озноба.

Поймав подымающегося в себе зверя, дядя Петруха попробовал укротить его; сделав над собою усилие, он закричал:

— С новым счастьем тебя, братуха! И тебя, Фроська!

Но Петр Михайлович явно запоздал со своей здравницей. Да и голос его был ненатурален, неестествен и фальшив. Должно быть, он и сам понял это и конфузливо примолк. Его все-таки поддержали, но недружными, разрозненными, несогласованными и также ненатуральными выкриками. Смутившись и чтобы скрыть это смущение перед людьми, дядя Петруха одним непостижимым рывком вылил в себя полный стакан самогону — никто не успел даже проследить, как это произошло, а ведь ему пришлось для этого по-птичьему запрокинуть голову, и так высоко, что нечесаный, клочковатый клинышек жиденькой бороды глянул под прямым углом в потолок, и только уж потом влить в себя милую его сердцу чарку.

Павел, тот держался спокойнее и ровнее. Но и на его лице что-то не виделось большой радости.

Майка ничего про то не знала. Убедившись, что длинные, неуклюжие ноги нисколько не мешают ей держаться на земле твердо и основательно, первое, что она сделала,

так это высоко подбросила зад, вскинула выше себя копыта и затем повторила опасный этот трюк, словно на «бис», еще раз три кряду. Опасным он был для меня, поскольку к тому времени не только Майка осваивалась с новою для нее обстановкой, но и я: подкрадывался к жеребенку все ближе и ближе, чтобы непременно дотронуться до него рукою. Во дворе было солнечно по-прежнему, на душе у меня тоже. Мне казалось, что в тот день у всех людей на свете должно быть так же хорошо на сердце, как у меня. И мне нестерпимо, до зуда, захотелось поцеловать Карюху и ее сказочно прекрасную дочь в губы. Благоразумие, однако, взяло верх, способствовало этому и недвусмысленное поведение Майки, и я отошел от нее на почтительное расстояние. У Майки копыта крохотные, но они были все-таки лошадиного происхождения...

Первые несколько часов Майка не отходила от матери ни на шаг. Часто толкалась длинной мордой под ее брюхо. Овладев одним соском, Майка вроде бы уж и не видела, что рядом находится другой. Иногда она натянулась на него ноздрю, но сосок был сух и излишне упруг, и Майка не захватывала его языком. Карюха видела, что это непорядок, и поворачивалась так, чтобы представить дочери набрякший, чуть поламывающий, ноющий сосок. Наконец молоко было выцежено и из него. Благодарная Карюха ласково коснулась мордой куцега хвоста Майки, перекинула тело с правой задней ноги на левую и тихо задремала.

Майка же приступила к открытию мира. А он был велик и бесконечно разнообразен. Если бы жеребенок понимал человеческий язык, я охотно предложил бы ему свои услуги в качестве экскурсовода. Сейчас Майка подняла голову и смотрела на высокий плетень, где только что угнездилось странное существо, увенчанное розовым гребешком, а под гребешком у него торчало что-то длинное и горбатое. Существо встряхнулось, выгнуло шею и издало пронзительно громкий и очень испугавший Майку крик. Мне хотелось успокоить Майку, сказать ей, что это наш кочет Петька, он хоть и задирист и грозен, но только для соседских петухов, а жеребенку пугаться его нечего. И свинья, которая под тем же плетнем выкопала себе канаву и зарылась в ней больше чем наполовину, также не столь страшна, как могло показаться Майке.

Хрюканье ее не означает угрозы кому бы то ни было, а просто свинье приятно лежать в прохладе, и урчит она от великого удовольствия — стало быть, пребывает в самом добром расположении духа. А маленькие серые комочки, копошащиеся у ног Майки, есть не что иное, как воробышки. Сейчас они выклевают то, что не смогло перевариться в Карюхином брюхе, — зернинки овса, проса или ячменя. Было бы вовсе глупо бояться их. А Майка пугливо косилась в их сторону, перебирала тонкими ногами и всхрапывала, прижимаясь поплотнее к матери. И вот сейчас вздрогнула она понапрасну, поскольку ничего страшного не произойдет от того, что неподалеку от Петьки на плетень уселась невесть откуда взявшаяся сорока. Если кому и надо остерегаться, так это моей матери, поскольку хитрая стрекотунья определенно нацеливалась на сплетенное из соломы куриное гнездо, где с минуты на минуту должно раздаться оглашенное кудахтанье, возвещавшее о том, что снесено яйцо. Сорока — большая охотница до куриных яиц. На Майку она устремилась плутовским своим зраком постольку, поскольку еще вчера ничего подобного не видала на нашем подворье, и теперь подумывала, не усложнит ли это новое существо задуманное ею предприятие. Меня, который только и мог реально угрожать ей, сорока, судя по всему, не заметила, поскольку я был прикрыт Карюхой и ее дочерью. Но не объяснишь же всего этого Майке, которая дивилась всему и всего боялась. Еще совсем совсем недавно ничего этого не было, она была одна, окруженная теплом и глубоким мраком. Откуда же взялось все это?

Майка вроде бы думала минуту-другую, потом энергично вскинула голову и в радостном недоумении звонко и сочно заржала прямо на солнце. Карюха очнулась и тихо, успокаивающе откликнулась ей, как бы говоря: «Не волнуйся, глупая, все идет так, как надо».

Майка успокоилась, замолела мягким, шелковистобархатным хвостом и, как бы вспомнив что-то крайне срочное и неотложное, заторопилась под материно брюхо. Ткнулась мордой так сильно, что Карюха недовольно прижала уши и приподняла немного правую ногу — совсем как большая овца.

В избе события развивались так, как им и полагалось развиваться. Под столом перекатывалась опорож-

ненная четверть. Теперь она всем мешала, и ее с неосознанным презрением отталкивали ногами: известное дело, любая посудина оценивается настолько, насколько она полна. На столе, посередине, на красном, стало быть, месте, уже водружена такая же четверть, с той лишь существенной разницей, что последняя была только что начата. Говоря о том о сем, мужички не забывали ласкать ее посветлевшими, омаслившимися очами. Будь и эта пустой, она оказалась бы по соседству с первой, а оживление за столом резко пошло бы на убыль. К тому времени, правда, число участников застолья сильно передело. Первым, как всегда, вышел из строя Спирька. Для того чтобы оказаться на полу, ему понадобился всего лишь один полный стакан. Теперь он лежал бочком, ловко подстелив под голову обе сложенные лодочкой руки, а по морщинам его лица, откуда-то от полуоткрытых губ, счастливейшая улыбка погнала в разные стороны светлые лучики.

— Готов, — только и было сказано в его сторону.

Удалились домой дед Михаил, дядя Пашка и дядя Петруха. С ними все, кто принадлежал к их семьям. Оставались братья Звонаревы, Сергей и Максим, глуховатый церковный сторож Иван Морозов, посуливший еще на материной свадьбе десяток молодых, да так и не исполнивший до сей поры своего великодушного намерения. При случае мать напоминала ему про то, Иван виновато ахал и охал, обещался завтра же «принести целый мешок этих куренок», но почему-то не приносил. После такого напоминания на какое-то время он вовсе не появлялся в нашем доме, но держался не больше недели, потом приходил опять и опять обещал куренок. Сейчас мать уже не говорила ему о них. Охваченная семейной нашей радостью, пожалуй, более других, она была добра к гостям до крайности. Пожалела даже Спирьку — осторожно приподняла его голову и подложила подушку. Для оставшихся подала третью сковороду картошки, поджаренной на свином сале. И вновь предпочтение Михайле: сковорода поставлена перед самым его носом, так, что другим мужикам приходилось далеко тянуться рукою, чтобы подцепить кусочек сала либо картошки. Михайла не догадывался отодвинуть от себя жаркое, чтоб оно было доступным всей компании.

В то время когда братья Звонаревы свое участие в

застолье ограничили молчливо-терпеливым ожиданием очередной чарки, отец и Михайла, уткнувшись друг в друга лбами, воздвигали фантастические планы, так или иначе связанные с рождением Майки. Только и слышалось: «Вот подрастет Майка...» Оказывается, в степном селении Турки у Михайлы был хороший друг-приятель, а у приятеля — рысак, какого по всему Нижне-Волжскому краю не сыщешь. И вот когда подрастет Майка, Михайла уговорит своего турковского друга, чтобы тот за сходственную цену подпустил своего Лысого к Майке. И тогда-то явится потомство невиданной красоты и цены. И ежели не будет колхозов (о них на ту пору поговаривали все чаще и все настойчивее), отец выйдет в настоящие люди — так уж уверял Михайла. План его был прост, а потому и заманчив: Карюху, конечно, отец продаст, поскольку стара, купит в помощь Майке доброго меринка монгольской породы, выносливого и так же, как Карюха, неприхотливого в кормах, Майка останется производителем: ее дело — ежегодно приносить по одному породистому жеребенку, а дело моего отца — продавать их за высокую цену богатым людям на Баландинской ярмарке.

— Заживешь ты, Микола, не хуже купца!

— Да брось ты, Михайла, куда уж нам, — скромничал отец, а у самого скулы покраснели, глаза еще больше увлажнились, рука неуверенно держала стакан, лоб покрылся испариной, рыжие волосы прилипли к нему мокрыми кисточками.

У матери, стоявшей у печки со сковородником, дрожали губы.

Во дворе Майка продолжала осваиваться с обстановкой. Ни петух, ни свинья, зарывшаяся в сырую землю под плетнем, ни сорока, которую я все время отпугивал, ни воробьи уж не пугали ее. Решив, очевидно, что бояться ей нечего, Майка обежала раза два вокруг матери, затем круги ее стали расширяться, и вот она уже понеслась по двору, высоко выбрасывая задние и передние ноги. Карюха встревоженно следила за ней и, видя, что Майка определенно увлеклась и это может кончиться большими неприятностями для нее (налетит с разбегу на кол), громко и повелительно заржала.

Майка послушно вернулась к матери и сейчас же ткнулась мордой под ее брюхо.

Порядок был таким образом восстановлен.

Я так же, как и Карюха, глаз не сводил с Майки, готовый в любой миг поднять тревогу, если б жеребенку что-либо угрожало.

8

Недели через две Карюху опять поставили в оглобли. Она вошла в них более чем неохотно. Знала, что так оно и будет, но не ожидала, что это произойдет так скоро. Когда отец подошел к ней с ее стареньким, обшарпанным хомутом, она задрала морду как можно выше. Карюха и прежде поступала так, когда ее запрягали, помнила по тем разам, что это не избавит ее от упряжки, и все-таки задирала голову. Раньше хозяин стукнул бы кулаком по ее ноздрям, но теперь не сделал этого, а только выругался тихо, про себя, подпрыгнул и с трудом протолкнул хомут в утолщенном у глазниц месте. Майка вертелась рядом, мешала отцу затянуть супонь, он шлепал ее ладонью по широкому, раздвоенному заду, отгонял.

— Папанька, возьми меня с собой, — попросил я.

— Полезай в телегу.

Отец попытался было отеснить Майку от Карюхи и загнать в конюшню. Но это ему не удалось. Тогда он махнул рукой, сел на телегу рядом со мною, и мы поехали. Майка путалась под ногами матери, то забегала вперед, то жалась к оглоблям так, что того и гляди, угодит под колеса. Отец потихоньку подхлестывал ее кнутом, Майка испуганно шарахалась в сторону или забегала опять вперед, под морду Карюхи. В конце концов она приноровилась и скакала рядом с Карюхой по правую сторону, не мешая матери исполнять ее обязанности.

Мы ехали смотреть хлеба. Было воскресенье. Утро туманное, безветренное. Взошедшее солнце не скоро сорвало с земли белесое покрывало росы. Было прохладно, дышалось хорошо, вольготно — и нам и Карюхе с Майкой. Перед Майкой открывались удивительные вещи. Она впервые увидела, что мир огромен и великолепен и что, кроме нее и ее матери, в мире этом обитает множество других существ. Только сейчас Карюхе пришлось остановиться и пропустить мимо нас коровье стадо; Майке при этом пришлось натерпеться страху:

коровы шли так близко, что страшные их рога едва не задевали Майку. Потом темною рекою проплыло стадо овец. На самой горе возвышалось что-то серое и неуклюже махало такими же серыми крыльями — ветряная мельница. Но Майка не знала, что мельница — это мельница, коровы и есть коровы, овцы и есть овцы. Охваченная любопытством, она глядела во все стороны и совсем забыла, что ей пора бы уж пососать, ткнуться в теплое материно вымя. В одном месте Майка с ужасом увидела прямо под своими ногами что-то пестрое и живое. Это пестрое взмахнуло крыльями, жестко захлопало ими и полетело прямо на восходящее солнце.

— Это же стрепет, дурочка. Чего ж ты испугалась так! — ласково пробормотал отец, наклонившись и пошлепав Майкину спину.

У первой нашей делянки остановились. Отец отпустил чересседельник, ослабил подпругу, и Карюха сейчас же потянулась к пырею, седоватому от росы. Майка решила последовать ее примеру, но у нее поначалу ничего не получалось. Ноги оказались слишком длинными, и Майка не смогла дотянуться мордой до травы. В конце концов она сообразила, что надо пошире расставить передние ноги, и тогда все получится. Мне было до слез смешно глядеть, как судорожными рывками морда жеребенка наклонялась все ниже и ниже и как она ткнулась наконец в траву и не знала, что с нею делать, и как задние, еще более длинные и неуклюжие ее ноги, напряжинившись, дрожали струною.

Когда тронулись дальше, большой переполох наделал зайчонок. Его вынесла нелегкая от межи прямо на дорогу так неожиданно, что не только Майка перепугалась насмерть, но и мы с отцом вздрогнули, а потом, смеясь над своим страхом и пытаясь таким образом скрыть, затушевать друг перед другом неловкость, заорали, заулюлюкали вослед серому, который с перепугу не догадался даже свернуть в сторону и скрыться во ржи, а так и чесал прямо перед нами полевой дорожкой. У Дубового оврага Карюха вдруг остановилась и, вспрыдывая ушами и всхрапывая, долго глядела куда-то вправо от нас. Отец погонял ее, а Карюха не слушалась. Майка терлась о хомут, прижималась к материнной груди. Отец не утерпел и ударил Карюху кнутом —

только после этого она тронулась, но уши ее по-прежнему сторожко вспрядывали. За Дубовым оврагом лошадь успокоилась, жеребенок тоже, и дальнейший осмотр хлебов продолжался почти без всяких приключений. Правда, то в одном, то в другом месте дорогу перебегали пестрые суслики, но их не пугалась даже Майка: после стрепета и зайчонка могли разве ее испугать суслики?

Папанька мой пребывал сейчас в том редком состоянии душевного равновесия и благорасположения, когда его можно было попросить о чем угодно, и он не откажет. Я попросил вожжи. Он передал их мне охотно, а сам принялся сооружать козью ножку таких размеров, чтоб ее хватило до самого дома. Затянувшись, он выпустил через ноздри, кольцо за кольцом, предлинную синеватую цепочку дыма и запел песню, какую всегда пел на поле:

Отец мой был привольный пахарь,
А я работал вместе с ним.

Песнь была длинная до бесконечности, и ее также хватило бы до самого села. Но отец оборвал ее где-то на половине, потому что навстречу ехал мужик и впереди него бежала большая собака. Отец знал, что она наверняка бросится на Майку, та от страха поскачет в сторону, собака, ободренная этим, устремится за нею, будет хватать Майку за хвост, за ноги и, чего доброго, еще покалечит. Я видел, как лицо моего отца побледнело, по скулам ворохнулись желваки. Приказав мне крепче держать вожжи, он спрыгнул с телеги и побежал навстречу незнакомому мужику. Остановил его на полпути, там они о чем-то договорились. Я видел, как мужик свернул влево, отъехал подальше от дороги и остановился. Собака, не заметив жеребенка, убежала еще дальше. Мы миновали опасное место и уж под гору рысью помчались в направлении села.

Майка скакала рядом с Карюхой, и скок ее был широк, свободен и размашист — так, что она еще сдерживала себя, чтобы не оказаться впереди матери.

Дома нас встретила новость. Приходили сваты и предупредили, что ждать могут лишь до покрова, а не до будущей осени, как хотел отец.

— Что им так приспичило? — спросил отец, сердито глядя на мать, будто она была в заговоре со сватами.— Не продам же я теперь вот Майку? Они что, с ума посходили все? Где Настенька?

Но сестра наша вовремя убралась из дому: боялась отцова гнева. Под горячую руку он мог бы и выпороть невесту. А что могла поделывать Настенька? Вчерашней ночью жених сказал ей, что ждать больше не может, мать и отец торопят его, сами они уже старые и им к уборочной нужна помощница: вспахали и посеяли они страсть как много.

— Вот подрастет Майка... — начала было сестра.

Но он нетерпеливо и зло перебил ее.

— Майка, Майка!.. Я не на Майке, чай, женюсь, а на тебе!..

Настенька прикусила губу, чтобы не расплакаться, глянула на него и еще больше испугалась: в темных его глазах — ночью они были чернее черного — полыхали недобрые огоньки.

— Что с тобою? — спросила она.

— Да я ничего... Тятка с мамкой торопят. Жизни от них никакой нету...

— Ну, миленький, ну... уговори их как-нибудь... хочешь, я попрошу папаньку...

А теперь вот и не решилась попросить — убежала. Отец, однако, сам догадался сходить к будущим сватам. Пропадал он там долго, до полуночи. Вернулся под хмельком и совсем веселый.

— Уговорил. Погодят до будущей осени, — сообщил матери.

— Слава тебе, заступница, пресвятая наша богородица! — зашептала мать. — Успеет хоть какое-никакое приданое припасть, опять же постель. Сундук-то вон пустой. Ни подушек, ни одеяла, ни простыней — ничегошеньки нету, срам-то какой. Одна, скажут, дочь, и ту не смогли справиться...

— Ну, ты... разошлась! Нишкни у меня, а то!..

Нужда брала нашу семью в жестокие клещи. Неизбежно придет зима, а на всех троих сыновей приходились одни валенки и один овчинный пиджак со множеством разного рода и размера заплат на нем. Ленька и Санька школу забросили совсем. Ленька, правда, сделал это даже с удовольствием. Наука явно

не находила с ним общего языка. Особенно не давались ему стихи, а их надо было заучивать наизусть, а потом декламировать перед всем классом. Твердит, твердит, бывало, сердешный, зубрит до звона в висках, до помрачения в глазах, а придет в школу — вылетят, улетучатся куда-то все до единой строчки. Два или три года Ленька задержался в одном классе — кажется, четвертом. Я уж догнал его, начали ходить в школу вместе. Ленька указал мне парту позади себя, с тем чтобы при случае смог я незаметно подсказать ему забытый стих. Начнет декламировать и сейчас же остановится. Энергичными жестами посылает свои SOS, даже кулак показывает мне за своей спиной: чего же, мол, ты молчишь? Давай выручай! Я шептал одну строку, но это было ему как мертвому припарки. Ленька повторял за мною, не расслышав как следует, безбожно презирал текст и, остановленный учителем, умолкал до конца урока. В классном журнале против его имени ставился «неуд», грустный, вечный и привязчивый, как судьба. Не удивительно поэтому, что Ленька растался со школой без малейшего сожаления. Потому-то ему пришлось против шерсти слова отца, сказанные в последние дни, когда мы все собрались за обеденным столом:

— Ничего. Вот вырастет Майка, окрепнем малость, оправимся, и Ленька опять пойдет в школу.

Все самые смелые и радужные упования в нашей семье так или иначе связывались с Майкой. Выходит, что на ее долю выпадало сделать всех нас счастливыми. Сестра должна выйти замуж за любимого, Ленька закончить учебу, Санька сделаться, наконец, обладателем собственных сапог и собственного пиджака, я — ходить в школу, не опасаясь, что завтра придется ее оставить, мать не будет вздыхать денно и ночью, не зная, во что нас всех обуть и одеть, чем напоить, накормить. Отцу не придется подыматься среди ночи, чтобы погасить тяжкие думы злейшим, оглушающим дымом махорки (он готовил ее сам; когда рубил в деревянном корытце, все мы, чихая и кашляя, выбегали на улицу), не нужно будет унижаться перед старшим и младшим братьями, всякий раз прося у них в помощь Карюхе Буланку или Ласточку.

Майка между тем росла, резвилась, радовалась земному бытию и не подозревала, что давно уже, еще

задолго до своего рождения, стала главным действующим лицом в медленно разворачивающейся человеческой драме.

9

И Карюха вроде догадывалась, какое чудо произвела на свет. То барское, сановное, что нами было примечено в ней вскоре после свидания с Огоньком, теперь развилось до крайней степени. Она уж не довольствовалась луговой или лесной травой — ей подавай душистый степной пырей да вперемешку с клевером или люцерной. Ела она медленно, капризно прижмурив глаза и недовольно вздыхая. Когда насыпали овса, не выражала звонким, приветливым ржанием бурной радости, как делала прежде, а припадала к нему вялыми, снисходительными губами. Карюхе явно не нравилось, что мы часто подходим к ее дочери-аристократке, и она с удовольствием перекусала бы нас всех, только боялась последствий, которые трудно предугадать. Ежели по этой причине в отношении нас, людей, Карюха принуждена была сохранять сдержанность, то в отношении прочих обитателей двора — коровы, овец, свиньи, собаки — была недвусмысленно строга. Крайне немилая ей была наша чушка по кличке Хавронья — особа нахальная и бесцеремонная. Мало того что по вечерам она приладилась таскать из конюшни для своего гайна свежую солому, Хавронья еще пыталась завязать близкие отношения с Майкой. Подхалимски хрюкая, она подходила к жеребенку, с трудом подымала рыло, вознамериваясь почесать влажным, резиновой упругости пяточком Майкино брюхо. Так как конечная цель Хавроньи не была известна Карюхе, последняя считала своим долгом принять предупредительные, упреждающие меры. Осторожно, незаметно для Хавроньи поворачивалась к ней задом и давала ей такого пинка, что бедная Хавронья катилась кубарем, оглашая двор пронзительным, сверлящим душу визгом. Корова и овцы предусмотрительно держались подальше от Карюхи и Майки. Что же касается лохматого пса Жулика, то, проявив как-то излишнее любопытство, он незамедлительно познакомился с Карюхиным копытом, и от знакомства этого у Жулика сохранились не самые лучшие воспоминания. Наука,

однако, пошла на пользу Жулику. Теперь и он старался находиться на почтительном расстоянии от Майки и ее капризной матери.

Днем Карюху выводили погостить на только что скошенные луга. Для Майки это было большим праздником. Там на нее накатывало какое-то безумие. Черной молнией носилась она по траве и была похожа на большую птицу, не видно было, как ее длинные ноги касались земли, — думалось, что Майка летела вместе с огромным зеленым ковром-самолетом. Порою она убежала так далеко, что Карюха подымала голову и спокойно следила за дочерью. А когда Майка уж очень увлекалась беготней, Карюха подзывала ее залихватистым, требовательным и строгим ржанием. Майка приближалась к матери, и та делала ей своего рода внушение: слегка покусывала, будто трепля, Майкины уши.

Кто-нибудь из нас двоих, я или Санька, непременно находился в это время при Карюхе, а точнее сказать, при Майке. Это было весьма ответственное поручение, и беспечный, легкомысленный Ленька, вполне естественно, был освобожден от него: он собрал бы на лугах друзей-приятелей и затеял какую-либо веселую возню, а про жеребенка забыл бы вовсе. Санька и я считались в семье исполнительными и дисциплинированными. Отец и мать внушали Леньке, чтобы он брал с нас пример.

Не знаю, как Санька, а я втайне завидовал среднему брату: веселый Ленька живет на белом свете, как птица вольная — куда захочет, туда и полетит. Его, правда, за это частенько секли, но взамен он получал свободу — высшее вознаграждение, о котором мог бы мечтать человек!

Леньку на селе любили. Друзей у него было больше, чем у кого бы то ни было. В последнее время экзекуции, которым из профилактических соображений подвергали Леньку, резко увеличились в числе. Дело в том, что связавшись с компанией великовозрастных парней, Ленька к немалому количеству разных своих пороков прибавил еще один, может быть, самый опасный, а значит, и наказуемый в первую очередь: он пристрастился к картежной игре. Играл не в дурака, не в козла, не в другие какие-то безобидные игры, а в очко, то есть на деньги. Как и следовало ожидать, к добру это не привело.

Для того чтобы играть в деньги, сначала надо их иметь. А чтобы иметь, надобно где-то и каким-то образом добыть. На честный способ добычи рассчитывать не приходилось (попроси у отца — немедленно высечет), значит, оставался способ нечестный.

Однажды Ленька подсмотрел, что вечером в хлев к нам вместе с нашими овцами вбежала приبلудная, чужая. Ночью с одним из своих сподвижников по картежным батальням Ленька открыл хлев; изловили там овцу, уволокли на зады, где их ждала подготовленная загодя подвода. Утром мать выпускала овец в стадо. По обыкновению, пересчитывала. Мы слышали всполошный ее вскрик:

— Батюшки, а где же ярчонка-то? Чужую вижу, а своей нету!.. Батюшки родимые, неужто украли?!

Ленька, вернувшись перед рассветом, спал на повесте, на душистом, чуть подсохшем сенце сном великого праведника. Светлые волосы его, немного вьющиеся, разбросались по сену, ноги также раскиданы, а рубаша задралась к самому подбородку — поза самая свободная, непринужденная. Кто бы мог подумать, глядя на спящего этого добра молодца, что еще несколько часов тому назад он занимался вещами весьма предосудительного свойства? В семье один я догадывался, что исчезновение овцы, должно быть, связано с картежной игрой Леньки, но я любил Леньку и не мог ни с кем поделиться своею догадкой. А совесть свою я успокаивал тем, что в конце концов Ленька умыкнул свою, а не чужую овцу. Можно ли это назвать воровством? Тайна, однако, на то и тайна, чтобы о ней в конце концов узнали. Был изобличен и Ленька. Порку на этот раз он получил преотменную. Она ли вразумила его или то, что вскоре Ленька вступил в комсомол и целиком отдался новой страсти — заделался постоянным и притом наиактивнейшим участником самодеятельного драматического кружка при нардоме, изображал на сцене героев гражданской войны, — но про карты он забыл. Отец хоть и не был в восторге от нового увлечения сына, но оно все-таки было куда лучше, чем первое. Тем не менее охрану Майки не доверял Леньке по-прежнему.

Нам с Санькой доверял. Как я ни старался, но именно при моем дежурстве случилось такое, от чего семья

наша надолго погрузилась в какое-то полуомертвевшее сумеречное состояние, а отец чуть было не наложил на себя руки.

Резвясь на лугах, Майка не заметила в траве выбоины, провалилась в нее левой передней ногой и с полного ходу кувыркнулась через голову. Потрясенный всем этим, я не мог стронуться с места, сердце мое заколотилось так-то уж часто и испуганно, что я по-рыбьи ловил воздух и думал, что вот сейчас задохнусь и помру. А когда пришел в себя, Майка уже поднялась, но левую переднюю ногу держала на весу. Что было духу я помчался домой, увидел отца во дворе починяющим телегу и сквозь слезы, которые катились из глаз моих несдержимо, закричал:

— Папанька, миленький! Родненький мой папанька!.. Я нисколечко не виноватый!.. Папа-нька!!!

Отец подскочил ко мне и начал тормошить:

— Что, что случилось, говори же скорее!..

— Папанюшка-а-а-а... Май... Майка ногу сломала!

— Врешь, подлец!!! Убью поганца!..

Отец побагровел, лицо у него перекошилось. Он забежал, засуетился по двору, не зная, что делать. Забыл даже дать мне затрещину. Потом со стоном побежал со двора. Я же забрался на чердак, забился там в темный угол, укрылся сухими, прошлогодними, сильно пахнувшими дубовыми венниками. Слышал позже, как отворились ворота и как в них тяжело вошла Карюха. Потом до меня доносились голоса, то тревожные, то вроде бы тихие, успокаивающие. Я просидел до утра, не откликнулся на отчаянные крики матери: «Мишка! Мишка-а-а!.. Пресвятая богородица, ну где же он!.. Не ровен час, угодил в колодец!.. Ну, милосердная, за что же нам такая напасть?!»

Обнаружил меня Санька — он знал все мои укромные места. Стащил с подволоки и впихнул в избу. Я юркнул на печку и уж оттуда увидел отца, сидящего за столом вместе с двоюродным моим братом Иваном. Нюхая ржаную корочку, Иван говорил спокойным, умиротворяющим голосом:

— Ничего, дядя Коля, не беспокойся. Перелому нет, потянула маненько жилу ваша Майка. С недельку похромает, а потом все и пройдет.

Всю неделю, пока Майка хромала, мы жили молча-

ливо и отчужденно. За столом почти не разговаривали, только мать с отцом перекидывались короткими и сухими замечаниями. Настенька на какое-то время не ходила даже на гулянья, не виделась со своим милым и, похоже, очень страдала.

На седьмой день после происшествия я проснулся оттого, что солнечный луч, просунувшись сквозь стекло, уткнулся мне прямо в нос и сильно зашевелил. Еще не зная в точности, что меня могло ожидать в то утро, я тем не менее почувствовал, что ожидало меня нечто удивительное, важное и обязательно радостное. Подгоняемый нетерпеливым желанием узнать про то немедленно, сейчас вот, сию минуту, я метнулся к окну, выходящему во двор, и увидел Майку. Она как бы принимала солнечные ванны. Скидывалась высоко на задних ногах, потом переносила все свое гибкое, прекрасное тело на передние, затем ложилась, кувыркалась и лягалась, будто стбивалась от назойливых солнечных лучей. Потом вскочила на ноги, отряхнулась и поскакала по двору, делая большие и правильные круги, словно кто-то невидимый стоял посреди двора и, погоняя, держал жеребенка на длинном, также невидимом поводке. Главное же состояло в том, что Майка нисколько не хромала! С этою-то вестью я вскочил в кухню и заорал:

— Майка выздоровела! Она не хромает!

Я не видел, какое действие произвели мои слова, ибо на то у меня не было времени. Словно вытолкнутый кем-то очень сильным, я в один миг оказался во дворе. За мною выбежали и все остальные. Встали веселым, улыбающимся рядом у сеней. Мать плакала. При горе, при радости ли великой она на всякий случай всегда плакала. Майка словно бы поняла, что люди вышли полюбоваться ею, наддала, помчалась, поскакала по двору пуше, то и дело взлягивая и издавая ослепительное звонкое, озорное ржание.

Карюха стояла у телеги и перебирала губами привянувшую, теплую от упавшего на нее солнышка травку. Судя по тому, как она сладко жмурилась на свою дочь, как ровно носила боками, Карюха была счастлива. Только Майка, как и прежде, не знала, не ведала про то, что подарила в это утро и матери своей, и людям, стоявшим сейчас у сеней, может быть, самый лучший день в их жизни, скупой на радости.

Поскольку на душе у всех было светло, просторно и солнечно, то и захотелось праздника. И теперь лишь вспомнили, что завтра троица — после пасхи, пожалуй, самый красный день. В суть его вникали немногие и уж, во всяком случае, не мы, дети, хотя и были главными и добровольными участниками его, как, впрочем, и большинства других праздников. В троицын день на ребятишек возлагалась веселая обязанность — натаскать из лесу ветвей и травы, а взрослые украсят ими избу снаружи и изнутри. Еще накануне по всем дорогам и тропам, ведущим из лесу, в направлении села катятся зеленые шары — это дети волокут покрытые густою, молодой листвою ветви пакленика, самого клена, липы, ясеня, осины, вяза, дуба, черемухи, калины. Лес как бы сам шел к людям в гости. Лесные запахи самых разных и немислимых оттенков, соединившись, создавали упоительный букет, который мог бы удовлетворить самого строгого, самого утонченного знатока. Сладостно-терпкий животворящий дух на целую неделю поселялся в крестьянских избах. Первые два дня он был малость тяжеловат, влажен, затем, по мере того как увядали травы и листья, он становился парным, настойным, дурманящим, так что слегка кружилась голова. А когда листья высохнут, а трава делается похожей на молодое сено, запах станет эфирнолегким и особенно душистым — зельзя было надыхаться им.

На троицу в наш дом впервые заявился жених. Сестра увидала его еще из окна и выдворила нас из горницы. При этом сама она вспыхнула так, что мочки ее ушей сделались похожими на большие капли крови. Я, пятась к двери, успел все-таки заметить это, а также то, что сестра наша вмиг преобразилась, стала красивой, непохожей и странно чужой. Последнее ощущение было неожиданно и неприятно мне. Я не нашел ничего лучшего, как показать сестре язык. В ответ получил шлепка по спине. В кухне чуть было не ткнулся в живот человека, для которого должен скоро стать шурином. Смутившись, отскочил в сторону и только уж потом поднял на него глаза. Видать, нелегко далось парню решение отправиться прямо на дом к своей невесте: в ту пору в нашем селе этого не делали, не принято было.

Ежели у его возлюбленной горели одни лишь мочки ушей, то у него жарким полымем полыхало все лицо. Мать наша поспешила на выручку:

— Проходи, проходи, голубок, в горницу!.. А ты что уставился, лупоглазый? Марш на улицу!

Я не замедлил воспользоваться этой командой, ибо она была как нельзя кстати: мне и самому было стыдно оставаться в доме. Я убежал к своему дружку Кольке Полякову, а с ним вместе — в их сад, самый никудышный из всех возможных садов, — надобно быть великим патриотом, чтобы внушить другим людям, что лучшего сада на свете и быть не может. Колька убедил нас, его приятелей, в этом. Вот и сейчас, насилу продравшись сквозь частый и колючий терновник, мы взобрались на сучкастую яблоню определенно дикого происхождения, ибо она одаривала людей ежегодно обилием прекислых и пружестких плодов. Должно быть, и Сократ не принимал своего яда с таким спокойствием, как мы поедали яблоки с Колькиной яблони: скулы сворачивало набок, из глаз градом сыпались слезы.

Сейчас яблоки только что завязались, от нечего делать мы решили пофилософствовать.

— Скажи, Колька, добежишь ты до края света ай нет? — спрашивал я. (Однажды я сделал такую попытку, побежал к горизонту, бежал, бежал, но дальше Березового пруда не убежал, страшно стало.)

— А ты хлеба дашь?

— Откель же я тебе возьму? Много, поди, надо?

— Две краюхи, — живо ответил Колька.

— Вот подрастет Майка... — начал было я с привычных для всей нашей семьи слов, но Кольку это не устраивало: он был голоден уже сейчас.

— Ждать не могу, — решительно объявил он и предложил в свою очередь: — Хочешь, я прямо-таки отсюда прыгну на землю? А?

— Не прыгнешь!

— Прыгну!

— Не прыгнешь!

— Прыгну! Спорим?

— Спорим! А на что?

— На кусок хлеба. Ладно?

— Ладно, — согласился я не совсем уверенно: ку-

сок хлеба лежал в моем кармане, и Колька, видать, нацелился на него.

Едва условившись, он махнул вниз. И сейчас же заорал благим матом. Я спрыгнул с яблони. Колька лежал на спине и дрыгал ногою: из пятки цевкою свистала густая черная кровь. От страха я чуть было не пустился наутек. Но тревога за товарища взяла верх. Прижав палец к тому месту, откуда била кровь, я ощутил жесткую головку шипа от сухого терновника. Благо ногти мы никогда не стригли (откусывали, когда они уж слишком были длинны), я подхватил колючку, точно клещами, и единым рывком выдернул ее из пятки. Колька взревел пуще, но я ему показал виновницу его страданий, и он постепенно успокоился. Честно заслуженный и торжественно врученный ему мною кусок хлеба вернул приятелю великолепное расположение духа. Он даже мне отщипнул малую толику.

— Ешь и ты, — сказал великодушно.

Съели мигом. Корочку Колька упрятал в штаны.

— Для сестренки, — сообщил доверительно.

Немного помолчали, почему-то погрустнев.

Потом Колька спросил:

— А дашь покататься на Майке?

— Она же еще жеребенок, — сказал я.

— Когда подрастет, чай.

— Тогда дам.

— А у нас нету лошади, — сказал Колька.

— Я знаю. И я обязательно дам тебе покататься на Майке.

Решив так, мы опять повеселели, мир раздвинулся для нас, стал опять просторен, и мы уж не знали, есть ли у него край и можно ли дойти до края света.

11

К осени принарядилась не Настенька, а наша Майка. К первому снегу она окончательно сменила темные свои одежды на светло-серые, в крупную крапинку, с сизовато-голубым отливом, и не Настенька, а Майка по наряду своему была похожа на невесту. Теперь на добрую четверть она была выше Карюхи, как-то сразу и много потерявшей в виду породистой дочери. Прежде не бросающаяся в глаза людям Карюхина неуклюжесть стала

вдруг очевидную для всех. И большое, отвислое пузо; и короткие, искривленные работой ноги; и жиденькая, обшарпанная метелка хвоста; и такая же реденькая, куцая грива, из которой как я ни старался, но все-таки не смог выдрать репы; и расплуснутые, с большими трещинами копыта; и короткая шея, оттянутая тяжелой головой книзу; и, наконец, сама голова с глубокими провалами надглазий и неряшливо оттопыренной губой — все это рядом с точеным, словно бы изваянным телом Майки выглядело удручающе некрасиво. Но, как всякая мать, все отдавшая своему детищу, сама-то Карюха едва ли была удручена.

Все чаще на нашем подворье появлялся дед. Иногда он не заходил в избу — постоит посередь двора, полюбуется юной рысачкой, похлопает по крутой лебединой шее, по высокому раздвоенному заду, поласкает всю добрыми своими глазами и тихо удалится. Карюха при этом не стронется с места, не прижмет ревниво ушей, не скосит злых глаз в сторону бывшего своего и старого хозяина. Она и прежде дружила с ним: дед никогда не бил ее, даже кричал не громко и не сердито, когда они отправлялись с извозом в Саратов. Теперь ей и вовсе было радостно оттого, что он ласкает Майку и явно радуется, что умница Карюха уродила этакое чудо.

А вот дядя Петруха и дядя Пашка перестали бывать у нас. Может, потому, что много своих забот появилось после раздела, может, еще почему-либо, откуда нам знать? Отец навещал братьев, а они его нет. Приходил от них всегда чем-то встревоженный, сумрачно-молчаливый, и ровное настроение возвращалось к нему лишь после того, как побывает возле Майки. Теперь большую часть дня отец проводил на дворе, починял плетни, калитку, ворота, которые уже успели съесть мою смазку и вновь невыносимо скрипели, когда их закрываешь. Когда в нашем доме случались девичьи посиделки, отец не ложился спать до самого утра, был все время на улице, за каждым проходящим и уходящим закрывал ворота. На другой день ругал дочь, говорил ей, чтоб эти посиделки были последними, что ему надоело с вечера до рассвета коченеть из-за ее хахалей, — он употреблял последнее обидное слово во множественном числе, хотя отлично знал, что «хэхаль» у Настеньки один, который к тому же был ее нареченный. Настенька молчала,

прикусив нижнюю губу, и думала о том, чтобы поскорее прошла эта зима проклятая, потом лето и наступила осень, на которую определена свадьба. Со вчерашней вечерки это ее желание сделалось особенно сильным и нетерпеливым: раза два или три она перехватила короткий, как молния, и такой же жгучий и тревожный взгляд одной из своих подруг, брошенный в сторону ее, Настенькиного, жениха, и тот, сваренный этим взглядом, сидел тихий и виновато-неприкаянный. У Настеньки больно заныло внутри, сердце испугалось и застучало часто-часто, и она готова была кинуться на подругу и повыдирать ей глаза. Отцу сказала коротко и зло:

— Ну и пускай не приходят. Больно мне нужно!

С того дня, прихватив вязанье или прялку, она сама уходила куда-то до самого почти утра, и отец опять не мог заснуть, опасаясь того, как бы дочь, возвратясь, не забыла замкнуть ворота. Спустив босые ноги с кровати, подолгу курил, глухо кашлял, отхаркиваясь прямо на пол. Собака могла бы дать сигнал, но ее не было: переманил к себе старший брат, и теперь Жулик стерег его двор. Через каждые два часа, накинув на плечи полушубок и сунув ноги в валенки, отец выходил проведать Карюху и Майку. Минут десять вел с ними беседу. Он говорил, а Карюха с Майкой слушали. С холодных небес на них смотрели далекие звезды и тоже вроде бы слушали, молчаливо-загадочные. Нередко в поздний такой и студеный час раздавался петушинный крик, внезапный и оглушительно громкий в ночной тиши, так что Майка вздрагивала и высоко вскидывала голову, а отец, матюкнувшись потихоньку, уходил в избу.

Провожал Настеньку до дому ее жених. У ворот они останавливались, и надолго, потому что ни он, ни она не решались сделать первый шаг, чтобы расстаться до следующего вечера. Он был и нежеланным, тот шаг, и очень нелегким, потому как каждый из них боялся обидеть друг друга. «Уйду вот сейчас, а он осерчает, скажет: разлюбила», — думает Настенька. «Как же я скажу «ступай, уже поздно», ежели я этого не хочу, а она уйдет и решит про себя, что я нарочно проводил ее поскорее, а это ведь неправда, я не хочу, чтобы она ушла», — думает он и стискивает ее руку в своей так сильно, что Настенька ойкает и целует его в жесткую холодную щеку. Так они стоят и час и другой, иногда

и три часа подряд стоят, пока не озябнут вовсе и пока от сеней не послышится предупреждающе грозное покашливание нашего отца.

Настенька быстрой тенью мелькала мимо него, бегом и неслышно ныряла в горницу, раздевалась и с головой укрывалась одеялом. До нас, спящих на полу под маминой шубой, едва слышно доносилось ее частое и легкое дыхание.

Недавно отец придумал для себя новое занятие, которое нам, его сыновьям, было забавным, но которое определенно не нравилось Майке. Во-первых, приспела пора отваживать ее от Карюхиного вымени: Майка явно злоупотребляла любовью своей матери, прикладывалась к ее соскам так часто, что Карюха тощала на глазах у всех. Великовозрастной баловнице молока требовалось много, а где его возьмет Карюха в зимнюю-то пору, когда на корма хозяин делается скуп и прижимист? Из шкуры ежа, заготовленной еще в конце лета, отец смастерил для Майки намордник, и теперь, когда Майка совалась под брюхо матери, та, больно уколовшись, взлягивала, кусала Майку, уходила от нее подальше. Майка поначалу не понимала, что же случилось с матерью, делала вторую и третью попытку «прилабуниться» к Карюхиным титькам, но та еще злее отгоняла ее от себя.

Через каких-нибудь пять-шесть дней Майка как бы уж совсем забыла про молоко, а Карюха стала вновь понемногу набирать в теле. Отец решил сделать следующий шаг—познакомить поближе Майку с уздой и поводком. Узда была ненастоящая, смастерил ее отец из веревок, из них же связал длиннющий поводок. После намордника из ежовины узда не испугала жеребенка, зато первое прикосновение кнута было для него и диким и непонятным. Майка встрепенулась, взмыла вверх, упала на спину, вскочила, взвилась на задних ногах еще и еще, отчаянно закрутила головой, заржала звонко, испуганно и жалобно. Карюха, уведенная на такой случай в конюшню и запертая там, отозвалась тревожно-негодующим, беспокойным криком—слышно было, как она мечется по конюшне, толкается, бьет копытами в дверь. Но ничто не могло помочь Майке. Обожженная кнутом сызнова, она рванулась с места и поскакала по двору, фонтаном выбросив серебристый хвост.

— Так, так, Майка! — весело заорал отец. — Так, умица!.. Давно бы так! А ну, наддай ищо-о-о! Ищо, Маюшка-а-а!

Подхлестнутая этим воплем пуще, чем кнутом, Майка не скакала, а летела по воздуху — во всяком случае, мы, глазающие и орущие вместе с отцом, не видели, чтобы ее тонкие длинные ноги касались земли. Может, оттого не видели, что земля была покрыта молодым и белым снегом, над которым рысачка летела, как над облаком. Облако из снежной пыли клубилось под ее копытами, быстро отставало, не успевая ни рассеяться, ни опуститься вниз, так как бег Майкин по кругу все ускорялся и сделался под конец уже бешеным. Лишь на двадцатом кольце она стала уставать, полет ее становился тяжелее, медленнее, ноги с вязким хрустом вонзались в истоптанный, потемневший вдруг снег. Отец уже не махал кнутом, не кричал; примолкли и мы, ожидая, что же будет дальше. Сделав еще два или три круга, Майка остановилась. Набирая повод, отец подтянул ее к себе, поцеловал в дымящиеся, горячие ноздри, пошлепал по мокрой, потемневшей шее и медленно повел по двору.

Майка покорно побрела за хозяином.

К саям с кормами она подошла по-взрослому. Ела спокойно, размеренно и деловито. Карюха, выпущенная из конюшни, какое-то время с удивлением глядела на Майку, которая, словно бы обидевшись, не обращала на мать никакого внимания. Карюха тем не менее принялась слизывать с Майки первый трудовой ее пот — он был солон, терпок, остро пахуч и очень знаком Карюхе, будто то был ее собственный пот.

Так-то и закончилась для Майки сладкая пора детства.

В избе за обеденным столом семья долго обсуждала это событие. Все сделались необычайно говорливы, хотя за едой в крестьянских семьях «баить» и не полагалось. Но сидеть тихо в тот день никто не мог. И говорили все сразу — шумно хвалили Майку, ее явно рысачьи качества, ее длинные ноги, Майкино сильное сердце, которое уже через одну-две минуты после сумасшедшей скачки стало стучать так, как стучало всегда — ровно и глухо.

— Добрая будет кобылка! — сказал, подытоживая,

отец, а сам уж искал веселыми глазами все понимающие и потому уклоняющиеся глаза матери.

— Ну, ну, мать... по такому случаю...

— Да разве мне жалко?.. Придут, окаянные. Они ж, как псы, ее, поганую, за версту чуют...

Мать подошла к печке, опустилась на колени, отдернула занавеску и вытащила из подпола четверть, седую от пыли. Отец нетерпеливо кричал и потирал руки. Никто не глянул в окошко и потому не видел, как к нашему дому, поспешая, приближались две шибко знакомые фигуры: впереди — Михайла, позади, чуть приотстав, вприпрыжку, поддерживая одной рукой ватные штаны, — Спирька.

Какой леший подсказал им ту минуту, но они явились тютелька в тютельку, и мать поняла, что над ее четвертью вновь нависла смертельная опасность. И оттого, что поделать уж ничего нельзя было — четверть не спрячешь, гости обметают у порога снег с валяных сапог, — она глубоко и горестно вздохнула, прикрыла зачем-то лицо платком и отошла к печке, которая дышала на окно широко раскрытым горячим ртом. Окно насмешливо глядело на мать, по нему бежали веселые слезинки.

Отец, однако, делал вид, что донельзя рад дорогим гостям, и не совсем ласково давал нам, ребятишкам, понять, чтобы мы убрались из-за стола и освободили место для Михайлы со Спирькою.

12

Опять «гуляли» до позднего вечера. А вечером, проводив гостей, отец взобрался на печку и мгновенно заснул. Позже рассказывал, что снилась ему прабабушка Настасья, умершая в двадцать первом еще году, она тормозила его и говорила очень памятно: «Догуляешься ты, Миколай, до большой беды, попомни мое слово!» Отец просыпался и припоминал, где он и что с ним. Сообразив где, вновь засыпал и вновь видел прабабушку Настасью. Потом будто ему чудилось ржание Карюхи — далекое и слабое. Усталый, замутненный мозг пытался зацепиться за этот звук, но не смог, другие нечеткие звуки и видения закрывали, приглушали его. А за окном была стужа и ветрено. В печной трубе, при-

крытой неплотно, постанывал ветер, тот самый, что выдают за домового. Свесившаяся с крыши соломинка, свистя, расчеркивала так и сяк замерзшее стекло. В доме спали все. Мы, братья, как всегда, на полу, на соломе, прикрытые шубой матери. Как всегда, Ленька и Санька, лежавшие справа и слева от меня, стаскивали друг с друга эту шубу, год от года как бы укорачивающуюся. Я был посредине и потому не страдал от яростного, молчаливого состязания старших братьев. В конце концов успокоились и они, поворачиваясь ко мне то спиной, то пузом. Мать перемыла посуду, подмела пол в кухне, напоила телянку, недавно появившегося на свет, немного попряла, потом и она затихла, прилегла на широкой лавке прямо под образами и заснула.

Где-то за полночь вернулась с посиделок сестра. Она не сразу вошла в избу, долго «прощалась» со своим милым. На этот раз, поскольку на улице все сильнее и сильнее разыгрывалась метель, он вошел вслед за нею во двор. Отыскалось для них затишье у сеней, в уголке. Присели на низеньком приступке, прижались поплотнее друг к дружке, забыли про все на свете: и про стужу, и про поздний час, и про строгого нашего батьку, который мог выйти в любую минуту и турнуть их, и про Карюху с Майкой, которые стояли у саней посередине двора и чего-то там хрумкали.

Всему, однако, бывает конец. Распрощались. Настенька окунулась в черноту сеней, захлопнула за собою дверь, щелкнула задвижкой. Хмельной, все еще слыша теплоту ее губ и ее дыхания, он быстро пошагал со двора. Где тут ему помнить про ворота?! Он и не заметил, что ворота остались позади. Угнув голову, испытывая ни с чем не сравнимую радость борьбы молодого, упруго сильного тела с непогодой, со снежной замятью, он то ли кричал, то ли напевал какую-то песнь без слов, и снежные колючки, встретившись с горячим, как раскаленная плита, лицом, мгновенно таяли и не могли остудить, погасить невидимого пламени.

Карюха будто только и ждала такого часу. Северный ветер доносил до нее с гумен запахи сена, овсяной соломы, мякины, сухой березки. Отчего бы и не полакомиться всем этим, коль подвернулся подходящий случай? Негромко поманив Майку, Карюха решительно направилась к воротам, отбросила их мордой подальше

в сторону и вышла на улицу. Она хорошо знала, куда надо пойти. Позавчера еще заметила початый стожок у ближайшей риги — это от него навевало сейчас пряным, дразнящим запашком.

Майка, оказавшись на воле, дважды обежала вокруг матери, радостно взвизгнула и помчалась к гумнам. Голос ее сейчас же был принят на лесной окраине, и там, смешиваясь с поземкою, заметались, замельтешили живые тени. Стремительно перемещаясь, они вплотную приблизились к гумнам и замерли там в ожидании.

Сигнал был дан лишь тогда, когда Карюха и Майка, прильнув к стожку, принялись мирно и спокойно выдергивать из него по прядке сена и неспешно пережевывать.

Силы стаи были распределены с невероятной быстротою. Вожак уже находился на заснеженной белой папахе стога, четыре сильных зверя заняли позицию позади лошадей, в неглубокой, наполовину засыпанной снегом канаве, — вожак и эти четверо должны были атаковать молодую; два волка оставались в засаде, а еще двум поручалась Карюха — ее надобно было изолировать, отвлечь от дочери. После того как расстановка сил была завершена, последовал второй сигнал, поданный матерым. Звонко лязгнув клыками, сам он прыгнул на спину жеребенку, в ту же секунду три волка ухватили за хвост, а один вцепился в шею. Майка кинулась от стога, заржала сдавленно. Три пары мощных когтистых лап упирались в снег, пахали его — поутру все мы видели эту длинную борозду, прочерченную вглубь до самой земли, а в длину метров на пятьдесят. Карюха кинулась было на помощь, призывно и сполошно заржала, но на нее тоже навалилось четверо. Майка, напрягаясь из всех сил, тащила за собой волков. При этом один висел у нее на шее, а вожак, точно наездник, сидел на спине, вонзив клыки в холку. Видать, по его же сигналу волки выпустили хвост из своих зубов. Не ожидавшая этого Майка споткнулась, упала в снег, и на том борьба ее окончилась. Из распоротого в одно мгновение горла и брюха на жутко белый снег рекою хлынула освобожденная кровь...

Поскольку главная цель была достигнута, Карюху оставили в покое. Искусанная, она несколько раз подбегала к нашему дому, но никто не вышел, не поспешил

ей на помощь. Потом-то кое-кто из нас признавался, что слышал ее ржание, да не придал ему никакого значения: Карюха могла просить еды или питья, в таких случаях к ней не всегда выходят, рассудив: «Ничего не случится, подождет утра».

Узнав о беде, отец впал в беспамятство, мать принялась хлопотать возле него, сестра, которая первой поняла, отчего произошло такое, спряталась за голландкой и тряслась там, точно в лихорадке. Мы, братья, побежали на гумны. У крайней риги стоял ее хозяин, поправлял порушенный ночью стожок. Завидя нас, сказал хмуро:

— Не уберегли рысачку... Эх вы, хозяйвы!..

Вокруг гумна, на пространстве до полуверсты, можно было отчетливо видеть следы разыгравшейся ночной драмы. Но нам было не до того. Мы сразу же увидели Майку — вернее сказать, то, что осталось от Майки. Остались же шкура, порванная во многих местах, да голова, да серебристый хвост, чуть приметный на белом, местами покрапленном кровью полотне снега, да красные, похожие на свежие обручи ребра, да длинные ноги с маленькими отполированными копытами...

Потрясенные этим зрелищем, мы сейчас же вернулись домой, ибо понимали, что самое страшное может произойти там. И мы не ошиблись. Пришедший в себя отец быстро сообразил, по чьей вине случилась катастрофа, и с бешеным ревом устремился в переднюю. Мать — за ним. Она успела первой добежать до Настеньки, потому как знала, где та укрывалась. Мы еще на улице услышали душераздирающий вопль женщин и ругань отца, до того жуткую, что описать ее попросту немислимо. Отец хлестал и мать и Настеньку ремнем с тяжелой медной пряжкой, тем самым ремнем, который сохранился у него от солдатчины, и в лице у него не было ни кровинки. Втроем мы все-таки оттащили его, связали веревкой, уложили в кровать. К вечеру он тихо попросил:

— Развяжите меня.

Санька и Ленька развязали. Свесив ноги с кровати, опустив низко голову, отец долго сидел недвижно. Мы не знали, о чем он думал тогда, а думал он вот о чем: «Не тот ли матерый задрал Майку, которого я не убил там, у Дальнего переезда?» И еще он думал о том, что все кончено, все зашло в тупик и нет никакого просвета.

И самое лучшее, что он может сейчас сделать, так взять вот эту веревку...

Он поднял с пола веревку и вышел во двор, где, поджав пораненную ногу, понуро стояла Карюха. Прошел мимо нее и направился в конюшню. Не торопясь, приладил веревку к перерубу, с которого прошлой весной я наблюдал за жеребой Карюхой. Сделал петлю, опробовал ее, подтянулся раз и другой руками, убедился, что достаточно крепка. Однако следующего, последнего шага сделать не успел: помешал я. Почуввав неладное, подталкиваемый тревогой, я выскочил во двор и, не увидя там отца, почему-то сразу же устремился в конюшню. Там-то я и заорал так, что меня услышали в избе:

— Папанька, не надаааа!!!

С неделю мы не отходили от отца. Дежурили возле него по очереди. Сестра куда-то исчезла. Мать сказала: уехала наша Настенька в какой-то далекий город к каким-то далеким родственникам. Жених ее запил с горя и с горя же, наверное, скоро женился на Настенькиной подруге, может быть, на той, к которой Настенька тайно ревновала. Карюха тихо хворала. Приходили дед, отцовы братья, утешали. Отец молчал. Один лишь раз по его исхудавшему и сильно состарившемуся лицу чуть заметной тенью мелькнуло что-то вроде оживления — это когда Михайла, пришедший тоже посочувствовать нашему горю, сообщил мимоходом:

— Тебе-то что горевать, Миколай?.. Ты, чай, бедняк, скоро в колхоз затешишься... Уполномоченный, говорят, днями нагрянет из району... А каково мне? Жеребца отберут, меня окулачат — и крышка!..

— Какой еще колхоз? — вяло и будто безразлично спросил отец.

— Вроде не знаешь?! — осерчал Михайла. — Но ты не радуйся. Тебе тоже будет несладко. Скажут мужики: нарощно стравил волкам рысачку, чтоб в артель не отдавать. И тоды доказывай, что...

Михайла быстро ушел. А последние его слова словно бы пригнули отцову голову до самого пола. Но так он сидел недолго. Вышел во двор, походил возле Карюхи, вернулся в избу, прихватил ножницы, карболки и

опять вышел. Выстриг тщательно возле раны шерсть у Карюхи, смазал незажившую рану карболкой, плотно перевязал мешковиной. Встал впереди кобылы, долго глядел в ее сумеречные глаза, порывисто обнял шею и, всхлипнув, хрипло вымолвил:

— Ничего, ничего, Карюха, мы еще того... мы, знаешь...

Северный ветер, дувший целую неделю, уступил вдруг место западному. Скоро по небу поплыли низкие, набрякшие влагою тучи, из них полетел на землю лохматый, мягкий снег. Он крупными белыми пятнами падал на Карюху, отец глядел на нее сквозь опущенные снегом ресницы, свет дробился, и в призрачном этом свете, облепленная белым, Карюха молодела на его глазах и была странно и удивительно похожей на Майку. И опять с губ отца сорвалось несвязное:

— Ничего, милая... Мы еще того... мы еще..

1967 г., с. Монастырское
Саратовской области

ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВА

Начну, казалось бы, издалека...

Дело было на фронте, под Ленинградом, весной 42-го года. В короткий час досуга двое батальонных комиссаров — поэт Илья Авраменко и я — разговорились о том, как отразит войну наша литература и какие новые силы даст литературе сражающийся против фашизма советский народ.

Уже тогда было ясно, что многие профессиональные писатели сроднились с армией, флотом, авиацией, уже были созданы первые замечательные произведения о великом народном подвиге, — они были одновременно и обещаниями будущих книг, пьес, фильмов.

Но раздумывая о грядущем развитии нашей литературы, мы были полны уверенности, что в литературу придут новые писатели из самой военной среды, что сегодняшние военкоры фронтовой печати и сотрудники дивизионных и армейских газет выработаются со временем в талантливых литераторов.

Мы верили в новое пополнение литературы — в приход людей, обогащенных суровым боевым опытом, закаленных духовно в горниле войны. И мы не ошиблись.

Новое пополнение пришло вскоре после окончания войны, вско-

ре после победы. Мы узнали стихи С. Гудзенко, С. Наровчатова, А. Недогонова, Е. Винокурова, А. Межирова и многих других поэтов. Мы познакомились с новыми талантливыми прозаиками. И среди них — с автором этой книги и многих других книг, с Михаилом Алексеевым.

Кто же он — Михаил Николаевич Алексеев? Какова его биография?

Крестьянский сын, коммунист, солдат, потом—офицер, потом— писатель.

Михаил Алексеев родился пятьдесят лет назад, в 1918 году, в селе Монастырском Саратовской области. С 1938 по 1955 год служил в рядах Советской Армии. В годы Великой Отечественной войны прошел дорогой победных боев от Сталинграда до Вены. С окончанием войны начал он профессиональную литературную работу. Отдал дань боевой журналистской деятельности, был на редакционной работе. А к началу пятидесятых годов выступил со своей первой большой книгой — романом «Солдаты», отзывчиво встреченным читателем и критикой.

В 1957 году М. Алексеев окончил Высшие литературные курсы Союза писателей. И в том же году вышла в свет его новая книга — повесть «Наследники». За нею последовали повесть в новеллах «Дивизионка» (1959), роман «Вишневый омут» (1961), повесть в новеллах «Хлеб — имя существительное» (1963), повесть «Карюха» (1967).

Писал и печатал М. Алексеев и рассказы, очерки, публицистические и литературно-критические статьи. В 1966 году опубликовал он очерковую «Повесть о друзьях-непоседах».

В последнее время писатель вернулся вновь к редакционной работе — он является главным редактором журнала «Москва».

Вот, пожалуй, основные сведения о жизненном пути Михаила Алексеева, то, что характеризует его биографию.

«Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак...» — эти слова принадлежат Владимиру Маяковскому. Можно сказать, что заключенное в них требование с лихвой оправдали многие литераторы того поколения, к которому принадлежит Михаил Алексеев, — те из них, что прошагали военными дорогами от стен российских, укра-

инских, белорусских городов до самого сердца Европы, неся человечеству избавление от преступной власти гитлеризма.

Михаил Алексеев — весь от жизни. И — весь для жизни. Он очень современный писатель. Даже когда он обращается к истории, он видит ее глазами передового человека пятидесятых и шестидесятых годов. И темы его кровно связаны с жизнью, изведенной им самим. Эти темы можно коротко определить следующим образом: дела и люди нашей армии, дела и люди нашей деревни.

Некогда, в самом начале девяностых годов, А. П. Чехов писал А. С. Суворину: «Если я врач, то мне нужны больные и больница: если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке... Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита — это не жизнь».

Для Михаила Алексеева немислима жизнь без родной природы, без народа, без теснейшей связи со всем тем, что образует понятие Отечества, без интересов общественных и политических. Родные места, в которых прошло его детство, непрестанно влекут его к себе. И недаром под иными его книгами мы видим помету: село Монастырское. Этот писатель любит странствия, любит находиться в гуще народа. И как же много в его произведениях живых и прекрасных свидетельств этой живой и прекрасной связи писателя с народом! Они и в цепком внимании к сочному народному слову, к поэтической образности народной речи. Они и в чудесных пейзажах, навеянных встречами с саратовской деревней или брянскими лесами, — в тех поэтичных описаниях лесов и полей, озер и рек, восхода солнца над Вишневым омутом или осеннего заката, всей этой таинственной и прекрасной жизни природы, которую так чувствует и так любит Михаил Алексеев. И с особой силой выражаются эти свидетельства в том остро социальном отношении к жизни и людям, которое так характерно для этого писателя.

Михаил Алексеев — писатель глубоко революционный по мировоззрению и мироотношению. Он очень эмоциональный художник. Его эмоция может выражаться в весьма сдержанных, нарочито

«обузанных» формах, но она всегда остается глубоким, чистым и сильным чувством. Его искусство не знает жизни как холодно фиксируемой реальности — оно не терпит описательности. Для писателя родной советской деревни, для писателя родной Советской Армии всякое изображение жизни — это акт сопереживания. Для Михаила Алексеева показанная жизнь — это люди и события, это жизнь продуманная и прочувствованная. Можно сказать, что эпиграф к роману «Вишневый омут»:

О чем не подумал — про то не расскажешь;
О чем не поплакал — про то не споешь, —

мог бы быть поставлен в качестве эпиграфа над всем творчеством М. Алексева.

Высокая эмоциональность таланта Михаила Алексева придает его прозе особое, поэтическое содержание. Формально М. Алексей — прозаик. Для меня же (и, смею думать, для многих читателей) он поэт — поэт в прозе. Этот художник не только несет в себе то богатое и многозвучное чувство поэзии, которое выражается в лирическом отношении к жизни, но он обладает способностью открывать поэтическое в самой жизни.

Вспоминается одно из гениальных определений Белинского, в котором поэтический характер творчества связывается с гармонией мысли и чувства художника, с искусством проникновения в жизнь. Белинский писал: *«Поэзия есть творческое воспроизведение действительности как возможности... Чтобы уметь изображать действительность, мало даже дара творчества; нужен еще разум, чтоб понимать действительность. Кто хочет быть поэтом на бумаге, тот прежде должен быть поэтом в душе и, по натуре своей, видеть действительность с ее поэтической стороны. Поэзия не в одних книгах: она в дыхании жизни, в чем бы ни проявлялась эта жизнь — в природе, в истории или в частном быте человека».*

Михаил Алексей, который пишет о том, что им лично пережито, что наблюдалось им лично, чему он был свидетелем и участником, достиг высокой точки зрения, достиг разумного понимания действительности, которое дается социалистическим сознанием и

опытом. Мы еще сумеем убедиться в том, что в поэтической прозе М. Алексеева жизнь выступает перед нами в ее возможностях, благодаря чему даже в самых суровых картинах жизни, изображаемых писателем, просвечивают лучи оптимистического чувства. Хочется подчеркнуть еще раз, что, выражаясь словами Белинского, этот писатель сумел ощутить в истории общества, в природе, в частном быте человеческом ту поэзию, которая составляет дыхание жизни. К этому дыханию поэзии в его книгах прибавляется и его собственное поэтическое мироощущение.

Нередко еще полагают, что поэтичность прозе придается перенесением в нее специфических форм и признаков стихотворчества. Порой в стремлении поэтизировать прозу идут по пути ее ритмизации, вносят в нее внутреннюю рифмовку, аллитерации, ассонансы. Обычно при этом достигают не более, нежели формального (скажу точнее: формалистического) эффекта. Довольно показательна в этом отношении, например, ранняя проза Бориса Пильняка. Вспомним роман «Голый год», где заузная звукопись была призвана создать впечатление поэтичности: «Метель. Март. — Ах, какая метель, когда ветер есть снег! Шоояя, шо-ояя, шоооояя... Гвиуу, гваау, гааау... гвиинуу, гвиинууу... Ах, какая метель! Как метельно!.. Как — хоро-шо!» Разумеется, истинная поэзия прозы не имеет ничего общего с такими формалистическими изысками.

Настоящая поэтичность прозы определяется поэтичностью ее содержания и ее художественной образностью — той образностью виденья, восприятия и изображения, которая естественно выливается в поэтически пластичное повествование. Разумеется, при этом играют определенную роль и музыка слова и словесная живопись, но они выступают не как формалистическая самоцель, а как эстетические средства, выразительно соответствующие содержанию.

Мне хочется подтвердить эти слова примером, цитатой из романа М. Алексеева «Вишневый омут». Возьмем «кусочек» прозы и разобьем его на «белые стихи», строки которых следуют друг за другом, как кадры на киноленте:

«За Игрицей вновь раздался удар топора.
Щепки красными птицами вспорхнули вверх,
трепетно покружились в воздухе

и, дрожа, медленно опустились на землю;
взлетели коротко отрубленные сучья
и с сухим пением упали в реку;
потревоженные ими, из прибрежных зарослей поднялись
дикие утки
и, со свистом рассекая воздух, улетели куда-то
в густеющую чернь ночи...»

Этот пример я взял наугад, вслед за ним можно было бы «выстроить» еще ряд аналогичных примеров. Он говорит о том, что Михаил Алексеев пишет, как поэт. Но поэтичность эта не привнесенная искусственно в прозу, а вытекающая из самого ее существа, из поэтичности той жизни, которую запечатлевает писатель, и из поэтичности его восприятия действительности. Поэтичность «формы» есть производное от поэтичности содержания.

Если бы меня спросили, что является движущей силой творчества Михаила Алексеева, силой, одушевляющей художника, я сказал бы: поэзия общественных проблем и общественных конфликтов, помноженная на поэзию партийно-заинтересованного, страстного, сердечного отношения к ним. Русские советские люди в больших исторических испытаниях — на войне, в труде и в борьбе — вот главная, центральная проблема, которой увлечен писатель.

Творчество Михаила Алексеева отчетливо национально окрашено. Он — русский писатель. В его книгах живет большая, трепетная, сыновья любовь к России. Вместе с тем Россия для него — это Россия ленинская, великий очаг революционного интернационализма и гуманизма. Как и многие сыны современной России, М. Алексеев — наследник и продолжатель тех традиций революционного понимания своей Родины, которое заповедано лучшими людьми русской культуры. Это о нем — о таком революционном чувстве Родины — писал некогда в одном из своих писем друг и соратник Герцена — Огарев:

«Мысль о родине проснулась тревожно, и мне хотелось в Россию, скорее в Россию. Я увидел снег на поляне, и слеза навернулась... Я дорожу моей естественной... привязанностью к родине; эта

теплая любовь к отчизне никогда не погибнет, я проживу и умру с ней. Нет, черт возьми, космополит — холодный человек; оставляю это разумное существование Бакунину, а я чувствую, что принадлежу нации, и это чувство есть великая сила в моей душе. Я стану понимать общий человеческий элемент в народности и стану любить народность. Благословляю мою Россию и не оторвусь от нее».

Меньше чем через пятьдесят лет после того, как были написаны эти строки, в историю России пришел Ленин и научил ее народы понимать, что «общий человеческий элемент в народности» есть революционный пролетарский интернационализм, утвержденный Октябрем, как такое же свойство советского человека, каким является его патриотизм.

Герои произведений Михаила Алексева — солдаты и офицеры, крестьяне и крестьянки — это люди с крепкими корнями в жизни Родины, люди с прочными традициями, унаследованными от добрых черт прошлого, и новыми чертами, устоявшимися в советские годы. Их жизнь и дела отнюдь не бесконфликтны, и испытания, в которых они показаны, многотрудны.

В цикле произведений о людях армии — в романе «Солдаты», повестях «Наследники» и «Дивизионка», в военных рассказах — мы встречаемся с поэзией солдатского долга. Те, кто исполняет этот высокий долг, — очень простые, обычные, рядовые люди, поднимающиеся до проявлений истинного героизма. Они — солдаты мира, люди труда, вынужденные историческими обстоятельствами с оружием в руках и в тяжелых битвах оборонять мир и труд на земле. Таковы они и в «Солдатах», как это не раз справедливо отмечалось критикой, таковы они и в «Наследниках», одном из немногих у нас удачных произведений об армии в мирных условиях, таковы они и в «Дивизионке», в этой повести, рассказывающей о людях дивизионной газеты, пришедших на войну из мирного, трудового бытия и возвращающихся после войны к мирному, трудовому бытию.

Наша литература о Великой Отечественной войне числит множество произведений прозы, поэзии, драматургии, имеющих выдающееся идейно-художественное значение. Но есть в этой боль-

шой литературе и такие явления, которые несут в себе тенденции, сужающие реализм изображения действительности. Одна из таких тенденций — противопоставление «штабного» аспекта изображения «кокопному». Вряд ли может сегодня удовлетворить читателя и зрителя пьеса (а позднее и фильм) «Победители», в которой все действие происходит в одной лишь штабной среде и единственный представитель солдатской массы появляется на мгновение, чтобы погибнуть геройской смертью. Не случайно вызывают возражения и те романы или повести, в которых так называемая «кокопная точка зрения» трактуется как стихийная и противопоставляется точке зрения «штабной» и политической как якобы недоступной «простому окопнику». Рассмотрение военных событий глазами «школяра» — героя неудачной повести Б. Окуджавы, естественно, не удовлетворило читателей, и при претворении этой повести в хороший фильм П. Тодоровского «Верность» ее пришлось полностью переработать для сценария.

У Михаила Алексева нет и тени тех недостатков, о которых только что шла речь. У него старшие командиры кровно связаны с солдатской массой, как то и было на войне и остается в практике нашей армии. У него рядовой солдат — человек «государственный», в любых условиях живущий политическими интересами, волновавшими и волнующими весь советский народ. Этот солдат — вчерашний рабочий, колхозный тракторист или студент-заочник — привык жить, как политически мыслящий гражданин, и, не будучи профессионалом-военным, оставаясь непосвященным в военно-тактические проблемы, которыми заняты штабники, он не перестает следить за соотношением борющихся сил и размышлять относительно перспектив военного соревнования.

В этом смысле можно сказать, что военные произведения М. Алексева находятся в главном русле нашей прозы о людях на войне. Они близки по духу произведениям Михаила Шолохова — замечательным главам из романа «Они сражались за Родину» и «Судьбе человека», военным романам Олеса Гончара и многим другим книгам о подвигах советских людей на войне. Недавно появившаяся повесть Вадима Кожевникова «Петр Рябинкин» также близка названным произведениям по своей главной проблеме—

показу того, как рабочий человек на войне переходит от мирного труда к труду ратному. Есть что-то общее между «Дивизионкой» М. Алексеева — этой повестью в новеллах — и интересным и талантливym новеллистическим циклом Георгия Холопова «Невыдуманные рассказы о войне» — сближает эти произведения и лапидарная структура новелл, и лежащая в их основе установка на документальность, на фактическую достоверность.

Как уже сказано, другая ведущая тема творчества Михаила Алексеева — тема деревни. В разработке этой темы писатель нередко обращается к прошлому. В романе «Вишневый омут» значительная его часть посвящена истории, классовой борьбе на селе. В повести «Карюха» действие происходит в двадцатых годах, в трудную пору, когда деревня на Саратовщине голодала, потрясенная гражданской войной, еще так недавно прошедшей по стране. Повесть «Хлеб — имя существительное» — по сравнению с названными произведениями — решительно сближена с современной жизнью. Но и в ней показаны известные трудности в жизни деревни — писатель не приукрашивает эту жизнь, не идеализирует и не идиллизирует ее.

Взгляд Миханла Алексеева на историю деревни правдив — он обнаруживает в действительности немало горького и трагического. И в то же время писатель смотрит на эту действительность, говоря словами Белинского, как на возможность. Он улавливает в тяжелой действительности, которой характеризовалось прошлое русской деревни, возможности ее преображения.

Меньше всего я намерен пересказывать «Вишневый омут» или «Карюху». Читатель сам познакомился с этими произведениями, сам выработал свое к ним отношение. Мне же хочется лишь оттенить некоторые мотивы, которые кажутся мне важными в этих произведениях. Возьмем «Вишневый омут». Сколько тягот выпало на долю его героев, какого напряжения душевных сил (не говоря уже о силах физических) потребовала от них жизнь в старой России, а затем и в двух войнах мирового масштаба! И все же люди эти сумели не только — в большинстве своем — выстоять в борьбе, но и пронесли через жизнь светлые чувства любви к тру-

ду, солидарности трудовых земледельцев, любви к природе и стремление украшать землю. Тема сада — это почти что символическая поэтическая тема «Вишневого омута».

Когда читаешь «Вишневый омут», поневоле приходит на память одно из рассуждений Г. И. Успенского в его знаменитой очерковой серии «Крестьянин и крестьянский труд». Это рассуждение о том, что в жизни трудового крестьянства «природа и мирозерцание человека, стоящего с ней лицом к лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты в одно поэтическое целое». «Поэзия земледельческого труда — не пустое дело, — писал Успенский. — В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе назвать, как поэтом земледельческого труда — исключительно. Это — Кольцов».

И далее, разбирая некоторые образы стихотворений А. В. Кольцова, замечательный знаток крестьянской жизни и замечательный писатель Успенский рисовал такую картину, которая во многом аналогизируется с теми картинами и характеристиками крестьянской жизни, которые запечатлены у М. Алексева. «...Мужик, изображаемый Кольцовым, — замечал автор «Крестьянина и крестьянского труда», — хотя и влачится по бороздам, хотя и босиком плетется за клячей, находит возможным говорить этой кляче такие речи: «Весело (!) на пашне, я сам-друг с тобою, слуга и хозяин. Весело (!) я лажу борону и соху, телегу готовлю, зерна насыпаю. *Весело* гляжу я на гумно.., на скирды, молочу и вею. Ну, тащися, сивка!.. Пашенку мы рано с сивкою распашем, зернышку сготовим колыбель святую; его вспойт, вскормит мать-земля сырая... Выйдет в поле травка... Ну, тащися, сивка!.. Выйдет в поле травка, вырастет и колос, станет спеть, рядиться в золотые ткани» и т. д. Сколько тут разлито радости, любви, внимания — и к чему? К гумну, к колосу, к траве, к кляче, с которою человек разговаривает, как с понимающим существом... Тут нет пустого места, нет прорехи в мирозерцании человека, и самое мирозерцание удивительно своеобразно».

Я позволил себе привести такую длинную цитату только потому, что, как мне кажется, она удивительно точно «комментирует» и один из важнейших мотивов романа М. Алексева «Вишневый

омут». И в этом романе — в полном соответствии с правдой истории — мы видим мужиков, среди которых есть люди с душами поэтов. Они захвачены поэзией земледельческого труда, поэзией преобразования природы. Они прекрасны в своем труде и в своей любви к людям и к окружающей их природе. Именно эти люди создают в подневольных условиях такие нравственные традиции, которые естественно принимают новые, освобожденные революцией люди.

В «Карюхе» перед нами жизнь страшная и горькая — нищая, голодная, тяжкая жизнь. Единоличничество, частнособственнические нравы уродуют души людей. Слово «колхоз» еще не стало достоянием мужиков, изображаемых в этой повести. Но юное поколение крестьян, и прежде всего мальчик-повествователь с его поэтичным восприятием мира, с его лиричностью и юмором, несет в себе ту «возможность будущего», ту надежду на лучшее будущее, которая так характерна для исторически правдивого восприятия действительности Михаилом Алексеевым.

Еще раз вернусь к Успенскому... Разве не характерно для алексеевской повести «Карюха», что в ней крестьяне, — подобно кольцовскому мужику, которым по справедливости восхищался Успенский, — разговаривают с лошадыо-кормилицей, с которой связаны все упования семьи, как с понимающим существом? И благодаря тому, что и люди вокруг Карюхи, и сама Карюха овеяны духом того крестьянского поэтического мирозерцания, которое отмечено в рассуждениях Успенского, Михаил Алексеев получает возможность показывать Карюху и Майку, как очеловеченные существа, живущие почти что равной с людьми внутренней жизнью. Такой — отчетливо крестьянский — взгляд на лошадь делает Карюху равноправной участницей всех драматических перипетий и переживаний, запечатленных в повести.

И «Вишневый омут», и «Карюха» — произведения остросоциальные и остропоэтичные. С большой достоверностью показано в этих произведениях уродливое и страшное прошлое и с такой же достоверностью передана и душевная красота лучших людей и надежда на светлую жизнь. В этих произведениях, посвященных расставанию, прощанию с прошлым русской деревни, выражено и

сознание того, что из этого прошлого можно почерпнуть некоторые нравственные традиции, которые в переработанном и обогащенном виде украсят грядущее и его людей.

Как уже говорилось, повесть «Хлеб — имя существительное» посвящена некоторым проблемам современной жизни деревни. Смело и прямо пишет Михаил Алексеев о недостатках и трудностях, встающих на пути крестьян-колхозников. О недостатках и трудностях он пишет озабоченно, критично, страстно, с позиций боевой гражданской заинтересованности. Повесть эта состоит из цепи новелл, и каждая новелла выдвигает перед нами новые общественные проблемы и несет знакомство с новыми и новыми людьми деревни. И снова видим мы «возможности действительности», видим, что путь ведет в будущее через преодоление трудностей, через победу разума и добра над явлениями пережиточными в быту и сознании тех людей, которых жизнь еще не отмыла от «родимых пятен» индивидуализма и стяжательства. «Возможности действительности», составляющие вместе с ее реальными достижениями поэзию действительности, живут в людях, в душах людей. А таких людей, которые выражают в самых разных, глубоко индивидуальных формах и характерах ведущие закономерности развития жизни, — таких хороших и светлых людей в этой повести Михаила Алексеева немало.

Но об этом — несколько ниже.

Мне думается, что Михаил Алексеев — один из наиболее пристально заинтересованных психологическими проблемами наших художников. Он — писатель, чрезвычайно внимательный к душевным движениям своих героев, к миру их чувств и переживаний.

Михаил Алексеев знает, как дороги в области психологического анализа, в сфере проникновения в психику разного рода частности. Он понимает, что детали говорят здесь больше, чем обстоятельные описания, чем общие характеристики, «лобовые» определения. За душевным строем своих персонажей, за изменениями в душевной жизни он следит пристально, стараясь показывать их в действиях, в поступках. В произведениях о войне и воинах («Сол-

даты», «Дивизионка», военные рассказы) он часто использует «исповедальные ситуации» — люди на войне, поставленные лицом к лицу с опасностью смерти, охотно повествуют о своей жизни, о своих близких, любимых. Исповедальные письма приближаются к этой линии изображения внутреннего мира персонажей. Сам бывший солдат, сам в прошлом профессиональный военный, Михаил Алексеев владеет такого рода материалами, как солдатские письма, солдатские беседы, солдатские признания, почти документально.

Внимание к психологии, к «жизни души» связано у Михаила Алексеева с глубоким интересом к нравственным проблемам. Отношение к Родине, к труду, к природе, любовь, дружба — вот что волнует самого писателя и его героев. В какую прекрасную, духовно возвышенную фигуру вырастает в «Вишневом омуте» Михаил Аверьянович! Сколько человеческого обаяния в образе Фроси Вишеньки! Как «спрессовалась» история крестьянства в таком персонаже, как Карпушка!

В «Карюхе» не налюбишься на то, как написан мальчишеский повествователь. Каждая фигура в этой повести — набросок характера. Да и очеловеченные воображением рассказчика Карюха и Майка с «ее сладкой порой детства» написаны с той пронзительной психологической пристальностью, которая позволяет поставить эти образы рядом с толстовским Холстомером и с купринским Изумрудом.

«Хлеб — имя существительное»... Буквально «пригвождены» автором люди ничтожные, захваченные духом наживы, вроде Василия Маркелова. И высоко подняты люди, которыми любишься вместе с автором, — Журавушка, Анна Петровна, инвалид Зуля... Но не будем думать, что перед нами простое, элементарное противопоставление фигур — положительных и отрицательных. Само внимание к психологии, само рассмотрение людей в действиях, а значит, и в развитии, не терпит упрощений. Люди у Михаила Алексеева — сложные, нередко драматичные характеры. Но психология их социально обусловлена, она развивается в живой диалектике общественной жизни.

«Люди — не ангелы», — метко сказал заглавием своего ро-

мана писатель Иван Стаднюк. И это в самом деле так. И у героев Михаила Алексева, который пишет ведь не иконы, а характеры людей, есть свои — большие или меньшие — социально и исторически обусловленные слабости и недостатки. Но главное в этих людях — кровный демократизм, плебейская гордость, боевая приверженность к передовым устремлениям. Солдаты Михаила Алексева — люди долга и подвига. Его крестьяне—труженики и творцы красоты.

О героях Михаила Алексева, для воинов которого так характерно отстаивать города, для крестьян которого прелесть труда так подчеркнута символизируется образом цветущего сада, можно сказать словами великого нашего поэта:

Я знаю —
 город
 будет,
я знаю —
 саду
 цветь,
 когда
 такие люди
 в стране
 в советской
 есть!

Социалистический реализм, одним из талантливых представителей которого является Михаил Алексеев, — искусство активное, действенное. В нем реалистическая верность действительности, глубина постижения ее законов, правдивость отражения жизни умножаются на боевую эмоциональность. Это — искусство страстное, партийное. Оно овеяно поэзией изменения действительности. Оно служит улучшению мира.

Литература социалистического реализма находится в постоянном развитии и обогащении. Она не терпит застоя и шаблона. Она любит художественные искания.

Михаил Алексеев — один из писателей, которые ищут новых жанровых возможностей, которые сочетают прочные творческие традиции с поисками нового. В его романах «Солдаты» и «Вишневый

омут» своеобразно (и, думаю, принципиально) сочетаются традиционные жанровые черты с вторжением хроникальности. Не потому ли писатель обращается к элементам хроники, что — в отличие от некоторых литераторов, создающих вторые и третьи «копии» с написанного до них, — он не хочет ни в чем «дублировать» других мастеров? Все, что он может сказать нового, все свое и не повторяющее ничего из ранее известного, он рассказывает подробно, живописно, с психологическими особенностями, богатым и своеобразным языком. Там же, где ему грозит опасность «перекликнуться» с кем-либо из предшественников, он пишет конспективно, «пунктирно», хроникально.

В области новеллистики Михаил Алексеев разрабатывает своеобразный жанр «цепи» новелл. В «Дивизионке» этот поначалу «рассыпанный», а затем «собранный» воедино вид повествования мотивирован эпиграфом из «Василия Теркина» Александра Твардовского «На войне сюжета нету». В предисловии к повести «Хлеб — имя существительное» говорится: «В каждом — малом, большом ли — селении есть некий «набор» лиц, без которых трудно, а может, даже и вовсе невозможно представить себе само существование селения... Мне захотелось рассказать о таких людях одного села и уже в самом начале предупредить читателя, что никакой повести в обычном ее смысле у меня не будет, ибо настоящая повесть предполагает непрерывный сюжет и сквозное действие, по крайней мере, основных ее героев. Ни того, ни другого в этой книге не будет. Не будет и главного персонажа, как полагалось бы в традиционной повести. Все мои герои в порядке живой, что ли, очереди побывают в роли главного и второстепенного». Такая сравнительно новая структура в повествовательном жанре приобрела в последнее время определенное распространение у некоторых писателей-очеркистов, у ряда киносценаристов. Михаил Алексеев, написавший «Дивизионку» десять лет назад, является одним из зачинателей жанра повести в новеллах в нашей литературе.

Искусство настоящего художника всегда многокрасочно, многозвучно. М. Алексеев — писатель с широким диапазоном эмоций. У него хороший, веселый, мягкий, какой-то по-народному мудрый

юмор. (Это тот спасительный юмор, который помогал нашим войнам презирать тяготы войны почти целых четыре года). У него есть порою точная, безукоризненная деловитость документалиста. Мы чувствуем ее в «Дивизионке», в некоторых рассказах-«справках» о людях дивизионной газеты (например, об Олесе, который после войны стал известным украинским писателем О. Гончаром и один из военных романов которого М. Алексеев перевел на русский язык).

Диапазон Михаила Алексеева — диапазон его чувств и его голоса простирается от трагедии и трагедийного повествования (как в небольшой новелле из «Дивизионки» о том, как погибла любящая девушка, отправившаяся на фронт, чтобы найти любимого) до смеха и веселья. Как правило, М. Алексеев эпичен, он рассказчик, повествователь. Но его рассказ всегда проникнут лиризмом, нередко он особенно оживляется драматическими мотивами и почти «сценическими» диалогами, а порою переходит в прямую, открытую лиричность.

Хороший рассказчик всегда старается дать возможность говорить своим героям. Он прислушивается к их мыслям, к их душевным движениям, он улавливает их голоса, особенности их речи — областные, диалектные, профессиональные, индивидуальные. И он открывает дорогу на страницы своих книг всему их многоголосию. В книгах Михаила Алексеева народ выступает со своими делами и думами, со своими речами и суждениями, изъясняется сочно, ярко, живо и живописно. Вместе с народными словами и словечками выплекивается из жизни на страницы алексеевских книг и народная устная поэзия, старые и новые песни, частушки, пословицы, поговорки. Они также оттеняют верность писателя народной жизни, поэзии этой жизни.

За советские годы сложился и укрепился новый писательский тип — тип писателя-общественника. И раньше на Руси писатель служил обществу и выступал будителем народных масс. Но никогда еще, как в наши дни, не была так велика тяга писателя к публицистике. Сегодня писатель учит, воспитывает, пропагандирует не только своим художественным творчеством, но и обращаясь к открыто публицистическим жанрам,

У Михаила Алексева немало произведений писательской публицистики. И порою в произведениях на современные темы в эпическое повествование громко врывается авторский голос — голос писателя-публициста.

Сошлюсь на «Дивизионку» — на одну из ее новелл, с которой и начался весь цикл. Это — новелла «Два письма», о письмах лейтенанта Петра Королева, павшего на Украине в 1944 году, о письмах, найденных после его гибели. Одно из писем было адресовано Валушеньке и Галочке, жене и дочери.

И вот писатель, публикуя письма павшего товарища, завершает свою новеллу о нем прямым обращением к его жене и дочери. Он пишет:

«Где вы теперь, Валентина и Галочка?»

Ты, Галя, конечно, уже стала совсем-совсем взрослой, твой отец и не узнал бы тебя. Может, со своими сверстницами, такими же веселыми, горячими и юными, поднимала алтайскую целину? Может, сейчас вот склонилась над умным заводским станком? Может, геологом ходишь по неизведанным местам твоей большой Родины, открывая новые богатства? А может, стала славной дояркой?».

Низко склонив голову перед подвигом матери, одной из многих овдовевших в годы войны матерей, возрадивших для Родины тысячи и тысячи девушек и юношей, писатель так заключал свою новеллу:

«Есть у меня к вам, Валя и Галя, просьба.

Коль вам попадутся на глаза эти строки — отзовитесь. Напишу вам подробнее — отзовитесь!

Живите счастливо, хорошие люди!»

Голос писателя был услышан. В ответ пришло письмо из Казахстана, от дочери павшего воина Галины Королевой. Мы, читатели, познакомились с ним в эпилоге «Дивизионки».

В небольшом этом эпизоде нельзя не почувствовать характер писателя, так взволнованно заговорившего голосом публициста, голосом хорошего человека, коммуниста, солдата и художника.

А. ДЫМШИЦ

СОДЕРЖАНИЕ

Вишневый омут. Роман	
Часть первая	7
Часть вторая	146
Эпилог	273
Карюха. Повесть	275
Поэтический мир Михаила Алексеева. <i>Послесловие</i> А. Дым- щица	348

Михаил Николаевич АЛЕКСЕЕВ

**ВИШНЕВЫЙ ОМУТ
КАРЮХА**

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1969

Редактор приложений **Е. Усыкина**

Редактор **М. Серебрянникова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **Н. Новикова**

Корректор **Л. Сухославская**

ВЫШНЕВЫЙ ОМУТ • КАРЮХА